К. Паустовский

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Повесть



«Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться...»

Борис Пастернак

Поздняя ночь. Море шумит за окном. Дует норд-вест. В старинной лоции, раскрытой на столе, красным карандашом подчеркнута строчка: «Ветры от норд-веста и веста всегда сопровождаются мрачной погодой и дождем».

Ночной дождь висит над Севастополем непроницаемым дымом.

У лоции — большие поля. Они сделаны для того, чтобы шкиперы и капитаны могли записывать наблюдения над огнями маяков, приметами на берегах, туманами и зимними бурями.

На полях своей лоции я записывал все, что видел и узнал у Черного моря.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем. По словам престарелых пристанских сторожей, в этих бутылках всегда были заключены жгучие тайны. Они были написаны карандашом на листках, вырванных из судового журнала.

Я, как и мальчишки, давно не верю в это. Времена легкокрылых фрегатов и летучих голландцев прошли. Тайны умирают, как ночные мотыльки, обожженные огнем дуговых фонарей. Мое неверие в тайны так велико, что я даже начал сомневаться в существовании голубых огней святого Эльма, пылающих над мачтами кораблей, хотя об этом я читал еще в гимназии в «Физике» Краевича.

Но все-таки о бутылках я вспомнил недаром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему порогу, как выбрасывало когда-то бутылки вместе с солнечным блеском, красными водорослями и медузами.

Пловучий бакен-ревун кричит за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый и разъяренный, он видит тонущие в неспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом.

За окном ничего нет, кроме фонарей, сжимающихся в воде около крепостных утесов. Только встревоженная вода, стон ревуна и теплая осенняя ночь.

Я прислушиваюсь. Нет, не только они. Слышны тяжелые шаги по набережной и хриплый разговор рыбаков. Искры махорки прорезают плотную темноту.

Рядом со мной в комнате спит человек, — я слышу его дыхание и ласковые слова сквозь сон, — и вот книга о море, великих побережьях, о штилях и туманах наполняется людьми, смехом, спорами, борьбой и любовью. Только рядом с людьми приобретает смысл и значение все, что написано на дальнейших страницах.

Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц, — ни во всем, что называется жизнью.

НЕБЕСНАЯ АЗБУКА МОРЗЕ

«Ураганам предшествуют мертвые штили и теплота».
(*Довэ*, «Законы шторма».)

Вода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

Этот звук будил Гарта. Он вызывал представление о солнечных зайчиках и безоблачном небе.

Гарт поворачивал голову к окну, и предчувствие сбывалось: безветрие и бледная осень стояли над городом,

Город был похож на театральный макет, где с домов осыпалась позолота, и только редкие ее пятна остались на розовой штукатурке оград.

Город был полон осеннего сверкания. По утрам оно качалось над бухтами голубым серебрящимся дымом. В полдень оно подымалось к зениту желтым огнем, а вечером, окрашенное золотом облаков, оно долго боролось с блеском сигнальных фонарей, зажженных на рейде.

Гарт бежал в Севастополь от промозглой московской осени. Он с содроганием вспоминал черные тучи, волокущие по крышам свое мокрое тряпье, и сумрачные залы библиотек.

Все это осталось позади.

Гарт был писателем. У своей фамилии Гартенберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь к бою, приветствовали друг друга криками «ура», и пираты, шатаясь по океанам, веселились, как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могла не вызывать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы и заплаты говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты, так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру. Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта,

тем с большей, почти болезненной, любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть «живым анахронизмом». Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понимал, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал.

Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать. Поэтому такая простая мысль никогда не приходила ему в голову.

Много времени спустя люди, близко наблюдавшие Гарта, начинали понимать доброту и талантливость этого заброшенного человека.

Первыми это поняли городские мальчишки. Сначала они преследовали Гарта свистом и кличкой «Недоверчивый». Но однажды Гарт остановился на улице около мальчишки со сломанным луком. С высоты своего роста Гарт нерешительно смотрел на слезы, размазанные по худым детским щекам.

Потом он взял мальчишку за плечо и повел в магазин «Динамо». Там он купил ему индейский лук из красного дерева с резиновой тетивой.

Весь тот день стрелы с куриными перьями на хвостах жужжали в желтом от известняка переулке. Ходить по переулку становилось опасно. Гарт нажил жестоких врагов — пронзительных хозяек с узлами бесцветных волос на затылке, проклинавших стрелы, мальчишку и писателя.

Ничто не распространяется так быстро среди детей, как слух о взрослом покровителе игр. Тогда дерзкие мысли о скучном характере родителей охватывают племя ребят.

Гарт был признан мальчишками своим негласным советником от Хрустальной бухты до Корабельной стороны и от Черной речки до Аполлоновой балки. Пожалуй, это событие было его первым столкновением с настоящей жизнью.

Несколько дней после этого он сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и неспокойных ребят. Худые осы садились на тетиву и дрожали вместе с ней, разглядывая сутулую спину Гарта.

Гарт улыбался одними морщинами, сбегавшимися около воспаленных от чтения глаз.

В первые дни севастопольской жизни Гарт изучал топографию города.

Его радовала изорванность утесистых берегов, путаница глубоких бухт и повороты выветренных лестниц. Он подолгу рассматривал каменистые дворы, полные кошек, сухой листвы платанов и голубоватых рыбачьих сетей. Его поражал причудливый план города, спрятанного в синий шар неба и моря.

Потом у себя в комнате Гарт рисовал карты выдуманных им приморских городов — Саванны и Кастля — и отмечал места, где должны были произойти события из еще не написанных им рассказов.

Вода звенела, как бы падая в таз с головокружительной высоты, и разбудила Гарта. Это мылся за стеной его квартирный хозяин — веселый и вспыльчивый старик Юнге.

В каждом городе есть свои чудаки и сумасшедшие. Юнге считался севастопольским чудаком. Он заведовал службой погоды в порту. Старик гордился своей профессией. Он любил повторять, что дело метеоролога заключается в том, чтобы растолковывать дуракам простой язык природы.

Гарт был рад, что поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и циклонами. Знание этих вещей было необходимо Гарту как писателю. От старика можно было много узнать.

У Юнге была дочь Зоя — комсомолка и планеристка. Гарт ни разу ее не видел. Зоя почти все время жила в Коктебеле, где в тот год в сентябре шли, как обычно, планерные состязания.

Старик, уходя из дому, оставлял Гарту ключ от библиотеки.

Сегодня, как уже несколько дней подряд, Гарт погрузился в рваное кожаное кресло времен севастопольской обороны. Он читал, засыпал, просыпался и снова перечитывал книги. Пыль роилась в солнечном луче.

Гарт много курил. Сухой дым подымался к потолку, развиваясь медленными кольцами. Так движется над материками антициклон.

Перелистывая метеорологические справочники, Гарт узнал о существовании грозового экватора и путях ураганов, о белых радугах и запахе юго-восточных ветров.

Сегодня Гарту повезло. В одной из книг он нашел пожелтевшее английское письмо, помеченное 1854 годом. Гарт с трудом перевел его. Язык письма был изыскан, но вместе с тем сдобрен хорошей дозой морского жаргона — того крепкого, как плевки, и безошибочного «слэнга», каким изъясняются английские матросы и бродяги.

С упорством исследователя Гарт восстановил не только содержание письма, но и его историю. Письмо принадлежало офицеру английского флота Джону Эллиоту. Оно было написано в Балаклаве, где стояла в 1854 году, во время Севастопольской кампании, английская эскадра.

Каким образом письмо попало к Юнге, Гарту установить не удалось.

Я приведу здесь перевод письма в переработке Гарта. Гарт думал, что им найдено точное описание морского урагана.

«В августе 1831 года, как вам известно, великий ураган, разразившийся в Вест-Индии, захватил своим крылом и Европу. Горячий воздух вторгся в наши широты. На берегах Средиземного и Черного морей наступила резкая жара, закончившаяся ливнями и тяжелыми штормами.

Мне посчастливилось, если можно так выразиться, быть в то время на острове Барбадосе, где стоял наш фрегат «Стирлинг Кастль».

Этот цветущий остров лежит в начале пути вест-индских ураганов и потому испытывает их наиболее сокрушительную ярость.

В связи с пережитым ураганом я имею сделать вам несколько замечаний. Быть может, они рассеют покров ужаса и таинственности, который окружает в представлении людей гремящие и стремительные перемещения обширных воздушных масс.

Одиннадцатого августа, в полночь, ветер в Барбадосе усилился до степени шторма. Молнии блистали непрерывно со всех румбов горизонта. Гром сотрясал океан до самого дна.

Мы стали на мертвые якоря и приготовились встретить ураган. Он зарождался вблизи, в пучине неописуемо страшной и душной ночи.

Мы помнили печальную судьбу эскадры достославного адмирала Роднея. Она погибла от урагана у берегов Ямайки. Лучшие корабли — «Скарборо», «Барбадос» и «Феникс» разбились о скалы, а фрегат «Генри» был выброшен на берег в бухте Ментегю. До сих пор он служит дырявым жилищем для негров и приморского люда.

В два часа ночи шторм перешел в ураган. К тому времени мне с большим трудом удалось съехать на берег, где я получил приют в доме престарелого полковника Нокса.

Гул ветра так изнурял наши нервы, что мы вынуждены были укрыться в каменном погребе, где полковник хранил вино и провиант. Едва мы сели за деревянный стол и зажгли свечи, как прибежал испуганный слуга и доложил, что верхняя часть дома обрушилась от ветра. Мы не слышали грохота обвала.

Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури в эту ночь.

Я выбежал на улицу, но вынужден был лечь и крепко держаться за каменную тумбу.

Я видел в те минуты, когда мне удавалось открыть глаза, величественное зрелище падения многих метеоров. Я не забуду этого во всю жизнь, или я буду проклят до самой могилы.

Метеоры летели не наискось, как это бывает всегда, а низвергались отвесно, пылая темно-красным мутным огнем. Вблизи земли они загорались белым светом, похожим на горение магния. Метеоры имели цилиндрическую форму. Они были похожи на круглое стекло, каким жители Антильских островов прикрывают от ветра пламя свечей.

Временами рев ветра стихал и переходил в глухое мычание. Я пользовался этим, чтобы осмотреться. Мне это вполне удавалось, так как блистание молний продолжалось иногда по полминуте и дольше.

Мои попытки осмотреться вызывали в душе леденящий ужас. То, что открывалось моему взору в свете молний, было почти непонятно.

Я видел, как качались от ветра стены домов, как летели, подобно осенним листьям, кровли и падали каменные ограды.

Но самым ужасным было зрелище садов. Ураган сорвал с них листву, и деревья яростно свистели голыми ветвями, как у нас, в Шотландии, в студеную зиму.

Океан бил в берега с такой силой, что земля дрожала на большом расстоянии от полосы прибоя.

Волны перелетали через утес в семьдесят футов высотой. Ветер уносил ливень соленых брызг внутрь страны на много миль.

Это, между прочим, причинило большие неприятности майору Лекоку. У него в Брайхт-холле, в его поместье, были славные пресные пруды с прекрасными подводными растениями и королевскими сазанами. Ветер принес в эти пруды столько воды из океана, что пруды засолились и рыба в них уснула.

Воздух во время урагана так густо насытился электричеством, что я был свидетелем, как у негра привратника Кодрингтонской коллегии искры сыпались из волос, будто из трубы паровой машины.

«Стирлинг Кастль» погиб. Его сорвало с якорей и разбило о мыс, носящий название «Каменная шкатулка».

Многие из жителей города, боясь оставаться в разрушающихся домах, добежали до крепостных фортов

и спрятались под тяжелыми пушками, укрепленными на колесных станках. Ветер сдвинул пушки с места и проволочил их на большое расстояние. Было искалечено много людей.

Страдали не только люди. После урагана берега острова покрылись множеством убитых и изнуренных морских птиц и рыб.

Тем, кто находился вдали от этой мучительной картины, невозможно составить себе представление о жестоких страданиях жителей Барбадоса.

Я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что при первом ударе урагана в домах с треском вылетели внутрь все оконные рамы.

Объяснить это явление нетрудно. Всякий ветер, а тем более ураган, бывает вызван неравномерным нагреванием воздуха в разных областях земли.

Разогревшийся воздух жидок. Он образует пустоту. В нее яростно устремляются со всех сторон потоки более холодного, плотного воздуха.

Равновесие воздушных масс нарушается. Происходит великое возмущение атмосферы и стремительные ее перемещения.

Очевидно, ураган, обрушившийся на Барбадос, нес плотный воздух, тогда как в домах сохранился еще разреженный воздух, стоявший над островом перед ураганом.

Воздух урагана молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери, как газ выдавливает пробки из бутылок французского шипучего вина.

Нет надобности объяснять даже школьникам, что ветры не могут дуть одновременно на пространстве всего земного шара.

Всегда существует граница между областью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного направления. Сходясь, эти бурные воздушные реки вызывают взаимное трение, и в этом месте образуются вихри или воздушные водовороты.

Быстро усиливаясь и подчиняясь законам, впервые указанным ученым Довэ и нашим соотечественником, господином Ридом, эти вихри превращаются в ураганы

и тифоны. Они мчатся с ужасающей силой над океанами и материками, сметая все на своем пути.

Чрезвычайно любопытно, что ураганы под влиянием вращения земли примерно на половине своего пути, как бы споткнувшись о невидимую преграду, поворачивают под прямым углом и медленно затихают на огромном расстоянии от места своего зарождения».

Многие факты из этого письма показались Гарту настолько интересными, что он решил прочесть перевод Юнге.

Гарт преодолел обычное смущение и постучал вечером в комнату метеоролога.

Юнге пил чай за столом, покрытым черной бархатной скатертью. На ней было множество рыжих пятен, говоривших о старости. Корки черствого хлеба валялись рядом с сухими лепестками желтых георгин. Цветы в вазах менялись только во время возвращений Зои. В остальное время они осыпались и наполняли комнату запахом гниющей воды и тления.

Гарт сдержанно осмотрелся. Комната очень подходила для любого из его рассказов.

Синие карты погоды на стенах были покрыты множеством стрелок, как бы пущенных армией веселых мальчишек. Стрелки показывали движение ветров над Европой.

Рядом с картами при свете лампы Гарт увидел несколько картин. Они изображали различные виды облаков.

Облака всегда привлекали Гарта. Он любил эти пловучие материки, пропитанные влагой. Он мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воздвигнутые на границах стратосферы, и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе.

Но больше всего он любил грозовые тучи, затмевающие солнце. Трещины молний взрывались в дыму и темноте урагана. Гарт прислушивался. Ливни приближались в молчании. Вода не плескала у прибрежных утесов. Сухие травы стояли неподвижно, запутавшись

в паутине. Только чайки метались с испуганным писком и искали в скалах забытые гнезда.

Юнге налил Гарту стакан крепкого чая. Гарт неохотно оторвался от картин и сел к столу.

Рядом с ним на полках поблескивали медью и стеклом метеорологические приборы.

Тогда как все было покрыто пылью и носило следы холостяцкой жизни, приборы были начищены до солнечного блеска.

Гарт мельком взглянул на барограф. Кривая шла вниз. Барометр падал. Гарт, вздохнув, подумал, что наступает конец сухим и солнечным дням.

Гарт, не решаясь заговорить, потянул к себе картушку старинного компаса. Черная многогранная звезда была окаймлена знакомыми и любимыми с детства словами: Nord, Ost, Süd и West.

Сколько раз Гарт представлял себе такую картушку, освещенную масляными лампами и светом Млечного Пути где-то там, по ту сторону экватора, где рыбы бьются о форштевни кораблей...

— Любуетесь? — спросил Юнге. В голосе его Гарт уловил легкую насмешку.

Гарт мельком взглянул на Юнге. Его синий морской китель был расстегнут, под ним виднелась белоснежная сорочка. Голубоглазый старик смотрел добродушно на Гарта и постукивал пальцами по столу.

Гарт ничего не ответил. Он развернул рукопись и прочел перевод о барбадосском урагане. Юнге слушал внимательно, прихлебывая чай. Иногда он усмехался.

— Хорошее описание урагана, — сказал он спокойно. — Я понимаю, почему вы им заинтересовались, — парусные корабли, поэтические названия, гул бури — все это, конечно, прекрасно. На днях я перечитал ваши рассказы, достал их в Морской библиотеке. Но дело не в этом!

— А в чем же? — спросил оторопевший Гарт.

— Погодите. — Юнге прислушался. В одном из приборов что-то жалобно зазвенело. Далеко на рейде тяжело стонал и взывал о помощи бакен-ревун. Значит, с моря подходила волна.

— Если бы я обладал вашим талантом, — сказал, наконец, Юнге, — я бы перевернул землю вверх дном. Вот, взгляните, — старик показал на барограф. — Идет норд-ост, самый проклятый ветер на Черном море. Он называется «бора». Почему бы вам не заняться его изучением?

— Зачем? — спросил Гарт.

— Тут двумя словами не отделаешься. — Юнге встал и заходил по комнате. — Ураган в Барбадосе! Блестяще! Я не верю, что описал его сухопарый английский моряк. Описали его вы.

Юнге прищурил глаз и хитро посмотрел на Гарта. Тот отрицательно покачал головой.

— Ну, ладно. Поверим на слово. У вас дар необыкновенной выдумки. Почему вы не хотите выдумать что-нибудь такое, что внесет величайшее и радостное смятение среди моряков, если не среди всего человечества?

— Что я должен, по-вашему, выдумать для человечества? — спросил, раздражаясь, Гарт.

— Ну, хотя бы найдите способ уничтожать эти ураганы.

Гарт встал. Разговор начинал походить на издевательство. Грубая шутка привела Гарта в состояние холодного негодования.

— Я говорю серьезно, — сказал Юнге. — Сначала выслушайте меня, а потом обижайтесь.

Он заставил Гарта сесть.

— Я бывший моряк. — Юнге придвинул Гарту коробку толстых папирос. — Курите и приготовьтесь слушать. Во время плаваний меня больше всего занимала погода. У вас, сухопутных, разговоры о погоде считаются признаком пошлости и скуки. Когда в так называемом обществе совершенно не о чем говорить, вы краснеете и бормочете несколько слов, что «вот, мол, идет дождь» или «удивительно, какая стоит в этом году холодная весна». Окружающие смотрят на вас с сожалением, как на отпетого идиота. И они правы. Это действительно глупо. Такие разговоры я считаю насмешкой над сложными явлениями, происходящими над нашей головой в земной атмосфере. Если бы от погоды зависела ваша работа, жизнь и судьба ваших товарищей,

как это бывает у моряков, вы бы не вели разговоры о ней так банально и невежественно. Поучитесь у рыбаков беседам на эту тему. Каждый рыбак расскажет вам о ветре или цвете неба такое, что вы закачаетесь!

— Я с большим уважением отношусь к явлениям природы, — заметил Гарт. — Поэтому я и перевел письмо о барбадосском урагане.

— Вы долго рассматривали рисунки облаков. — Юнге осветил лампой пыльные картины. — Облака! — воскликнул он. — Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде! Это небесная азбука Морзе. Все дело в том, чтобы уметь ее разбирать. Меня научили этому турки — опытные и смелые шкиперы.

Каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды почти на всю зиму.

Так повторяется из года в год. Это прекрасная традиция. Ни одна метеорологическая станция не дает таких верных прогнозов. Турки предсказывают по облакам.

В конце концов это просто. Погода создается воздушными вихрями — циклонами и антициклонами. Каждый воздушный вихрь рождает свои облака. Ничто в мире не имеет такого великого разнообразия форм, как облака. Надо знать все оттенки их цвета, быстроту полета над землей, их высоту и плотность. Это сложное искусство. Почему бы вам не написать рассказ об этих турках, мастерах погоды? Они заслуживают рассказа не меньше, чем расщепление атома.

Гарт сидел не двигаясь. Он не заметил наступившей тишины, потому что видел со всей остротой подлинного зрения грязную набережную турецкого городка, вымощенную вперемежку то булыжником, то старыми плитами из красного мрамора, зеленое море, дождь, грубые паруса и стариков, читающих, как раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Черным морем, над этим неспокойным Кара-Денизом.

— Подумайте, — сказал Юнге. — А теперь вернемся к барбадосскому урагану. Меня считают

чудаком. Эта слава ходит за мною по пятам тридцать лет.

Тридцать лет назад я осмелился высказать мысль, что все ураганы одинаковы, где бы они ни случались. Разнятся они только в силе. Причины их возникновения — циклоны и антициклоны — всюду те же — и в Вест-Индии, и в Желтом море, и у нас. Такой вот барбадосский ураган вы можете увидеть на Черном море. Конечно, он не будет так жесток и поэтичен, как в тропиках. Нет надобности плавать в тропики, чтобы познакомиться с ураганами. Вы можете их изучить, стоя у мола в Одесском порту. За эти дерзкие мысли старые хрипуны-капитаны объявили меня сумасшедшим.

— Вы, кажется, обещали, — напомнил Гарт, — рассказать о способе уничтожения ураганов.

— Я к этому добираюсь. У нас на Черном море есть несколько местных ветров. Они не подчиняются общим законам, и это дало повод капитанам смеяться над моими мыслями. Самый ужасный из местных ветров — новороссийская «бора».

Гарт кивнул головой. Все, что рассказывал Юнге о новороссийской боре, представилось Гарту в виде обрывков еще не написанного рассказа. До Гарта голос Юнге доносился издалека, будто из-за запертой двери.

Привел в себя Гарта телефонный звонок и сердитый голос Юнге.

— Какая телеграмма? — спросил Юнге. — Относительно штормовых сигналов? Не поднимайте тарарам. Я сейчас приеду.

Состояние глубокой задумчивости, которое пережил Гарт во время рассказа Юнге, случалось с ним часто. Может быть, ему он в значительной мере был обязан своими рассказами. Он записывал все, что узнавал и думал в таком состоянии, не полагаясь на память.

Я видел некоторые записи Гарта, не предназначенные для печати. Иногда они были интереснее его напечатанных рассказов. В них отсутствовала выдумка. Но ее заменял необыкновенный, присущий Гарту, подбор реальных, даже на первый взгляд скучных фактов.

Запись Гарта о новороссийской боре была коротка.

«Впервые наши моряки узнали, что такое черноморская бора, в 1848 году. Это было через десять лет после основания на берегу Цемесской бухты, у подножия темных и безлесных гор Новороссийского укрепления.

В августе этого года бора разметала в Новороссийске эскадру адмирала Юрьева и потопила несколько кораблей. Особенно трагичной была гибель «Струи».

Окрестности Новороссийска отличаются жалкой растительностью. Бора калечит и убивает все. Выживает только сухая трава и кусты колючего «держи-дерева».

Как начинается бора? Над голым хребтом Варада выползают белые клочья облаков. Они похожи на рваную вату. Облака переваливают через хребет и падают к морю, но никогда до него не доходят. На половине горного склона они растворяются в воздухе.

Первые порывы ветра бьют по палубам кораблей. В море взвиваются смерчи. Ветер быстро набирает полную силу, и через два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город.

Он подымает воду в заливе и несет ее ливнями на дома. Море клокочет, как бы пытаясь взорваться. Ветер швыряет увесистые камни, сбрасывает под откосы товарные поезда, свертывает в тонкие трубки железные крыши, качает стены домов.

Бора дует при ясном небе. Зимой она всегда сопровождается крепким морозом.

Корабли превращаются в глыбы льда. Лед, срываясь со снастей, калечит и убивает матросов. Он закупоривает наглухо двери домов. Он забивает печные трубы. Во время боры жители города страдают от жестокого холода. Человек, застигнутый борой на улице, катится по ветру, пока не задержится у какого-нибудь препятствия.

Один из моряков эскадры Юрьева писал о боре:

«Матросы, обрубая лед, сменялись беспрерывно, язвимые в лицо морозной водяной пылью. Платье на них леденело. Тело ныло от боли. На корабле из-за оглушительного свиста ветра и треска снастей не было никакой возможности отдавать приказания. Мы не

слышали даже пушечных выстрелов с соседних судов, моливших о помощи.

Залив покрылся мрачною мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать предметов даже в нескольких саженях. Иногда только в зените был виден клок чистого неба.

Ночью от густоты воздуха и невыразимой быстроты его течения звезды как бы дергались в небе.

Двое суток мы находились в авральной работе. Мы сбивали лед ломами, раскаленным железом, обливали его кипятком. Тонкие снасти превращались в ледяные бревна.

Когда ураган достиг наивысшего напряжения, мы обрубили реи, утлегарь и весь такелаж на мачтах, но это нисколько не помогло. Хотели выбросить за борт пушки, но и это сделать было невозможно, — пушки вместе со станками приросли к палубам, составляя глыбы льда.

Волны свободно ходили через корабль».

Эскадра Юрьева погибла оттого, что лопнули все железные якорные цепи. Корабли были разбиты о подводные камни.

С тех пор некоторые капитаны, застигнутые борой, начали отдавать якоря не на цепях, а на пеньковых канатах. Железные цепи делались слишком хрупкими от жестокого мороза — неизменного спутника боры — и легко ломались на перегибах около клюзов.

Эскадра погибла, разбившись о берега. Только один корабль «Струя» потонул среди залива, не выдержав тяжести наросшего льда.

Он стоял, закрепив якорную цепь за бочку. Он не успел вовремя расклепать ее, чтобы ветром его могло выбросить на берег. Тогда часть людей могла бы спастись.

В газетах того времени много писали о судьбе этого корабля:

«Когда мрак бывшей бури прочистился, на месте, где стоял несчастный корабль, виднелась только верхушка мачты с реей, как крест над влажной и холодной могилой пятидесяти человек».

«В конце августа на Севастопольский рейд был приведен кузов корабля «Струя», поднятый со дна в заливе Новороссийском. Нельзя высказать того, что мы чувствовали, остановясь на шканцах корабля, растерзанного борой».

«О, сколько дум и сколько чувств прекрасных
Не имут слов, глагола не найдут!»

«На этом корабле погибли отличные матросы. Они были обстреляны пулями черкесскими и ядрами арабскими, закопчены солнцем Африки, закалены в водах Нила и Иордана. Судьба их — одно из самых печальных происшествий на Черном море».

После 1848 года во время боры в Новороссийске погибло много рыбачьих шхун, пароходов и даже военных кораблей.

Несколько слов о цвете этой бури. Все бури имеют свой цвет горизонта, воды и неба.

При боре небо блистает холодной синевой. Горизонт покрыт мглой свинцового цвета. Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами. Воздух режет кожу как бы осколками льда. Все краски кажутся совершенно свежими, еще не просохшими. Маяки светят ярче, чем всегда».

Это все, что Гарт записал после разговора с Юнге. Очевидно, старик читал ему выдержки из книг и газет и вообще говорил очень много. Запись Гарта напоминает короткий конспект обширного исследования о боре.

Гарт проводил Юнге до пристани. Старик на моторном катере уехал на метеорологическую станцию подымать свои штормовые сигналы.

По дороге на пристань, на улицах, освещенных только из окон и потому немного таинственных, Юнге рассказал, наконец, Гарту свою, на первый взгляд сумасшедшую, идею об уничтожении новороссийской боры.

Чтобы понять мысль Юнге, Гарт должен был точно представить карту Новороссийской бухты.

За хребтом Варада, замыкающим бухту, лежит высокая долина, похожая на громадную чашу. Она открыта к северу и защищена горами с юга. Поэтому в ней всегда собирается холодный и плотный северный воздух.

Он медленно накапливается, ползет вверх, доходит до гребня Варада и начинает переливаться вниз, в сторону Новороссийска. В Новороссийске воздух теплый и разреженный. Холодный воздух из долины обрушивается всей тяжестью на Новороссийскую бухту, как в пустой сосуд.

Начинает действовать гигантский воздушный водопад — бора. Он прекращается не раньше, чем воздух по обе стороны хребта приобретает одинаковую плотность.

— Ну как? — спросил Юнге. — Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору?

Гарт пожал плечами.

— Очень просто, — сказал Юнге. — Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена. Напишите о боре так, как вы умеете писать о всяческих невероятных происшествиях. Нанесите удар по нелепостям природы. Мы добьемся, что туннели пророют. На одном из них будет высечено ваше имя и надпись под ним: «От благодарных моряков всего мира».

Юнге засмеялся. Гарт молчал.

— Ну как же? — спросил, еще не отсмеявшись, Юнге.

— Я подумаю, — ответил Гарт.

Они попрощались. Гарт пошел домой. Он не мог собрать разбежавшихся мыслей. Разговор с Юнге вызвал смятение.

«Почему?» — спрашивал себя Гарт, злился и не мог найти ответа. О чем они говорили? О самых обыденных вещах — циклонах, боре, облаках и турках. В этом не было ничего особенного, а самый разговор был даже беспорядочен и длинен.

Только у себя в саду Гарт понял причину волнения. Ветер шумел в сухих айлантах и акациях. За открытым окном соседнего дома, в закоулке, обнесенном ветхой балюстрадой, слышались голоса.

Впервые Гарту захотелось подслушать чужой разговор. После беседы с Юнге он ждал от каждой встречи с людьми неожиданных открытий.

Гарт посмотрел на небо. Звезды бились и сверкали серебряной чешуей, как бьется в сетях пойманная камса.

С моря неслись облака, легкие, как туман. Около облаков звезды сверкали сильнее, чем на чистом небе. Они переливались белым, синим и желтоватым огнем. Гарт не знал, что это предвещает бурю.

Гарт устал и крепко уснул этой ночью. Он не слышал, как ветер прошумел над городом, и не видел легких теней, посетивших его комнату на одно мгновение. Это пролетели за окном в свете поздней луны ломкие листья платанов. Тень листьев пробежала по книгам, забытым на столе, по начатому рассказу и по усталому лицу спящего Гарта.

ОЖИДАНИЕ БУРИ

Весь следующий день Гарт ждал бури, но она не пришла. Вопреки обыкновению, Гарта радовало, что не он один ждет ветра, а ждет вместе с ним весь город.

На сигнальной мачте Павловского мыса с рассвета висел штормовый сигнал — черный конус и черный квадрат. Сигнал означал приближение бури с норд-оста.

Каждый ждал шторма по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны, где качались на воде щепки и мандариновые корки. Голубые военные корабли крепче швартовались к красным пловучим бочкам. С Северной стороны шныряли катера, спеша перебросить домой из города хлеб и бензин, сахар и картошку.

Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконками толстые линзы фонарей. Школьники клеили змеи. Хозяйки законопачивали бумагой щели в окнах. Одни только дворники ничего не делали, хотя и ждали ветра с гораздо большим нетерпением, чем остальные обитатели города. У дворников были свои соображения: ветер должен был вымести и продуть насквозь город с силой гигантского вентилятора.

Днем Гарт, устав от работы и бесплодного ожидания бури, поехал на Северную сторону.

Это место он любил больше всего в Севастополе. В пещерах, выбитых в желтых сухих утесах у берега бухты, жили рыбаки — загорелые оборванцы — с женами и полуголыми детьми. Пещеры были забиты фанерой. На ней то синими, то оранжевыми заплатами пылали рассохшиеся двери. Прозрачная вода набегала к порогам пещер, позванивая пустыми консервными жестянками. Серые сети и развешанная на канатах рваная роба дополняли пейзаж.

На заднем плане, за тонким лесом желтых мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых черепичных крыш, колючей проволоки и высохших акаций, желтела степь, поросшая пыльной травой. По ней бродили равнодушные псы — старожилы и владетели этих рыбачьих и крепостных берегов.

Гарт сошел с ялика на ветхую пристань. Седоусые перевозчики стояли около облупившихся шлюпок и угрюмо покрикивали в пространство:

— Кому в город? Зыба нет! Нет зыба! Да разве это зыб, товарищи?

Гарт любил смотреть на разнообразных пассажиров, садившихся в шлюпки. Но сегодня пассажиров почти не было. Сел унылый грек с миртовой веткой в руке, — должно быть, он принес ее с Братского кладбища. Грек с недоумением повертел ветку в руке и выбросил в воду. Села белобрысая девочка с черной мяукающей кошкой. Потом в шлюпку спрыгнул, насвистывая, молодой краснофлотец. Он споткнулся, густо покраснел и отвернулся ото всех с обиженным видом.

Пестрые куры рылись в гнилых водорослях, выброшенных прибоем. На Северном рейде синели крейсера и миноносцы.

Шлюпка отчалила. Гарт пошел в поселок. Он заглядывал во все дворы. Почти в каждом он замечал интересные вещи. Дворы напоминали склады декораций. Казалось, лет сорок назад здесь под открытым небом ставилась веселая пьеса из жизни пиратов. Театр уехал, а декорации — поломанные и живописные — остались на вечные времена. Они заросли татаркой, покрылись шершавой пылью и выгорели под черноморским солнцем.

Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Их вывесил проветривать подслеповатый старик с чадящей трубкой.

Дети гоняли по крутым спускам железные обручи. Громкая эта игра свойственна всем широтам земного шара. Она осталась в наследство от доисторических времен, существовала с первых дней изобретения колеса.

Воздушные змеи косо дрожали в синеве и уходили с жужжанием в тень облаков.

На пустырях валялись остатки театрального реквизита — разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла.

Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестела в бойницах.

Чайки с красными лапами сидели на чугунных шарах — пустых минах, изъеденных ржавчиной. Цвет ржавчины ничем не отличался от цвета птичьих лапок.

Гарт прислушивался к писку чаек и пытался подобрать для него созвучия в человеческой речи. Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?»

На крышах фортов были укреплены сигнальные мачты. Тонкие тросы поддерживали их и весь день ныли от ветра.

На мачтах шумели флаги. Гарт был уверен, что эти куски цветной материи пахнут, как выстиранное белье. Недаром их неделями обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные форты остались на Северной стороне со времен севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

Крепостная жизнь привлекала Гарта. Он бы с наслаждением поселился в пустынных цитаделях. Бронзовые орудия и казематы мирно уживались с играми детей, умыванием веселых котят и геранью, доцветавшей в старых снарядных гильзах, набитых землей.

Гарт пошел вверх по шоссе, пока шум человеческих голосов не остановил его. Шум долетал из-за калитки, выкрашенной в синий цвет.

Гарт открыл калитку и смело вошел во двор. Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не сделал бы этого — не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям.

Неловкость своего появления Гарт решил объяснить очень просто, — хотя бы узнать у хозяина, как пройти на Братское кладбище.

Во дворе около белой стены валялась килем вверх тяжелая оранжевая лодка. Рядом стояло ведро со смолой. Часть днища была замазана липким дегтем.

Человек, только что смоливший лодку, — тщедушный старик с косматыми бровями, — стоял, окруженный мальчишками, и держал в руке что-то беспомощно бившееся и издававшее болезненный писк.

Гарт с остротой зрения, никогда не изменявшей ему, заметил около стены ящик с масляными красками и сохнущий на стуле этюд. Он изображал происходившую здесь недавно и чем-то прерванную сцену — старика, красящего оранжевую лодку.

Появление Гарта не произвело ни на мальчишек, ни на старика никакого впечатления.

Гарт подошел и заглянул через головы мальчишек. Старик держал в руках воробья, залитого смолой.

Смола капала с крыльев на брезентовые штаны старика, но он не замечал этого.

Старик поднял глаза на Гарта и крикнул, — Гарт понял, что старик глухой.

— Га! Видали? Как оно залетело в ведро с дегтем, никак не пойму. Чи оно больное, чи слепое — как вы думаете?

Глаза у старика были голубые, как у сибирского кота.

— Надо его обмыть керосином, — посоветовал Гарт.

— И теплой водой! — крикнул мальчишка с суетливыми глазами. — Обязательно теплой водой!

— Га? — снова крикнул старик и вопросительно посмотрел на Гарта. — Говорите крепче, потому я глухой еще с революции пятого года. Адмиралу Чухнину надо сказать спасибо, барабанной шкуре, — через него я оглох.

Гарт, насколько он мог говорить громко, повторил совет о керосине.

— Так как же! — ответил старик. — Обязательно обмоем. Женщина пошла за керосином. Сейчас принесет. Пусть живет птичья душа.

Появление молодой женщины с керосином было стремительным. Она распахнула калитку, бурей ворвалась во двор и бросилась к старику. Из-за порывистости движений Гарт не успел ее рассмотреть.

Первое, что он увидел, — это руки женщины, сильные и быстрые. Она взяла воробья у старика и решительно вытерла ему ватой, смоченной в керосине, крылья и лапы.

Воробей поднял веко, взглянул на женщину желтым глазом и забился у нее в руках.

— Какой дурак! — сказала женщина.

Глядя на руки женщины, Гарт догадался, что набросок маслом принадлежит ей. Голос почему-то окончательно убедил его в том, что перед ним стоит художница.

Гарт посмотрел на женщину и вспомнил, — когда он подымался сюда, он встретил ее на шоссе.

Эта мимолетная встреча вызвала ощущение, будто он присутствует при завязке короткого рассказа. Такое

ощущение уже несколько раз бывало у Гарта. Оно сопровождалось глухим длительным волнением. Казалось, вот-вот в жизнь войдет то, что Гарт называл счастьем: неожиданность, сила человеческих чувств, полоса заманчивых событий, внятный и мимолетный стук чужого и потому особенно прекрасного женского сердца. Но это только казалось.

Гарт считал, что способность к счастью — такой же редкий талант, как способность к музыке, живописи или революционной борьбе. Себя он считал обойденным этим талантом.

У него не было ни сил, ни желания сживаться с чужой жизнью, а без этого, по мнению Гарта, счастье было немыслимо.

Гарт хорошо чувствовал себя только с мальчишками. Их восприятие мира ничем не отличалось от гартовского. Фантазия поддерживала существование большинства этих восторженных маленьких людей.

Гарт посмотрел на женщину и отвернулся. Если бы его спросили, что он увидел, он бы ответил — свет.

Свет моря и воздуха, свет солнца и блеск, присущий человеческой радости и уму, — именно это Гарт увидел в глазах женщины. Она улыбнулась. Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.

Гарт решил уйти. Он боялся, что эта встреча, если ее продлить, окончится тоской и тем сумбурным состоянием, когда человек перестает писать, думать и читать книги. А этого Гарт боялся больше всего.

Гарт взялся за ручку калитки.

— Вы куда? — спросила женщина.

Гарт остановился. Он досадливо посмотрел на женщину и не открыл калитки. Потом, вспоминая об этом, Гарт думал, что жизнь складывается совсем по-необыкновенному из-за сущих пустяков. Стоило ему пренебречь окликом, открыть калитку и выйти на пыльную дорогу — и ничего бы не случилось. Но, собственно говоря, и сейчас ничего не случилось.

— Вы в город? — спросила женщина.

— Да, — ответил Гарт. — Вы тоже будете переправляться в город?

— Конечно. Если вы не очень торопитесь, подождите меня. Я только соберу кисти и краски.

Гарт подождал. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ней по дороге.

— Прощай, дед! — прокричала она старику, захлопывая ящик с красками. — Окончу я тебя завтра. Сейчас я тороплюсь.

— Да как хотите! — крикнул старик. — Все одно, я инвалид, какая с меня людям польза! Малюйте себе на здоровье! А у меня есть забота — выхаживать того пацана!

Старик разжал ладонь и показал воробья.

По пути к пристани Гарт заметил, что женщина совсем не торопилась. Она шла медленно, часто замолкала и смотрела на Севастополь, вздымавшийся над бухтами.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала женщина, когда они спускались к бухте. — Зоя Юнге мне рассказывала о вас. Но еще до этого я читала — не помню где, в каком-то журнале — ваши рассказы. Вы — Гарт, правда?

— Правда, — согласился Гарт.

Женщина назвала себя. Ее звали Сметаниной.

Говорили о приближавшемся шторме. Сметанина взяла Гарта за рукав и показала на море. От молочной воды до зенита небесный свод был окрашен в сизый цвет. На нем гудел гидроплан, похожий на оловянную игрушку. Закатное солнце осветило рыжие овраги и желтые дома.

Вся Северная сторона предстала перед Гартом с резкой до боли в глазах стереоскопичностью. Угрюмое освещение отчетливо показало неизмеримость воздуха, лежавшего между домами и далеким планом предштормового неба.

Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.

— Вот так всегда перед норд-остами, — сказала Сметанина. — Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.

Она вздохнула, подняла с земли осколок синей простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.

— Очень трудно, — повторила она после долгого молчания. — Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.

— Очаковский рыбак? — спросил Гарт.

— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков». Помните Шмидта?

— Ах да, да, конечно, — спохватился Гарт.

Сметанина внимательно посмотрела на него.

— Вот Шмидт! — сказала она. — Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.

— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми, — ответил смущенно Гарт.

— А вы пробовали?

Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.

«Ну что ж, — сказал про себя Гарт и вздохнул. — Посмотрим».

В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.

Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.

Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они переливались в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.

Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта. Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.

Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.

Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.

В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Свистели ветки акаций. Начинался норд-ост.

МЕРТВЫЙ ГОРОД

Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.

Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тараханкутом. Дул ледяной норд-ост.

Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом, берегов северного Крыма.

«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел из всех щелей. Со стороны «Димитрий» был похож на пловучую китайскую прачечную.

Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.

Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревело и неслось за тонкими бортами, как Ниагара.

Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах переливалась вода. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины валялись в слезах, мужчины помалкивали и дрожали.

На второй день сдала машина. «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.

Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить свое

место. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — его моряки зовут «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта. Мы не знали, где мы находимся.

На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.

Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывали ногти, отмораживали руки.

«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.

Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя, как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил «гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:

— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается? Красота!

Пассажиры в ответ только стонали.

Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.

На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой бежали матросы, топая сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки неутомимым голосом.

Я поднялся на палубу.

— Что случилось? — крикнул я пробегавшим матросам.

— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури. Там тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тараханкут.

Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов, таких пустынных и печальных, что даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.

Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее роздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.

Мы ели кашу без хлеба. В головах с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.

Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры посдыхали от голода.

Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.

— А с голоду дохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.

До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услыхал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»

Капитан со скукой на лице вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.

— Брехня! — кричали матросы.— Другие капитаны по минам идут напролом! Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба.

Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в-точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко:

— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!

Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.

— Успеете, — сказал он матросам. — Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!

Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.

Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.

Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крышке трюма одеяло и лег спать.

Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.

Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:

— Ну и здорово шуруют, духи!

Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.

В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.

«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней, — они никак не могли понять, что с ними стряслось.

Пассажиров высадили, а «Димитрий» тихо побрел в Южную бухту на пароходное кладбище. Котлы его развалились.

Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь.

Голодные татары из Байдар и Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли.

Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг — бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза.

Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы.

Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где крупу.

В бухтах гремел ураганный оружейный огонь, — рыбаки били из винтовок бакланов и чаек.

Туманы, изморозь, острые ветры налетали с Северной стороны.

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей водников. Мне разрешили ночевать в пустом, холодном классе. В семь часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия.

Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной.

Дом, где находилась школа, принадлежал адмиральше Коланс. Эта решительная высокая и хромая старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном — бывшим мичманом — во флигеле во дворе.

Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня моряком, скрывающим свое звание.

На третий день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава.

В одно туманное утро, после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на Исторический бульвар.

Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана, но его английский пробор был, как всегда, безукоризнен.

— Здравия желаю! — сказал мне мичман и поднес грязную руку к голове. — Maman просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей.

Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него, не раздеваясь, и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло. В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах лопались бутыли с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет.

Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз».

Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы резали громадным сапожным ножом.

Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь.

Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле.

Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив руки под себя, чтобы согреть их, потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, симфония Чайковского.

Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня возмездия.

Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом.

Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов

денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки.

Бойцы ворвались в квартиру. Они никого не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили.

— Ты стрелял, собака?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Покажи руки! — крикнул Денисов.

На руках не было никаких следов от затвора.

— Я музыкант, — сказал юноша. — Я музыкант из кино.

— Раз музыкант, так пусть сыграет, — злобно засмеялись бойцы. — Играй, а не сумеешь — отправим в расход!

Юноша заиграл.

— Сердце у меня зашлось, — рассказывал Денисов. — Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце, — прямо руками, — будто мать нас провожает, плачет, и идем мы добывать своей кровью новое счастье. Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята!» Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта, — он в нас стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю.

С Денисовым у меня случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась ноющими от норда, как псы, севастопольскими ночами.

В одну из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами.

Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол.

— Что случилось? — спросил я, встревоженный его стонами.

— Ограбили! — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки. — Все! Деньги и документы. Все отобрали, нечистые души!

Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами.

— Кто ограбил?

— Кто? — хитро переспросил Денисов и посмотрел на меня с леденящей кровь улыбкой. — Сейчас ты узнаешь — кто, любезный товарищ!

Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож под сердце.

Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом.

Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли усмирять Денисова.

Мичман дрожал мелкой дрожью.

В комнате Денисова мы не застали.

Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег. Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал.

Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел.

Появился он через два дня, смущенный и печальный. Он просил прощенья за то, что ему «помстилась такая чертовщина», и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.

«ТРАВИАТА» НА КОРАБЛЯХ

Все это было в Севастополе двенадцать лет назад.

Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров.

А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных.

Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били бакланов.

Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши — один из московских театров ставил на кораблях «Травиату».

Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, затянутой по сторонам брезентом.

Перед моим приездом шли холодные дожди. Но потом, к ноябрю, наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь часто случаются даже зимой.

Я знал, что Гарт живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров.

Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гарт беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство.

Увидев Гарта рядом с этой женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес к действительности.

Чему я был действительно удивлен, так это встрече с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост.

Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а «для души» занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке.

Он показал мне среди оркестрантов худого человека в пенсне. Я узнал в нем, несмотря на седые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе.

Темные грифы виолончелей были прислонены к серым орудийным башням. Музыканты говорили, что, к счастью, нет тумана и оркестр будет слышен не

только на рейде, но даже на прибрежных улицах города.

Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ.

Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, щемящие, как женский плач о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля.

Я сидел сзади и видел молодые и напряженные затылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене.

Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки, или пытались скрыть слезы, не свойственные этим, как они сами себя шутливо называли, «скитальцам морей».

Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх, на броневую палубу, откуда долетал печальный голос Виолетты, смотрели загорелые люди — жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами.

Дым звезд роился над береговыми утесами. Туманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона.

Во время пауз я оглядывался — казалось, Виолетта пела в родной Венеции. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна, — так прозрачна была вода севастопольских бухт.

— Что происходит? — спрашивал я себя.

Верди. Венеция. Старинный рояль и вино. Песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу.

Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок.

Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи. Советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка и слушатели, которым мог бы позавидовать Бетховен.

Все это произвело в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением неповторимого времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего ему на смену.

Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись.

Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов.

После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне обе руки и тотчас же позвал к себе.

Он познакомил меня со своей соседкой. Это была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине.

Сметанина произвела на меня впечатление человека чистого ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственной врожденной красотой, которая распространяется на все — на лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться.

Гарт познакомил меня еще со своим хозяином — метеорологом Юнге, румяным и неспокойным стариком.

Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге.

В катере по пути к пристани он успел рассказать мне без всяких побуждений с моей стороны все, что знал о Верди и, кстати, о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию.

— Вы знаете, — спросил Юнге, — что Гарибальди сказал о социализме? Нет? Il Socialismo é il sole del l'avenire. Социализм — это солнце будущего.

— Il sole del l'avenire! — с восторгом повторил он. Лицо его осветилось струящимся блеском.

Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация.

Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы густо облепили военные корабли. Мачты, снасти, трубы и огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт.

Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути.

Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыгали на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дороги.

Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами — просили дать дорогу.

Дым иллюминации, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих, облетающих деревьев.

Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы.

Юнге рассказывал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений.

С площади, полого спускающейся к морю, долетал мерный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку:

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели...

К берегу причалил катер.

— Командующий флотом,— сказал мне Гарт.

Из океана огней, с борта катера, сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашив-

ками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках.

Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы, наконец, наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины.

— Социализм — это солнце будущего, — сказал я Гарту.

— Я знаю, — ответил Гарт. — Я давно отказался от своей невозмутимости.

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели...

— В своих прежних рассказах, — сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних», — я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел командующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции, праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?

— Понял, — ответил я. — Над чем вы сейчас работаете, Гарт?

— Я пишу о лейтенанте Шмидте, — неожиданно ответил он.

Мы проводили Сметанину до дома. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь.

Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся, как остров, над морем. Там были тенистые улицы, очень пустынные, гулко повторявшие шаги

прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было построить обсерваторию.

Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по стакану белого вина. Юнге сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из «Травиаты».

Налейте, налейте бокалы,
И выпьем, друзья, за любовь...

Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой на столе книгой — письмами художника Ван-Гога — и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о норд-осте и каких-то туннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.

— Если вы не хотите об этом написать, — сердито сказал Юнге, — так я сам напишу. Вот сяду и напишу! Подумаешь!

— Я не могу сейчас заниматься этим, — мягко оправдывался Гарт. — Вы знаете, что я работаю над Шмидтом.

— Ну и черт с вами! — сказал Юнге.

Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как тихий электрический разряд. Казалось, город завалили по крыши только что вытащенными рыбачьими сетями и грудами желтой листвы.

Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал.

В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись.

Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и готовился к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях, на опасной увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы его выгнали на кухню.

При свете свечи я долго пересматривал «Морской сборник» за старые годы, валявшийся на столе у Гарта.

Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхэда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.

МУЖЕСТВО

«Одна смертная казнь может остановить меня!»
(*Ответ лейтенанта Шмидта адмиралу Федосьеву.*)

Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно не похожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные жильцы выползали из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь, — сказал Гарт, — произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила, — ответила Сметанина.

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друг с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы

в Святые горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти, — несколько строк из Байрона:

Сестра моя, когда бы имя было
Еще нежней, то было бы твоим.
Меж нами даль, нас море разделило,
Но все ж тобой я должен быть любим.

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы вкратце, как Гарт работал над напечатанной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращала только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта на необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

В Севастополе, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братским кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки.

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я.

Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно и просто, как всегда.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на пловучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, заразы! Тогда мы все разом начали кричать: «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал, — дают приказ: «Замолчать!» — а мы не слухаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака цыгарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расползлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил нету у меня об том вспоминать. Растравили вы меня, чудаки, — опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно, — они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок-аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не вол-

новало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт был строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что имя его как капитана может быть поставлено наравне с Джемсом Куком, Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью: «Tinctura valeriana», потому что как раз валерианки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.

Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастьях и брать за спасение недорогую цену по таксе.

Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.

Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, — она работала телеграфисткой, — села вот здесь на стул и заплакала.

— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерианкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:

— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Я переписала ее. На, прочти!

Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова — лучше бы я их не читал никогда в жизни:

«Прошу отдать мне тело казненного брата. *Анна Избаш*».

Избаш — это сестра Шмидта.

— Все кончено, Вайнштейн, — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерианку. — Все кончено, Вайнштейн! Они убили его! — повторил я и бросил стакан на пол.

Что я должен был делать, аптекарь и больной еврей? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.

«Вот страна, — думал я, — будь она проклята до скончания века!» И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!

Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал, и мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.

Было восстание на «Потемкине», потом восстание на «Пруте», но я не слыхал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!

Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что, наконец, дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.

Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где вы хотите.

После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку.

Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, сколько ранили — я теперь не припомню.

Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как «любили» этого человека.

Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!

Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней—кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:

«Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов».

Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!

Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.

Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.

На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.

Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово било, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.

Что он сказал? «Клянемся этим убитым в том, — сказал он, — что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».

Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянемся!» — крикнули мы.

«Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».

И в этом мы поклялись.

«Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда».

«Клянусь!» — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: «Вайнштейн, бери вместо своих пипеток наган, иди и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни», — я пойду и буду благословлять его имя.

«Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.

С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец «Три святителя».

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы и солдаты и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил, как будто он мне снился. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет, — вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил в первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами немного рано родились. Через пять-десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово, придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и прочесть на смертном ложе такую заметку в «Известиях»:

«Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну, ладно,— рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшем со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батька мой был небога, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела, — ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия. Шмидта после речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его «брат-командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил: буду обязательно завтра.

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника, — так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и глядите, какие тогда были

матросы, ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал «Командую флотом. Шмидт».

Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу» — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюма и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа,— страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался, — человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом, наконец, заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба на людей: что сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны все были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись. Одно только и знали — гаркать, как заведенные: «государь-император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь-император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела их она до сырой могилы.

Эх, дожить бы им до нашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю,— ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся

к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу, — что такое? — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и голос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой Дымченко. Недаром мы, значит, шли на смерть, недаром приняли страдание».

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает,— должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова», — сказал Шмидт на суде, — то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, не способного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг»,— на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по

«Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд, — и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терец» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

(Когда я читал это место рукописи, я вспомнил 1922 год в Батуме.

Была зима. Гремели ливни. Изредка снег хрустел на дощатых пристанях.

Тогда в Батуме издавалась маленькая морская газета «Маяк». Ее печатали на машине-американке. Машину крутили ногой.

В этой газете печатался Бабель, — он жил тогда на Зеленом Мысу, — и ленинградский писатель Ульянский. Ульянский ночевал в товарных вагонах и разгружал пароходы в порту. Он только что вернулся из плена. На его рваном пиджаке была нашита желтая перевязь.

Я редактировал эту газету, где подробно описывались кораблекрушения и всяческие морские дела. Набирал ее единственный наборщик Костя — весельчак и любитель кабаре. Ходил он почему-то с заржавлен-

ным револьвером на поясе и револьвер, по обычаям того времени, называл «пушкой».

Однажды в редакцию пришел старый моряк в засаленном тельнике под пиджаком. Рыжая щетина торчала островами на его щеках. Один глаз подергивался тиком.

Моряк назвал себя смотрителем батумских маяков Ставраки. Он принес заметку о необходимости отремонтировать маячные сирены.

Меня этот моряк поразил спокойной наглостью и насмешливостью над всем, что попадало в поле его зрения.

Через два дня он был арестован за продажу государственного имущества, а через неделю выяснилось, что это бывший лейтенант Ставраки, расстрелявший Шмидта.

Его увезли в Севастополь, судили и расстреляли. На суде он держался с обычной наглостью и насмехался над прокурором.)

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.

«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севастополь, — эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.

«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной, — сколько утонуло и было убито в воде, — об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

«Это был день смерти, — говорил потом Шмидт о гибели «Очакова». — Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»

Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец остановился.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».

На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить, — им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта мокрую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет, — «тяжелое счастье», но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — это мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. О пятом годе, Жоресе, войне, октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его

речах было слишком много приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него начинаю.

Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось ваше детство с его справедливостью и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут его из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография и портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не «обратили внимания» на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоеди-

ниться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным. Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы. — Сегодня его перевезли с острова. Я видел, как он сошел с катера, — высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские, — и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет... — прошел по рядам матросов глухой шепот. — Это сестра Шмидта... Плачет по нас...

Матросы сняли бескозырки, — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту, — говорила потом сестра Шмидта, — можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

Не взыщите,— я с трудом могу вспоминать эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения, — сказал он, — побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы ответил я один за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я стану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мне сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на пловучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью. Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался, наконец, сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — часовой отвернулся. — Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он. — Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно запела труба горниста. Шмидт, не отрываясь, смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.

Матросы с «Терца» бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:

— Вот и кровь моя льется...

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову, — она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались их глаза, потом засыпала могилу грудами красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно».

На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.

РАЗГОВОР НА КОРАБЕЛЬНОЙ

Мы шли с Гартом на Корабельную сторону по узкому проходу между каменных оград.

С оград свешивался плющ. Теплый инкерманский камень выветрился и казался покрытым не то гнездами стрижей, не то пчелиными сотами.

Проход этот тянется около километра. Он то подымается на холмы, то спускается вниз. В оградах видны замурованные двери. В трещинах камней растет чертополох.

У подножия оград цветут в пыли последние желтые цветы — те скромные осенние цветы обочин и пустырей, какие даже не имеют имени. Может быть, имя у них и есть, но никто его не знает, кроме ботаников.

Я сказал Гарту, что этот проход напоминает старинные порты. Мы как будто не в Севастополе, а в выдуманном Кастле из его рассказов.

Гарт ничего не ответил. Он шел и тщательно отбрасывал ногой камешки с дороги.

Заговорил Гарт только на Малаховом кургане. Бронзовый адмирал Корнилов с равнодушным лицом предлагал отстаивать Севастополь. В колючих кустарниках паслись коровы.

Гарт остановился около белого памятника французским и русским солдатам, убитым при штурме Малахова кургана, и вслух прочел надпись:

Unis pour la victoire,
Reunis par la mort —
Du soldat c'est la gloire,
Des braves c'est le sort!

(«Их объединила победа и снова объединила смерть. Такова слава солдата, таков удел храбрецов».)

— Неплохо придумано, — сказал Гарт равнодушно. — А то, что вы говорили насчет Кастля, — это вы оставьте. Мне сейчас не до этого. Я написал несколько отрывков о Шмидте, неполных и несовершенных. Они мне дались тяжело. Теперь будет трудно писать по-старому.

— Почему?

— Меня уже не интересует выдуманная жизнь. Я хочу найти подлинный материал такой же силы, как материал о Шмидте и работать над ним. За Шмидта я взялся почти случайно, но вот видите, к чему это привело.

Смешно было говорить Гарту о моих мыслях по этому поводу. С Гартом произошло то, что должно было случиться. Он был думающий и наблюдательный

человек, и уход от равнодушия к подлинной жизни был для него неизбежен.

Гарт шел к перелому медленно и по-своему — через мысли о романтике Шмидте, через знакомство с Дымченко, через музыку Верди на советских кораблях и через как будто бы фантастический проект об уничтожении ураганов, осуществить который могла только советская страна.

Я промолчал и показал Гарту на вечернее небо над Северной бухтой. Лиловое и темное, оно было освещено красноватым огнем облаков. На нем пылали, как желтые костры, рыбачьи домики в безвестных слободках. Мгла лежала в глубоких балках. Севастополь зажигал первые огни.

— На днях я поеду с Юнге в Коктебель, а оттуда в Новороссийск, — сказал Гарт. — Мы займемся борой. Это очень увлекательно.

— Вы начинаете борьбу за уничтожение боры?

— Да... Очень возможно, — ответил Гарт.

Он пробормотал несколько слов. Из них я понял, что Гарт обвинял меня в скептицизме и неверии в возможность уничтожить бору. Я опять промолчал, должно быть от изумления.

С Павловского мыса мы переправились в город на ялике. Южная бухта и Севастополь показались мне нагромождением огней, пароходных труб, сигнальных мачт, колоннад, памятников, якорей и осенних звезд, дрожавших в изрезанной катерами воде.

Через два дня Гарт уехал, оставив мне в Севастополе своих знакомых — Сметанину и Дымченко. Я обещал через неделю приехать в Коктебель, но некоторые события — о них речь будет ниже — задержали меня, и я встретился с Гартом значительно позже.

Судьба преследует меня. Еще не было случая, чтобы мои планы сбывались. Всегда на моем пути попадется какое-нибудь событие и отвлечет в сторону от намеченной цели.

На юг я приехал для работы над книгой. Мне следовало безвыходно сидеть в севастопольской Морской библиотеке и изучать необходимые для книги материалы. Но вместо этого я заинтересовался делами,

не имеющими отношения к книге, и потерял три месяца на скитания по побережью.

Я не жалею об этом. Побережье Черного моря дало много знаний о людях, революции, кораблевождении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были овеяны запахом морской соли и воздухом нашей молодой страны.

АРТЕМИДА-ОХОТНИЦА

Луч прожектора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы. Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез,— стены снова сжались и потемнели.

Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из комнаты, — теплый запах мела и пыли.

— А ну, покажь еще, — таинственно сказал Дымченко.

Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся.

На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развевался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.

— Должно, греческая богиня, — пробормотал Дымченко. — До чего ловкий народ пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят, как никто, и на́ тебе — каких богинь с золота делают!

— Одна морока мне с той богиней! — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался. — Одно мучение мне через ту чертову богиню. Не пойму, куда ее пристроить до дела!

Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий.

Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине:

— Скажу вам по секрету: под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с-под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные, — лучше наших. На них я ловил цельный год, а недели две — не больше — отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел, очкастый, как я сеть с воды вытягал, и пристал до меня, как заноза. «Не отдашь, говорит, я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения». Я и отдал. Мне они без особой надобности.

На другой день подался я до своей ямы новые грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу — под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от страха. Взять боюсь и оставить боюсь.

Однако взял, завернул в платок и с той поры хожу, как бандит, — ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема, нет на нее погибели! Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под пайол, — не хочу ее в хате держать.

Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гроши корабельных гвоздей.

Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось.

Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был крепостью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит Гостеприимное море, а в древних греческих лоциях — периплах — Херсонес еще называли Херро-

нисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а Азовское море — Меотийским болотом.

Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупостью и выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о «великих пучинах» Черного моря.

На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал. Это выяснилось позже.

Ночью я часто просыпался, должно быть от непривычной тишины. Я выходил во двор, прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги.

Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки.

Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве — и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с «Потемкина», и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что «окрестности Севастополя представляют поистине землю классическую».

Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе, — девушка, воспетая в величавых стихах Эврипида.

Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга.

Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков — участников французской революции, волнение Байрона и Гете, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее «божественную речь».

Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов.
Горела грудь, в слезах кипели очи,
Я чувствовал присутствие богов.

Так писал о Греции поэт Щербина. Он впервые увидел ее ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний.

Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.

— Дельфин плачет, — сказал Дымченко. — Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя до самой Турции, и его тогда немыслимо бить. Рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое.

Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела, — одна волна и волна, — и год, и два, и десятки годов.

Женщина кормила дельфинов. Стаями они собирались и играли около нее и старались, кто чем мог, утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее немыслимая боль. Зябла она здесь, на чужой и холодной земле.

И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как самая ночь, и ветер — бора — дул с севера, со злой, дикой стороны.

Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в каменья, как много годов до этого, как бьет и по сегодняшний день.

И умерла та женщина. Звезды покатились с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплому морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.

Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.

— Оно, конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказы-

вать, — ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет!

Три дня я потерял на раскопки около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно тратить время на то, чтобы ковыряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки двух пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли «дохлого воина».

Сметанина смеялась надо мной. Но на второй день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изображением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как я и мальчишки, перебирать сухой щебень.

Кроме светильника и трех грузил, мы ничего не нашли. Андрей показал нам яму, где следовало рыть. Он получил от музея за монету сто рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню.

Мы рыли три дня, а на четвертый отнесли находки в музей и показали одному из сотрудников.

Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас, как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию.

Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет.

Он пересыпал их на ладони и называл имена городов, где они чеканились, — блестящий список имен: Пантикопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром.

В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью.

Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов.

Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил, — в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище.

Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии.

Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен, и, наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.

В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно творение великого мастера четвертого века до нашей эры.

Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня.

При виде этой разбитой головы я вспомнил о разрушительной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима.

С гимназических времен я чувствовал отвращение к христианству с его манной кашей добродетелей, психопатическим Христом, — он казался мне молодым, хилым толстовцем, изрекающим слащавые истины, с его бородатыми святыми, похожими на ломовых извозчиков. Не только люди, но и идеи могут вызывать приливы неприязни.

Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни.

Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной.

С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов.

Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна.

Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину.

Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, переносит не только детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам.

Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы. Мы беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и подделывателях древних монет.

В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропивали находки в матросских кабаках на Корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки, — ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты.

Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище «Мальчик».

«Мальчик» сколотил на остатках греческих погребений небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменил опасную и неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означает кладбище.

Племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма.

О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть.

Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и матерым археологам. Говорят, подделыватели,

несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету.

Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества.

На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после поездки в Крым: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям.

Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. Обычно люди дружат, разузнав всю подноготную.

Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов — амфор и громадных, выше человеческого роста, пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов нашли на дне Северной бухты.

Она зарисовывала древние светильники с гербом города Ольвии — орлом, парящим над дельфинами, — монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу — белый камень с изображением кривого виноградного ножа.

Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный, цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски — терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт.

Археологическое бродяжничество окончилось в Мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулен. Сметанина читала рассказы Гарта.

Каждая мелочь этого дня врезалась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолове. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибоя шарами мягкого стекла.

Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту, но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов, и потом понять, что это не берега, а гряда облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй над Мраморным морем.

Можно было пересыпать песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки морской травы, осколки мрамора и халцедона.

Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох.

Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о недалеких временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как сон и чтение.

РЖАВЫЕ КОРАБЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

Два дня я работал в Морской библиотеке. Я рылся на полках, уставленных кожаными фолиантами.

Но даже в библиотеке было много соблазнов, уводивших в сторону от главной работы. Я зачитывался лоцией Красного моря, хотя для моей книги это было не нужно, рассматривал заграничные морские журналы с рисунками кораблей всех стран и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая последними океанскими «лайнерами», изучал модели корветов, развешанные по стенам, и досадовал на недостаток времени.

Богатство неожиданных знаний было так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.

На третий день я встретил Сметанину. Она видела Дымченко и сообщила мне странную новость — дед Дымченко и Андрей обивают корабельными гвоздями старую барку «Перекоп». Занятие это казалось Сметаниной совершенно бессмысленным. По ее словам, гвозди вколачиваются без всякой цели один около другого по всему днищу барки.

Вечером я поехал на Северную сторону. Действительно, я застал стариков за этим занятием. Они предложили мне принять участие в работе. Гвозди надо было вколачивать так, чтобы между шляпками оставался промежуток не больше сантиметра.

Барка стояла на толстых деревянных стойках. На бугшприте мылся облезлый рыжий котенок. Он внимательно поглядывал на меня прищуренным глазом.

Около барки, как водится, сидели любопытные. Они покуривали и поплевывали, перекидываясь замечаниями, — делать им было совершенно нечего. Они поглядывали то на нас, то на дым из очагов, подымавшийся к небу. Дым возвещал о близости сытного ужина и увеличивал добродушное настроение любопытных.

Шел разговор о горестной судьбе Андрея,— ему всю жизнь не везло. Этот разговор помешал мне узнать сразу же у Дымченко назначение нашей непонятной работы.

— Один раз мне в жизни повезло, — кричал Андрей, чтобы заглушить стук молотков, — да и то, так сказать, неудачно. Было дело в германскую войну. Я рыбалил в Балаклаве с пиндосами. Ловля была плохая. В море далеко не сунешься, а в бухте рыбы нет и нет, — чистое наказанье!

Однако темной ночкой нагнало, на наше счастье, кефаль. Забила она бухту так густо, что весло вставишь — оно торчком стоит и само идет по воде. Но нет возможности ту кефаль ловить. Нету в Балаклаве морского червя, а она на него одного и берет.

Подался я до Инкермана. Там, сказывали, в одном лиманчике того червя была пропасть. Приперся я, начал копать — нет червя и нет. Он, стерва, глубоко в грязь зарылся, никак не докопаешься. Жара, пот с меня льется, весь в грязи, как кабан, а червя нет и нет.

Я уже думал плюнуть на это дело. Сел покурить. И тут якась чертовина как взвыла, как вдарила в лиман с полного ходу, — меня зашвырнуло сажен за десять. Вскочил я, смотрю — нет лиманчика! Одна яма, и с нее желтый дым идет. То «Гебен» подошел к Севастополю и первым снарядом, собака, запустил в меня, в рыбачка.

Вся грязь с лимана раскидана круг меня по балочке, и в той грязи червя — многие миллионы. Собрал я его два ведра, воротился в Балаклаву, и взяли мы неслыханную силу кефали. А я три года был глухой на левое ухо — грязь мне взрывом в ухо набило. Вот какое дело, рыбачки!

Рыбачки наперебой заговорили о налете «Гебена».

Я воспользовался шумом и спросил Дымченко, для чего мы обиваем барку гвоздями. По-моему, работа эта носила декоративный характер. Меня удивляло, что многочисленные зрители, склонные, как и все морские люди, к зубоскальству, не обращали на нашу работу внимания. Они равнодушно поглядывали на барку, ставшую похожей на сундук, густо обитый для красоты медными гвоздями.

— Вы слыхали за корабельного червя? — ответил мне вопросом Дымченко. — Такая есть гадючка белая. Она деревянный корпус, такой, как у «Перекопа», источит за полгода в труху. Ходы она в дереве роет, да так густо, — один коло одного. Нигде на всем Черном море нет такой силы корабельного червя, как у нас в Севастополе. До кампании пятьдесят четвертого года его тут не было, а в кампанию лихой адмирал Нахимов потопил в бухте Черноморский флот, загородил бухту от англичан, и с той поры червя развелось гибель. Старинный корабль — линейный, или, скажем, фрегат, или шлюп — все были деревянные. И на пропасть того дерева под водой собрался в Севастополь

червь со всего берега — от Евпатории до самой Керчи. Сваи точит, ялики точит, где какое судно найдет — тут же точит. Вот и хоронятся от него моряки и рыбаки, как могут. То красят ядовитой краской, то обшивают подводную часть медным листом, разное делают. Однако у нас, стариков, свое верное средство — обивать кузов гвоздями. Червь тот боится ржавчины хуже смерти. Мы гвозди вгоняем с таким понятием, чтобы шляпка от шляпки находилась близко. Ржа расползется, закроет весь кузов, и не будет тому червю ни ходу, ни возможности погубить «Перекоп». Андрей загнал богиню в музей за сто целковых, купил гвоздей, и вот — барочка будет у нас крепкая. Десять лет проплавает — ни один червь ее не возьмет.

Я вспомнил рассказ, слышанный в детстве, о корабельных червях, чуть не погубивших Голландию. В старое время плотины, ограждавшие Голландию от моря, — эта страна, как известно, лежит ниже уровня моря, — строились из дерева.

Цемента тогда не знали, а привозить камень издалека было дорого.

В один прекрасный год корабельные черви проточили плотины. Вода начала сочиться и затапливать зеленые равнины страны. Были собраны тысячи рыбаков и крестьян, подвезен лес, и страну удалось спасти.

Еще я вспомнил сказку о голландском мальчике. Он заткнул пальцем в плотине отверстие, проточенное корабельным червем, и держал палец, пока не прибежали взрослые и не законопатили щель.

Моя память получила толчок, и неожиданно я обнаружил, что в детстве много читал и слышал о корабельном черве.

В журнале «Вокруг света» я читал о корабле знаменитого пирата Дрека «Золотая лань». Он был насквозь изрешечен червем и погиб от этого в пучинах океана.

«Вокруг света» был журнал заманчивых приключений на суше и на море. Я помню гравюры на дереве, изображавшие черные гавани, матросов с бакенбардами и кораблекрушения около солнечных атоллов.

Там печатались романы Киплинга и Буссенара, Жаколио и Стивенсона.

Там я читал замечательные повествования о парусных капитанах, прокопченных пороховым дымом в абордажных боях и изучивших все хитрости блокад. Когда такие капитаны блокировали Брест, адмирал Нельсон, проходя мимо их эскадры, поднял сигнал на рее своего корабля: «Видя вас, я дрыхну так же спокойно, как если бы ключ от Бреста лежал в моем кармане».

До сих пор я помню рассказ о капитане Мирсе. Во время морских сражений он ловил рупором упавшие на палубу вражеские ядра и выбрасывал их за борт, прежде чем они успевали взорваться.

Все эти рассказы перемежались с описаниями Огненной Земли, с военными реляциями о боях в Трансваале и с путешествиями Миклухи-Маклая.

Рассказ Дымченко снова отвлек меня от работы. Я погрузился в изучение морских глубин и нисколько не жалею об этом.

Я утешал себя мыслью, что вдали от моря это изучение было бы не так увлекательно. Здесь, бродяжничая по окрестным берегам, я находил богатую пищу для размышлений и догадок.

В конце концов я бросил работу над книгой, махнул на нее рукой и с головой ушел в океанографию.

Разве любая область знаний, изученная неожиданно и как бы некстати, не составляет величайшей ценности для развития человека? Вот примерно те нехитрые доводы, какими я пытался усыпить придирчивое чувство долга.

Книгу я так и не написал, и все из-за этих проклятых корабельных червей, носящих красивое имя «торедо».

Это даже не червь. Это морская улитка, двухстворчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки.

Она вгрызается в дерево острыми створками и все время вращается вокруг своей оси. Ходы, просверлен-

ные торедо, безукоризненно круглы и отполированы. Ни одно из животных и ни один из механизмов не могут проделать такой совершенной и тонкой работы.

Когда он входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо всасывает воду и выбрасывает изжеванную древесную труху.

Торедо, вгрызаясь в дерево, быстро растет и толстеет. Поэтому ход делается все шире и длиннее, а тело моллюска, прикрепленное к входному отверстию, вытягивается, как резина. Моллюск становится похожим на червя.

Через несколько дней торедо уже не может вылезти обратно из своей деревянной норы. Достигнув старости, он умирает внутри дерева.

В тропиках торедо растягивается на два метра в длину и бывает толщиной в человеческую руку. На Черном море нет червей длиннее пятидесяти сантиметров.

Сколько бы червей ни сверлило один и тот же кусок дерева, их ходы никогда не пересекаются. Каким-то особым чутьем торедо знает о близости чужого хода и сворачивает в сторону. Ходы переплетаются в причудливые и тесные узоры, но всегда между ними, как бы близко они ни подходили друг к другу, остается тончайшая прослойка дерева.

Я видел рентгеновские снимки корабельных корпусов, изъеденных торедо. Рисунок ходов напоминал непролазную чащу вьющихся растений или клубок безнадежно запутанных ниток.

Около Инкермана я нашел на берегу старую пристанскую сваю. Я отпилил кусок сваи, и передо мной открылся целый город, построенный торедо, полный широких дорог, тупиков и переулков. Внутри ходы были покрыты слоем твердой извести, а снаружи на сваях ничего не было видно, кроме небольших, похожих на точки, отверстий. Я без труда раскрошил сваю руками.

Знакомство с торедо заставило меня изучать жизнь моря.

Я перестал смотреть на него, как смотрел до тех пор и как, возможно, смотрит на него большинство людей, — вот, мол, исполинская чаша соленой воды, приятная для глаза.

Я знал, что эта глубокая впадина, синяя от соли и зеленая от диатомовых водорослей, живет по точным, но подчас еще не раскрытым законам.

Жизнь моря оказалась настолько исполинской, что нужны были годы, чтобы узнать ее хотя бы в общих чертах.

Каждый раз, когда я видел его синий свет, его веселые пенистые бури, я думал, что мы знаем не больше червей. Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества.

ВОДА ИЗ СВЕТА

Ночь оглохла. Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. Изредка казалось, что я слышу осторожный плеск воды у прибрежного камня, похожий на затаенный вздох.

Я долго вслушивался и всматривался в темноту. Проходили долгие минуты, но звук не повторялся.

Иной раз я слышал высоко над головой шелест пролетающих птиц. Я знал, что чайки и бакланы давно уже спят, и не мог понять происхождения этого звука. Невольно в голову приходила мысль, что шелестят звезды.

Изучить все звуки ночи мне и Сметаниной пришлось поневоле.

Мы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и

стариков, беседующих около вытащенных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун.

Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. В бухте, в зарослях морского салата, качались стада камсы.

Высокое небо с единственным облаком, похожим на кисть винограда, отражалось в воде.

В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и метлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов.

Вечером прекратился ток. Мы попали в ловушку — трамвай не ходил. Нам пришлось заночевать в Балаклаве.

Сердобольная гречанка уступила нам комнату в доме, похожем на узкую крепостную башню. Балкон висел над самой водой.

Сметаниной спать не хотелось. Она сидела на балконе, закутавшись в одеяло, снятое с койки. Мы молчали. Я заметил, что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, много молчала.

Безмолвие ночи длилось недолго. Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчание воды в подводных пещерах. Море бормотало во сне и сердилось на кого-то, кто не давал ему спать.

Огни в городе погасли. Только зеленый фонарь при входе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички.

Я смотрел на Сметанину, но не видел ее лица. Внезапно, может быть оттого, что мои глаза устали, мне показалось, что ее лицо осветилось холодным огнем. Я отчетливо различил чистый лоб, брови и встревоженные глаза.

Сметанина вскочила, схватила меня за руку и крикнула:

— Море горит!

Я оглянулся. Все, что произошло дальше, я до сих пор не могу представить себе как действительность. Люди в таких случаях говорят, что действительность была похожа на сон, но это неверно. Она была лучше самого необыкновенного сна.

Море горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, освещенного снизу лунным огнем.

Свет разливался до горизонта, и там, где всегда сгущается тьма, небо сверкало, как бы затянутое серебряным туманом.

Широкий свет медленно мерк. Но после недолгой темноты море опять превращалось в незнакомое звездное небо, брошенное к нашим ногам. Мириады звезд, сотни млечных путей плавали под водой. Они то погружались, потухая, на самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды.

Глаз различал два света: неподвижный, медленно качавшийся в воде, и другой свет — весь в движении, рассекающий воду быстрыми фиолетовыми вспышками. Это метались под водой разбуженные рыбы.

Сметанина потащила меня по темной каменной лестнице вниз, к воде.

Белый огонь набегал на пляж, и было видно все дно. Камни и жестянки, валявшиеся под водой, покрылись тонкой огненной росой.

Сметанина зачерпнула воду в ладонь. Сквозь пальцы полились с плеском струи жидкого магического света. Вода освещала ее лицо, бледное от волнения.

Мы присутствовали при одном из самых величественных явлений в мире. Сметанина радовалась, как ребенок. Мокрые ее руки еще долго светились в темноте.

Море погасло так же быстро, как вспыхнуло.

До рассвета мы просидели на застекленной террасе и говорили о разных морских чудесах.

Лампа освещала на стене олеографию, изображавшую греческий крейсер «Аверов». Это был знаменитый «Аверов» — мишень для постоянных насмешек черноморских рыбаков и гордость каждого грека. Рыбаки кричали, что на «Аверове» деревянные якоря. Я сам в Керчи был свидетелем жестокой драки из-за этого между рыбаками и греками — чистильщиками сапог.

Лампа освещала белые стены, стоножек, шкатулки из лакированных крабов и сухие букеты.

Мы говорили о фосфоресценции моря.

Осенью в морской воде появляются мириады бактерий-ноктилюк. Они похожи под микроскопом на лист

водяной лилии. В них заложено множество крошечных светящихся зерен. Они-то и вызывают свечение морской воды.

Но светятся не только бактерии. Белым светом горят медузы. Таким же светом горит и странное животное «морское перо», похожее на куст коралла. Если его вынуть ночью из воды, то множество блуждающих огненных точек начинает перебегать по ветвистым частям животного то вверх, то вниз.

Мелкие морские черви дают то синий, то зеленый, то фиолетовый свет.

Некоторые креветки излучают яркий желтый свет, а черноморская ракушка фолада, сверлящая скалы, горит голубым огнем.

В Средиземном море водятся прозрачные, как стекло, животные — пирозомы. Они светятся попеременно то красным, то синим огнем. Английский ученый Мозлей написал пальцем на пойманной большой пирозоме свое имя и бросил животное в воду. Через несколько секунд слово «Мозлей» вспыхнуло на теле пирозомы под водой с такой же яркостью, как вывеска кино.

Рыба «Морской черт» носит перед собой на усиках два ярких электрических огня и приманивает на них глупых креветок.

Иные морские животные выпускают в воду светящуюся слизь, чтобы ослепить врага, иные пользуются собственным светом, как фонарем, чтобы отыскивать пищу.

МОРСКОЙ КАЛЕНДАРЬ

В то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по нескольку страниц.

Сейчас со мной были «Записки из кругосветного плавания корвета «Абрек», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году.

Спать не хотелось, и я прочел из этой книги несколько страниц:

«Второго апреля 1864 года мы вошли в пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане вблизи Таити.

Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной. Но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортами корвета.

В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем.

Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук.

Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, «морскими сердцами».

Будучи вытащены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении.

Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией.

Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс, но вода была очень теплая.

С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне.

В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из кокосовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах.

Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупой кокосовых

орехов. Они выедали из них мякоть и нисколько нас не боялись, — даже тащили орехи у нас из рук.

Днем мы подошли к бухте Тайо-Хай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм.

К нам подплыла шлюпка с резидентом острова — толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около ста туземцев и продал их в рабство в республики Южной Америки. Через год несколько туземцев-канаков вернулось на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана.

Ко времени прихода «Абрека» в Нукагиву из двух тысяч дикарей умерло около тысячи. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было восемнадцать тысяч жителей.

На острове мы видели трех монахов, несколько солдат и отставного французского матроса — содержателя дрянной лавчонки. Он продал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта.

Вечером мы посетили короля Нукагивы — молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства три тысячи франков жалованья.

В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, и на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров.

Король угостил нас джином. Сам он был пьян.

На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых.

Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя «палоло». Червя этого резидент назвал «морским календарем». Это прозвище было придумано не без оснований.

Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно в один и тот же день осенью все черви подымаются гигантскими стаями на поверхность воды для брачного танца. В этот день океан вблизи острова бывает сплошь покрыт червями палоло и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет.

Задолго до этого дня туземцы готовят пиро́ги для ловли палоло и вялят листья хлебного дерева. Палоло заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом своим черви напоминают свежую икру.

Появлению палоло предшествует ряд любопытных явлений.

Дня за три до всплытия палоло с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю палоло.

Туземцы следят за деревом ало-ало — его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода палоло.

Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы.

Луна подымалась над островом в своем великолепии. Зрелище этого светила, льющего лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света.

Этот свет оказывает свою силу не только на червей палоло, но и на приливы и отливы в океане и на другие явления нашей во многом не разгаданной земли».

ДВОЙНАЯ ВЕСНА

То, что я узнал о червях палоло, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря.

Палоло роятся только осенью. Множество мельчайших морских обитателей живут один год и к зиме

умирают. Знакомый моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море — водоросли в то время завяли».

Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень.

Облетала листва. Земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись в Турцию, и только желтые, под цвет инкерманского камня, бабочки изредка залетали в сады.

Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах.

Я решил найти Денисова и уговорить его спустить меня в водолазном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень.

Денисова я не нашел, но все же погрузился в изучение подводной осени.

Я хотел найти характерные морские черты этого времени года.

Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обилием рыбы. Реки тусклой свинцовой камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам.

Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется в глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса.

Водоросли не увядали, а, наоборот, качали на дне свои свежие густые леса.

Я решил, что Баранов напутал.

Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня, что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухопутной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.

— А тому Баранову вы не верьте! — кричал Дымченко. — Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Га! Годов десять

назад он поднял крик на весь Советский Союз, той Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота на двести миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц», погиб от страшной бури во время обороны. А вез той корабль жалованье для английской армии. Десять годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было, — никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбрехал. Шумный капитан, прямо грек! Как его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит — такой крик он с мостика подымает со своей командой. Та и команда ничуть ему не уступает. Все херсонские да одесские. Вовсе отчаянный народ.

Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан.

Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи.

Смена времен года на Черном море идет так — зима, весна, лето, вторая весна (в сентябре и октябре) и снова зима. Никакой осени нет.

В марте и апреле солнце с каждым днем подымается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна.

Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон — те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии.

Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планкто-

ном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью.

Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями — диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море.

Диатомея размножается с невероятной быстротой. Каждые двадцать четыре часа одна диатомея делится на две. Через десять дней из одной диатомеи получается около тысячи этих одноклеточных существ — не то растений, не то животных, — заключенных в хрупкую кремневую раковину.

Формы диатомей так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомеи, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы.

Кроме диатомей, в планктоне плавает множество существ, обладающих всеми признаками растений и вместе с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным.

Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям.

Когда я впервые увидел актинию — ее зовут еще морской анемоной, — я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное.

Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле. Она неподвижно живет, или, вернее, растет на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупальцев, покрытых синими точками. В щупальцах хранится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка.

Весной море насыщено планктоном и диатомеей. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и других животных.

К началу лета диатомея исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна.

Жизнь медленно замирает, и кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться мертвящей зимой.

Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова наполняется гущей микроскопических растений и животных.

Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и фиринки.

После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин и увядшими зарослями морских гниющих трав.

Веселые рыбы — макрель, чирус и паламида — уходят в Средиземное море. Норд-осты ревут в туманах. Снег тает, растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей.

Чем объяснить появление на море второй короткой весны?

Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немыслима жизнь микроскопических растений — диатомей.

Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта, лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва.

Весной солнечный свет затопляет море. Диатомеи начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью — примерно за один месяц. В мае уже начинается соляной голод,

и диатомеи гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно.

Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может.

Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя нагретая вода лежит слоем в десять — двенадцать метров толщиной на глубокой холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает.

Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона — вторая морская весна.

Она длится, пока солнце дает достаточно света.

Дни становятся короче, солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте.

Планктон умирает, вянут водоросли, и зима превращает моря в неизмеримые бассейны холодной воды.

Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями.

Я собирал водоросли, похожие на кораллы, — их называли кораллинами, — и зеленую зостеру. Ею, как непроходимой чащей, заросли севастопольские бухты.

Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все

севастопольские рыбаки называли зостеру «осетровой травой».

От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит филлофорное море. Оно занимает около трех тысяч морских квадратных миль. Дно моря на этом пространстве завалено красной йодистой водорослью — филлофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета.

Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и оливковые водоросли растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли.

У северных берегов Крыма есть свое Саргассово море. Называется оно Джарылгацким заливом. Там заросли зостеры подымаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи.

Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры.

Зостера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды можно набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами, гнездящимися около обветшалых маяков.

РАССУЖДЕНИЕ О КРАСКАХ И БРОНЗЕ

Из французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка.

Он рисовал закоулки портов, сохнущие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, качающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки.

Рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету, — все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков.

Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками — одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет.

Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали.

— Живопись нельзя нюхать, — сердито говорил Синьяк неопытным зрителям. — Отойдите подальше, дитя!

Картины Синьяка были написаны способом пуантелизма, иначе говоря — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно.

Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции.

Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек очень ярких и чистых цветов — красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты.

Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков Бретани и Нормандии. Но нет ничего невозможного, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов.

Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и понимать.

Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души», — сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его теперь основательно забыто. Это

был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек.

Неизмеримые протяжения воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений и различного по силе и по углам падения солнечного света, отблески берегов, сумрак туч и сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и белые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам земли.

Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря.

Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность.

Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы подымались по выветренному трапу к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец.

— Я хочу показать вам свою последнюю работу,— сказала Сметанина, зажигая свет в комнате. Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой.

Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне.

Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки.

Я рассматривал их, улавливал связь между ними, но не понимал их назначения.

На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробоиной от тяжелого снаряда.

Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники.

Под рисунком была надпись: «Памятник миноносцу «Свирепый».

На втором рисунке был изображен совершенно иной памятник. Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак — типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом — сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой.

Я всмотрелся. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко.

— Что это? — спросил я Сметанину.

— Это памятник старым очаковцам, — ответила она и смутилась.

Я продолжал рассматривать рисунки. Третий памятник был так же необыкновенен, как и два первых.

Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись. Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шел Частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Прут», слева — боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном — матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была надпись: «Vive les Sowiets et la mer!»

Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джемсу Куку, Магеллану и Берингу.

Потом я перешел к наброскам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны.

Наконец, я видел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов струилась морская вода — ковры фиалок и других синих цветов.

Люди с бакенбардами стояли у планшира и курили трубки. Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках.

На пьедестале была вычеканена надпись: «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану».

Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем.

После памятников я рассматривал рисунки, изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы.

Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это был совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над домами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма.

Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметаниной со зданиями, улицами и набережными города.

— Что это все значит? — спросил я, наконец.

— Будущий Севастополь, — ответила Сметанина.— В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили пять лет назад, одинаковых вывесок и названий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться.

Я не спорю — в этих проектах много романтики. Но осуществите ее — и она превратиться в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание, они привьют любовь к своему городу и, тем самым, к своей социалистической родине.

Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболевать неврастенией и трамвайным бешенством.

Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспективы, — чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух.

Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним, как с необходимостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы.

Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные думают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфальную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде — и новый город готов.

Тех, кто так думает, надо не подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России.

Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тилю Уленшпигелю и матери из повести Горького.

Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого.

— Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытащенные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, подымают неистовый лай.

Конечно, людей надо выселить оттуда, а вокруг этого судового кладбища разбить цветники. Дети будут

играть на шхунах, и все это место мы назовем Старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, видавшие виды в морях.

— Ну что ж, — сказал я. — Все это прекрасно, но пока это область фантазии.

— Вы ничего не понимаете! — ответила Сметанина. — Никаких фантазий здесь нет! Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича.

Вы подумайте, как весело будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству своей библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.

— Я ничего не могу возразить,— ответил я.

— Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?

Сметанина помолчала.

— Вы хорошо знаете Гарта? — спросила она неожиданно.

— Да, уже несколько лет.

— Он талантливый человек?

— Конечно.

— Вот это меня и злит. — Сметанина в упор посмотрела на меня. — Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя близостью со вздором. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе мысль, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случаться только в тропиках, на девственных островах и в городах, полных тайн, моряков и необыкновенных женщин. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет. Талант сгорал, как щепка, а не светил

упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали?

Я молчал.

— Ничего вы не сделали! Неужели трудно взять человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?

— Он сам вышел из этой комнаты, — сказал я.

— Ну, конечно, — спохватилась Сметанина. — Вы правы.

— Почему вы заговорили о Гарте? — спросил я Сметанину. — Какая связь между Гартом и новым Севастополем?

Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым.

— Я знаю, что связь есть, — сказал я.

Сметанина молча собирала рисунки.

— Раз вы молчите, — продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений, — так я скажу за вас.

— Как хотите, — промолвила Сметанина.

— Как вам известно, — сказал я, — все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и Кастле. Таких городов нет и не было.

— Но они будут! — воскликнула Сметанина.

— Ну, хорошо, они будут. Но это пока не существенно. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны. Города эти изрезаны морскими проливами. Их пересекают полноводные реки, богатые рыбой и зарослями лилий. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера.

Окрестности этих городов разнообразны, дики и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера.

Интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, эти города можно представить себе так: приморский город

с лестницами вместо спусков, с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через двадцать лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком.

Тогда люди возвращаются. Они прорубают в растительности проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев. Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет.

Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки, и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть опилками. Дети хохочут и не отстают от мечтательных девушек.

Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гротов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами.

По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью. Таковы города Гарта. Но их нет и не будет.

— Они будут, — упрямо повторила Сметанина. — Они будут, но, конечно, не такие старинные. Без газа, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни.

— Мне так же, как и вам, — ответил я, — хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так. Гарт ушел от действительности и выдумывает фантастические страны и города. Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?

— Да, — согласилась Сметанина.

— Чтобы сберечь, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет.

— И все будет прекрасно, — сказала с облегчением Сметанина.

— Нет,— ответил я.— Ничего прекрасного не будет.

Сметанина даже вздрогнула:

— Почему?

— Гарт должен писать, — ответил я. — Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал блестяще.

— Что же он сделал?

— Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, не выдуманного Севастополя. В этом была его нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, а Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят. Это все, что я хотел сказать. Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?

— Да. Я от этого не отступлюсь никогда.

— Значит, Гарт добился своего, — сказал я, закуривая. — Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно.

— Я не совсем еще разобралась в ваших словах, — сказала Сметанина, — но, кажется, вы правы. Какой все-таки силой обладает Гарт!

— Не Гарт, а искусство, — осторожно поправил я.

На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода журчала по обочинам тротуаров, сливаясь в море, как журчат у нас на севере лесные родники.

ВЕСЕЛЬЕ И ГОЛОД

Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Яличники с Северной стороны прозвали капитана Баранова «Очевидцем». В это слово яличники, считав-

шие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую были способны.

Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью — этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий.

Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый».

И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны.

Начнем с корабля. Во время дождей буксир был слышен. Именно слышен издалека. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды.

По слухам, «Смелый» плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Людей, распространявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом».

Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в несуществующий еще корабельный музей.

Буксир носил обидное прозвище «Пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может надымить весь английский флот, если его топить мусором.

Радио буксиру было не нужно. О его приближении узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах «Смелого» встречали дружелюбно и насмешливо.

Баранов ругался с «духами» — кочегарами, но «духи» ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь, а самый «подлый штыб»! Как только они начинали шуровать в своих топках,

дым подымался, как извержение, над притихшими от изумления берегами.

В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутливую теорию, что с «густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты».

Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки:

«Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и веху, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта».

Внешность Баранова не соответствовала представлению о неспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у забытой и престарелой знаменитости.

Баранов был немолод, но держался стройно. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости.

Биография его была неисчерпаема. Беспрерывно я узнавал то от него самого, то от окружающих все новые черты из жизни этого привлекательного человека.

В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбачью артель.

Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи.

Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь.

В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Траяном, и играл и пел кантилены и баркароллы. Он сдружился с городской беднотой, с бродягами и

тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба.

После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в провинциальную оперу. Он изъездил всю страну. Кажется, не было такого городка — от Фастова до Елабуги и от Весьегонска до Армавира, — где бы он не играл.

Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать предсмертную вещь, равную «Анне Карениной». Он ругал в письмах Толстого «слащавым чудаком» и получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе завернутыми в черный платок.

Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе.

В 1905 году в Одессу пришел восставший «Потемкин». Портовые рабочие хотели присоединиться к «Потемкину» и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт. Горели пакгаузы.

Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных брандспойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте.

Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего «Потемкина» с Черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня выдала нам из сострадания кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов — розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы и печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням (тогда выходных дней еще не было) мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что газета не печаталась на ней, а выдавливалась, как книга для слепых.

Старые газетчики в первый день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

— Газэта «Мрак!» «Мрак» — газэта!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре... двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни, — от истории кораблекрушений и революционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников — журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболь. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, — крякая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.

Почему из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

— В Одессе много солнца, много моря, и — вы увидите — в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса — это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, ка-

питаны и портовые грузчики-банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие больше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это — Одесса.

Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило в жизнь этих писателей, как дарит берегам самые разнообразные вещи — от поющих раковин до сорванных с якорей пловучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей, в «Моряке» работало два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от любителей литературы.

Харито был черен, подозрителен и брезглив.

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил

переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко — херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не свойственные его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой.

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского — Федор Федорович Достоевский, бывший игрок на бегах и спекулянт.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с наружностью холеного барина и пухлыми руками. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко говорил: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если бы ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы высосать из него все, что сын знал об отце.

Из моряков — сотрудников газеты — самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

— Вот это ребята! — говорил он. — Способные до писания чудаки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко, — Лондона я не застал. Приехал к нему в ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара — целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Полынь росла на трамвайных рельсах и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега — это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом, полно запаха морской травы и степей, полно голода, с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о

блокаде. Только стаи скумбрии — веселой средиземноморской рыбы — прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

СКРИПКА МАСТЕРА РАБИНОВИЧА

Как-то в свободный день я пошел с Барановым на Сухой лиман удить бычков. Мы тащили с собой две дыни — единственную нашу пищу — и бамбуковые удочки.

Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям.

Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега.

Дорога была пустынна. Только под Люстдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду.

Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из «Риголетто» казалась невероятной, как если бы я услышал над морем крик диких лебедей.

Баранов уронил дыню. Скрипач оглянулся на нас и отнял смычок.

— Это пустяки, — сказал ему смутившийся Баранов. — Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать.

— Вы не бандиты? — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.

— Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?

Старик тихо засмеялся.

— Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!

Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.

— Вы сказали, что я бедный человек. Нет! — крикнул старик. — Я богач! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку? Исаак Равикович делал ее, молодые люди! Старый Исаак с больными руками делал ее три года. Она такая тонкая, что отзывается, когда где у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак, — вы хотели меня об этом спросить? Если вы были в Италии...

— Я был в Италии, — сказал Баранов.

— Вы! — крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния. — Дай вам бог счастья! Вы случаем не видели город Кремону?

— Я был в Кремоне, — невозмутимо ответил Баранов.

Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и, заискивая, заглядывал ему в глаза.

— Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит десятки тысяч рублей. За что платят люди такие деньги? За вот этот кусок фанеры или за старые жилы? Нет! Люди не такие дураки. Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы! Кто их видел, ангелов, я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня.

Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева. Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды.

А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве можно с них что-нибудь спрашивать! Нищие люди! Где им было думать о

музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба.

— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.

— Это наш одесский Страдиварий, — ответил старик. — Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. Нет, я сыграю вам итальянское!

Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в темном маленьком трюме рассохшейся скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке:

Настроена гитара,
О друг мой, в честь твою
Всего земного шара
Я песни пропою.

Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рваный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.

— Вот! — сказал скрипач, окончив играть. — Теперь вы слышали, что это за инструмент! Это инструмент Исаака Равиковича — великого старика. Но, между прочим, никто даже не найдет его могилу на Новом еврейском кладбище.

Он жил один и умер один. Был у него только я — Моисей Чернобыль. Мне он подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня, его соседка, и еще профессор Московской консерватории, — я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция,— так он сказал, — и разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют?» — «А не думаете ли вы, — спросил я его, — что скрипка будет петь и для революции и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» — «Нет, — сказал он, — я так не думаю, Чернобыль!»

Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.

Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.

— Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие, паршивые рубли!

Скрипач помолчал.

— Я неплохой музыкант. Может быть, потому, что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил как сирота. Я играю, сколько хотите. Я люблю играть людям.

При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату и говорила: «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле».— «Что такое? — спрашивал я. — Разве господа офицеры не любят скрипичной игры?» — «Вы дурак, Моисей, — говорила мадам Павлович. — Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин».

И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик, — ответил я, — а скрипач, и зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль». — «Вот как! — сказал он. — Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, «Так громче, музыка, играй победу!»?»

Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню.

Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А «Интернационал» ты умеешь играть, жидовский Кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой.

Тут вся моя кровь, — а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я, — тут вся кровь ударила мне

в глаза, и я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет. Тогда я крикнул ему: «Да, «Интернационал» я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете бежать из Одессы, как крысы, сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан».

Он опять замахнулся на меня скрипкой, но я схватил смычок и ударил его по глазам.

Ну, что! Вы интересуетесь знать, что было? Ничего не было! Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И, верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку — хорошо ли спрятала ее мадам Павлович.

На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда! Играй и будь здоров, Чернобыль. Не путайся у нас под ногами, — и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу, играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо, и ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду. И я дождусь своего счастья.

Расстались мы со скрипачом на берегу Сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь, в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул.

Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.

— Вот я и вернулся, — сказал он. — Ой, какой вы неосторожный, молодой человек! Кто же спит на солнце!

Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:

— Вы грамотный по-русскому?

— Да.

— Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу.

Я согласился.

Старик вытащил мятый бланк «Русского общества пароходства и торговли». Обгрызанным карандашом я написал под его диктовку следующие слова:

«Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в Рыбачьей балке, по занятиям скрипач, сильно болею чахоткой, как и моя мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Рабиковича. Скрипка эта моя. И в случае смерти — как нет у меня ни жены, ни малых детей — прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились сколько лет! Только прошу до скрипки не касаться лаком. Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук.

С почтением *Моисей Чернобыль*, 59 лет».

В Севастополе в каюте «Смелого» мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».

— Да, — сказал Баранов, — перебираешь собственную жизнь и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот — нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов — еще со времени поисков «Черного принца», помните? Эй! — крикнул он на палубу. — Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!

Баранов проводил меня до трапа.

Густые сумерки спустились над Севастополем. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колючие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.

— Никуда не хочу уходить с этой коробки, — сказал напоследок Баранов. — Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту! Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело возить тюбетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще, и в свободное время в каюте полежишь — почитаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте.

Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы:

— Дня через два пойдем буксировать «Днепр». Достаньте разрешение, — я вас прихвачу с собой. Слыхали про «Днепр»?

— Слыхал! — крикнул я в ответ.

— Ну то-то!

Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о «Днепре». Этот пароход был связан с одним из замечательнейших происшествий, когда-либо случавшихся на Черном море.

ГОРОХ В ТРЮМЕ

Через два дня я вышел на «Смелом» к Босфору, где Экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». «Смелый» должен был отбуксировать «Днепр» в Севастополь.

Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем — в коротком дне, запахе снега и рано зажигавшихся сигнальных фонарях.

На «Смелом» в связи с аварией «Днепра» было много разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях.

Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, жирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск, но море осталось прежним — с такими же двенадцатибалльными штормами, мелями, туманами и опасными течениями.

У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с пловучими льдами, от пожаров и реже всего от бурь.

Моряки различают в деле аварий «тяжелые» и «легкие» годы. В тяжелый год терпит аварию примерно один из каждых четырех пароходов, плавающих по морям.

Разговоры происходили в каюте Баранова.

Особенно любил «потрепаться» водолаз Медлительный — маленький человек с мокрыми усами. Он работал в Эпроне — Экспедиция подводных работ — несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов.

Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на «Смелом». Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвастовстве.

Медлительный, как все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном. Он ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой «деликатной штуковине» ни слова. Тогда молодые водолазы решили его проучить.

Однажды Медлительный дернул за сигнальный конец, чтобы его подымали. В ответ сверху закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!» Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажало шланг, подающий воздух. Он задыхался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах, он беспрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала.

Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости:

— Подымай, черти! Мне плохо!

Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону.

Медлительный прославился тем, что заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух.

Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов.

Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной рукой подкову и весящих не меньше семи пудов.

О невероятной силе старых водолазов ходят легенды. В Батуми в первые годы революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобивости. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины.

Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Збышко-Цыганевичем — чемпионом Варшавы, и со Штейнбахом — чемпионом Баварии.

Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крите, где стояло пять эскадр — английская, русская, французская, итальянская и турецкая. Заремба служил тогда во флоте водолазом.

Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы. Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила. Мне бороться с людьми запрещается». Под надписью была печать султана.

Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На десятой минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду.

Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от Медлительного.

Петя Мухин был водолазом советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой, маленький юноша, которого, по словам Медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя.

Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом «Черного принца». Низкорослые и слабые на вид японские водолазы ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье. А наш водолаз-силач за пять-семь минут с трудом делал по грунту несколько шагов.

Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где был найден броненосец береговой обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году.

Первым наткнулся на «Русалку» Мухин, но Медлительный, на правах учителя, чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о «Русалке».

На «Смелом» я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель «Русалки».

Из позорных историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель «Русалки» были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были пловучие крепости с покатой палубой, выдающейся над водой только на два фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах.

Постройка этих броненосцев началась после войны южных и северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакивать всюду, победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов — все это создало о мониторах мнение, как о грозных боевых кораблях.

Забыли только о том, что мониторами северян командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам, — знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюссер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей.

Когда американский монитор «Миантономо» пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан

без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в манию. «Миантономо» шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду, все его люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды.

«Русалка» была монитором американского типа.

В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоявшей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около четырех часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча».

Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. «Русалке» надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до полудня. Но адмирал приказал выходить в девять часов утра, и броненосец не посмел ослушаться.

По обычной в царском флоте небрежности «Русалка» забыла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки.

Утро в день выхода «Русалки» было ветреное. Шел косой надоедливый дождь.

В десять часов утра сорвался шторм силой в девять баллов. «Русалку» начало заливать.

«Туча» под командой капитана Лушкова бросила бедствующий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лушков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни двухсот матросов «Русалки».

«Русалка» в Гельсингфорс не пришла. Лушков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе «Русалки». Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли «Русалка» до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля на мызу курляндского барона.

Через два дня рыбаки с острова Сандхамн донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Русалка».

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорскому полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец, через три дня после явной гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца.

Поиски продолжались два месяца. Они закончились заключением следственной комиссии, что «Русалка» погибла около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с «Русалки» не всплыло ни одного трупа.

Страна волновалась. Гибель двухсот моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все — трусость, глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям.

Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со скукой. На рапорте о гибели «Русалки» он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших».

Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели «Русалки». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию.

Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков «Русалки». Тогда морское министерство возмутилось: «шпаки» хотели вмешаться в его военные дела.

Был издан гласный приказ начать поиски «Русалки» и негласный — искать «Русалку» там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись нелепыми способами, например

с воздушного шара. С шара дно моря видно на глубине четырех саженей, а «Русалка» затонула на сорокасаженной глубине.

Поиски велись в глубокой тайне. Все было сделано, чтобы «Русалку» не найти. Царь опасался, что похороны жертв «Русалки» могут вызвать новую волну возмущения.

Нашли «Русалку» через сорок лет советские водолазы. Они восстановили картину гибели корабля.

Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Они вливались в открытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу, нечего было и думать, — она вся была под бушующими волнами.

Оставшиеся на верхнем мостике командир и штурвальные были крепко привязаны канатами к поручням.

Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе.

Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец, водой залило топки, и машина стала. Тогда «Русалку» повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца.

Плавание на «Смелом» прошло незаметно. Через сутки мы подошли к «Днепру».

С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Кара-Бурну, вошел в него и сел на камни.

Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капита-

нов. Среди моряков оно носит имя «Фальшивого входа».

Пасмурность и дождь меняют вид берегов. Знакомые места кажутся чужими и впервые открытыми.

Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий, теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы — и в хорошую погоду схожие друг с другом — при снеге кажутся неотличимыми.

Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега, затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор в виду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам — одиноким деревьям, генуэзским башням и береговым домам.

Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах капитанов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий.

— Трудно плавать, — говорят они, — у берегов, где каждый год появляются новые приметы — силосные башни, антенны радиостанций, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам.

Нигде вы не встретите такого точного описания примет и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря.

Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмёлые, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы.

Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают наскучившие контуры берегов в невиданную страну.

Я испытал это на собственном опыте. О мысе Киик-Атлама около Феодосии в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но недаром моряки зовут его «Хамелеоном». Я видел этот мыс несколько раз при всякой погоде. Каждый раз он представал в неузнаваемом

и великолепном виде — то желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи, то серым, как бы тлеющим после пожара, то черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий, то голубым, как лунный камень, то, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок, плохо смытый с матового стекла.

Эта обманчивость берегов и вызвала аварию «Днепра».

Когда мы подошли к «Днепру», то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней экспедицией Эпрона, стояли рядом, покачиваясь на якорях.

Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе.

Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что «Днепр» сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла так бить его о камни, чтобы разломить пополам.

Но вскоре все разъяснилось. Трюмы «Днепра» были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты.

Когда эта новость дошла до «Смелого», ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас «разыгрывают». Водопады остроумия обрушились на эпроновцев. Их обзывали «звонарями», а их водолазную шаланду — «подносом с музыкой».

— Ну и невыносимо же брешут! — кричал белесый боцман со «Смелого». — Неестественно как заврались ребята!

Эпроновцы сначала посмеивались. Потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый стар-

шина с вытаращенными злыми глазами. Он плюнул и закричал:

— Чего квакаете без понятия! Это дело научное. Вы бы постыдились серость свою показывать перед всем Черным морем. Нашлись какие разумные — над наукой смеяться!

Неожиданное обвинение подействовало на команду «Смелого». Смех стих.

Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменилось и насмешки сменились удивлением.

— Ты гляди! — кричал тот же белесый боцман. — Шо такое зерно? Пустяк! Дунь — и ничего нету. А какую силу в себе имеет, — океанские пароходà рвет пополам, как гнилую веревку.

Но все же, когда «Смелый» брал на буксир носовую часть «Днепра», боцман не удержался и крикнул команде «Днепра»:

— Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!

С палубы «Днепра» перед тем, как потравить конец, показали боцману кулак.

История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как себя ведут под водой вещи.

Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой коркой и может пролежать в воде десятки лет. На «Малыгине» экспедиция Эпрона пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около трех месяцев.

Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет.

Железо покрывается тонкой ржавчиной — не больше миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец.

Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же «Малыгине» машины три месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и «Малыгин» в полный шторм

вернулся на своих машинах из Шпицбергена в Мурманск.

Только цинк в морской воде превращается в порошок.

С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде десять лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с оглушительным свистом, винты завертелись, и торпеда поползла, как стальное чудовище, по деревянному пристанному настилу.

Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. Только чугун как бы раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет.

Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих анатолийских гор, оставшихся такими же загадочными, как и раньше.

К вечеру в кают-компании «Смелого» Петр Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна, с потопленного транспорта «Женероза».

Патефон хрипло пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвастовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала, как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота.

В черный дождь и туман
Уходил в океан
Наш фрегат.
И тогда закричал капитан:
«Черт мне брат!
Вгонит в рифы тайфун, —
Все равно приплывем в Камерун!»
Наплевать!
Двадцать пять
Стариков-моряков
Побожились давно,
Что нам больше тебя не видать,

Дом родимой страны,
Даль родных берегов, —
И пойдем мы ко дну
Под холодную, злую волну.
Двадцать пять
Моряков-стариков
Побожились об этом давно...
Нам тонуть или жить — все равно!
Нам на все наплевать
Сорок раз и еще двадцать пять!

Баранов не выносил этой песенки. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинающие море, жулики-арматоры — все это разрушало наивные мысли о прелести старинной морской службы.

Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков — бесстрастных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков — и полярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота — отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был не чем иным, как будничной работой.

В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло. Изо рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы.

Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос «Днепра» с единственной мачтой показался в Северной бухте.

Баранов и команда «Смелого» приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал:

— Ну и везет вам, товарищ Баранов. Опять попали в очевидцы!

Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартом и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа.

Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге. Она прилетела из Феодосии и через два дня собиралась лететь в Коктебель.

Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась.

Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.

ОЦЕПЕНЕНИЕ ПОЛЕТА

— Ну, — сказала Зоя и похлопала рукавицами, — идите садитесь!

Маленький зеленый самолет трясся и гнал из-под шасси густую пыль. Сухая полынь дрожала от ветра.

Зоя подняла руку. Самолет быстро помчался по аэродрому, выходя на старт. Потом он с яростным ревом начал набирать скорость. Рев перешел в ровный звенящий гул. Земля, телеграфные столбы, стартер с белым флагом и татарская мажара, трусившая по дороге, — все это косо повалилось направо.

Горизонт падал, закатывался, а слева, за целлулоидовым окном, рядом с машиной стояло солнце. Я знал, что оно было в зените, но не удивился, увидев его сбоку и даже немного снизу под собой. Зоя легла на крыло и делала разворот над аэродромом.

Когда машина выпрямилась, она оглянулась на меня и показала рукой на город.

Севастополь, пестрый от солнечных пятен, качался и дрожал под ногами, как громадная, сложная карта.

Казалось, что самолет стоит в воздухе неподвижно и трещит, как стрекоза.

Но колесо, недавно переставшее вертеться, быстро вело через бухты и город ровную линию, закрывая кварталы и изгибы берегов.

Сверху Севастополь был оранжевым от черепичных крыш. Машина шла над ним, вздрагивая и поклевы-

вая носом. Воздушные токи били в ее днище с резкостью кулачного удара. Зоя ела виноград.

Мы выходили к морю около Балаклавы. Каждая неровность земли под нами отзывалась на самолете. Он шел, повторяя в воздухе профиль земного пути, тянувшегося внизу. Он подскакивал, когда пролетал над холмами и насыпями, встряхивался над зарослями и проваливался в воздушные ямы над крутыми обрывами. Пол уходил вниз. Тело одну долю секунды висело в воздухе. От этого сильно болели позвонки.

Балаклаву я не видел. Ее целиком — от Кадыкоя до генуэзских башен — закрыло колесо самолета.

Жидким блеском ударило в глаза море, похожее сверху на синюю чашу с приподнятыми краями.

Самолет последний раз нырнул над ржавыми обрывами мыса Айя и ровно пошел в море.

Монотонно гудел мотор. Синий свет заполнил кабину. Мы шли без тряски и толчков, как по воздушному асфальту.

Зоя, вспомнив о моем существовании, прислала мне записку:

«Налево — Байдары и Форос. Смотрите. «Земли полуденной волшебные края» (Пушкин)».

Я ответил на обороте: «Вы сильно бы волновались, если бы вам пришлось везти на самолете Пушкина?»

Зоя обернулась и утвердительно кивнула головой.

Я смотрел на бронзовые слитки гор. Они были покрыты плесенью осенних низкорослых лесов. Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами.

Черное море было верным другом Пушкина. «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Замкнутый и скупой на слова Мицкевич часами просиживал на этих берегах.

Марлинский сочинял рассказы в припадке малярии в Сухум-Кале. Гарибальди плавал на тяжелом грузовом пароходе между Одессой и Таганрогом.

Лермонтова чуть не убили около Тамани контрабандисты. Черному морю он был обязан лучшим рассказом.

Одиссей плыл на корабле «Арго» по этому гостеприимному морю к берегам Колхиды. Марко Поло прошел по его северным берегам в глубь Азии, в царство Великого Могола.

Ученый Паллас застал здесь нетронутые генуэзские города. Молчаливый и застенчивый грек, лейтенант Манганари, снял великолепную карту берегов этого моря.

Матрос Матюшенко поднял восстание на броненосце «Потемкин» и пересекал на нем эти воды. Здесь вырос и воспитался Шмидт. Лев Толстой в Севастополе написал первый в русской литературе правдивый рассказ о солдате.

У Каркенитского залива проходил с армией Фрунзе. Здесь красные части брали Перекоп, а партизанские отряды легендарного Мокроусова захватили Судак.

Я перебрал множество имен. Я понял, что этот густой синий дым подо мной, покрытый озерами солнечного света, — Черное море, — оставил неизгладимый след в сознании многих людей, приучил их к горизонтам и смелым обобщениям, вызвал пытливость, научил видеть, действовать и побеждать.

Но зачем думать о выдающихся людях? Тысячи рыбаков и матросов, выросших у Черного моря, дали стране, ее новой культуре много упорства, любви к свободе и веселья.

В 1920 году Красная Армия стремительно заняла Крым. В этом порыве какую-то роль сыграло и Черное море. Оно притягивало, как мощный прозрачный магнит. Оборванные бойцы видели на этих щедрых берегах хотя и несовершенный, но ясный облик будущей страны, ради которой шли умирать, страны солнца, свободных морей, легкого воздуха и тучных виноградников.

Мы проходили Ялту. Неподвижным каскадом белых домов она лилась в море. Ржавые парки виднелись сверху, как через волнистое стекло.

Воздух вокруг был разной плотности. Он создавал странную игру красок — то они сжимались со всех сторон, и тогда сады делались густо золотыми, то расплывались — и золото садов едва поблескивало сквозь вечернюю дымку.

Солнце садилось на западе в равнину вод. Мы вылетели поздно. Начальник аэропорта в Севастополе даже не хотел нас выпускать.

Солнце садилось, его прямые лучи ударили в стены сиреневых гор и осветили леса, цеплявшиеся за скалы.

Зоя оглянулась и посмотрела на солнце. Над Чатыр-Дагом мы проходили уже в поздние сумерки.

Зоя вела машину напрямик через горы, стараясь выиграть время.

Нас начало болтать. С северо-востока порывами задувал ветер. От ветра машина трепетала, как лист бумаги. В кабине стало холодно и темно.

Я еще различал вдали светлую полосу моря, но внизу, в ущельях, клубилась тяжелая мгла. Будто черный дым исполинского пожара подымался из земных глубин.

Зоя оглянулась. В глубоком сумраке я увидел только блеск ее зубов. Она улыбалась, чтобы ободрить меня. Но меня давно охватило безразличие полета — состояние, обычное на больших высотах.

Смотреть наружу не было смысла, — тьма ночи налетала все более густыми волнами. Так прошло около получаса.

Потом внизу проплыла горсть тусклых огней. Мы, очевидно, проходили над Судаком. По виду огней я понял, что Зоя набрала большую высоту, и догадался, что сейчас мы будем брать Кара-Даг.

«Лишь бы она не потеряла земной горизонт», — подумал я. Я пытался определить, где он находится, но это оказалось бессмысленным занятием.

Я слышал, кроме гудения мотора, еще несколько звуков. Ремень у окна трещал, как пулемет. Стекла вибрировали и издавали звон, сливавшийся в одну напряженную ноту. Ветер налетал со звуком широкого и мягкого пушечного удара. Ветер сбивал ход.

Самолет не был приспособлен для ночных полетов. Зоя осветила электрическим фонариком счетчики. Я заметил высоту — две тысячи метров.

Потом она посветила мне в лицо. Я ослеп, а она, смеясь, показала рукой в ночь, налево. Я увидел

пыльное электрическое зарево, — открылась Феодосия. Коктебель был в двадцати километрах перед Феодосией, — значит, мы летели где-то над аэродромом, но никаких огней внизу я не видел.

Внезапно мотор остановился. Только свист вертящегося по инерции пропеллера и гул плоскостей, идущих круто вниз, были слышны в темноте.

Зоя клала самолет с крыла на крыло. Я увидел летящие к нам из пропасти огни. Я заметил освещенную белую полосу в виде буквы «Т» — знак посадки на аэродроме, но тотчас она рванулась в сторону, огни заметались зигзагами, качнулись, рассыпались, снова собрались и под гул планирующей машины стали на свои места и сделались много ярче.

Можно было разобрать свет в окнах домов. Машина промахнула крыльями над крышами. Удар! Второй удар о землю, — и мы понеслись, подскакивая и подымая пыль, в кромешный мрак аэродрома.

Толчки прекратились, и наступила прекрасная земная тишина, — тишина ночи, полная запаха чебреца и света далеких звезд, откуда мы упали на эту милую землю.

Зоя вылезла из кабины. Я хотел помочь ей, но она засмеялась и сама спрыгнула на землю.

— Отойдем подальше и покурим, — сказала Зоя. — Сейчас за нами приедут.

Далеко было слышно кряканье автомобильной сирены.

Мы закурили. Папироса освещала лицо Зои. Она сняла шлем. Глаза ее были окружены черной каймой. Она, видимо, устала. Она положила мне руку на плечо и сказала:

— Послушайте, как тихо!

Мы стояли и слушали. Безмолвие ночи простиралось вокруг. Машина тоже прислушивалась к нему вместе с нами.

— А вот с Пушкиным, — засмеялась Зоя в темноте, — я бы так не полетела.

— А что бы вы сделали?

— Вернулась бы обратно в Севастополь. Там лучше садиться ночью. И ветра там нет.

Мы молчали. Звезды горели над рваными краями гор.

Вскоре подошла машина. Юноши в робах потащили самолет в ангар, за полкилометра.

Нас с Зоей машина повезла по белеющим извилистым дорогам. Далеко внизу разбегались редкие огни Коктебеля.

Через четверть часа машина остановилась у низкого каменного дома. В окнах горел свет. За живой изгородью из колючих кустов шумел прибой.

— Вот и приехали, — сказала Зоя. — Это наша берлога.

На террасе с лампой в поднятой руке стоял и улыбался Гарт. Лицо его было освещено лампой сверху и казалось совсем молодым. Он широко распахнул дверь в беленную мелом комнату с простой дощатой мебелью.

МАТЬ

— Ну что, — спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки, — удалось вам найти материал для рассказа?

— Кажется, — ответил он. — Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь.

— Дадите прочесть?

— Конечно, — сказал Гарт и поднялся с койки. Он достал из стола рукопись. Рассказ назывался «Мать».

«Родился я в маленьком городке Ени-Кале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керченского пролива. Слово «лежит» к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом.

Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили — трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков.

Народ в Ени-Кале жил скупой и небогатый — рыбаки, конопатчики да шкиперы с азовских байд.

Самыми богатыми жителями были два контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки.

Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название Фонарь. Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками.

Потом, когда отец отдал меня на рыбачью байду, бывало идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты, и сиди мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была традиция. Раз «старик мигает» — значит, мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным.

Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил и меня и мать. Выгонял из дому и кричал: «Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас. Заели мой век, прилипалы».

Когда отец не пил, был он унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчит, рубит топором табачные корешки. Мать его не любила.

Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли и новые выросли толстые и горбатые.

Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький сделался, в чем только сила держалась.

Читал из-под полы. Помню, прочел «Отверженные» Гюго и несколько лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее вконец. Многого не понял, но одно мне запало в душу: есть где-то веселая жизнь, как тогда думал — невозможная, где люди могут читать интересные книги, путешествовать, драться на баррикадах и любить красивых, чистых женщин, а не мыть каждый день гальюн и провоняться до самого сердца рыбьей требухой.

Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь, но по слабости здоровья списали на берег и отправили рабочим на Морской завод. Работал я электриком.

Матросы — сами знаете — народ с искрой в голове, бывалый и вольный. Многому я от них научился.

Была война. При мне все было — и февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам, и немцы, и англичане, и деникинцы, и Врангель. Все я перевидал и все понял.

После войны я остался рабочим на заводе. Жил я далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там контрразведка расстреливала людей.

Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темноте, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом.

В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал, — ничего, только звезды полыхают над бухтой.

Но однажды зимой вышел я и слышу — стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: «Товарищ!» Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел. Слышу — опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся, — вижу, человек!

Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови, долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он, может быть надо что-нибудь кому передать, а он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать.

К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось.

Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Красная Армия. У белых начинался, как тогда выражались, «вселенский драп», иначе говоря — паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт «Рион». Он стоял у пристани в Южной бухте.

Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на «Очакове» командовал миноносцем «Свирепый», — маленький старик, простая душа, — стоял у двери, следил, чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору — делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги.

Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на «Рион». Шел спокойно.

«Рион» собирался отваливать.

Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа.

За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем случае остаться на «Рионе» и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до девятисот. Адская машина должна была взорваться через девятьсот секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался.

На двести двадцатой секунде я подошел к трапу, на двести тридцатой офицер сказал мне: «Ты куда лезешь, сукин сын! Сейчас отвал». Я показал ему на какую-то женщину на пристани: «Вон маруха моя стоит, принесла папирос на дорогу. Разрешите сбегать на две минуты». Он говорит: «С такой и за минуту успеешь управиться. Вали!»

На двести сороковой секунде я был за пакгаузом, а на трехсотой — уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она накрашенная и говорила по-французски.

Просидел я на сквере остальные шестьсот секунд. Выкурил за это время десять папирос. «Рион» отвалил, но взрыва не было.

У меня похолодело под горлом, — неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы, — и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах вылетели стекла.

«Рион», весь в пару, осел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не был спасен. Так я свел короткий счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал «Рион», и мне пришлось бежать от расстрела.

Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми.

Шел я горами, по Яйле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах татар-чабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Горные овчарки разорвут в клочья.

Шел три дня, пока вышел к Коктебелю. Два дня я ничего не ел, раны на ногах распухли, и я ругался от боли.

Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиться солоноватой воды и сказал:

— Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты — всем будет каюк. Иди к Максу.

Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один может меня спрятать в Коктебеле.

Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали Максом.

Встретил меня низенький бородатый человек, посмотрел на мои ноги, ничего не спросил и сказал: «Идите скорее за мной». Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток.

На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся, — у него в доме белые не посмеют меня тронуть.

На десятый день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажили, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город

к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались, и он долго стоял и смотрел мне вслед.

Больше я его не встречал. Только теперь, через пятнадцать лет, я пошел на его могилу в сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями.

В Феодосии я пробыл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами, как за ширмами.

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый, — меня почти не заметил. Только при первой встрече он проворчал:

— Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать.

— Если я мешаю, то уйду, — ответил я и пошел к двери.

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю, — сказал он, — то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне:

— Теперь можете убираться.

Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь.

Голодный, с избитыми ногами, я добрался, наконец, до родного городка, до отцовского дома.

В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, два партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры.

Время было опасное.

Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку.

Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь, — пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями, а за оконцем все те же хибарки с побитыми

стеклами, ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль.

— Где папаша? — спрашиваю мать. — И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое суток я иду голодный.

Она собрала мне поесть — соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть, — глаза все время слезились.

В то время я пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца.

Отец пришел к вечеру весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать принесла керосиновую коптилку, поставила на стол. Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло:

— Дура-баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?

— Не знаю.

— От белых у отца решил сховаться?

Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце.

— Поживешь — узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит.

— Окопы роете?

Отец молчит. Мать меня толкает в спину, — отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, но решил утром уйти из дому. Голова болела от обиды за людей.

— Пулеметы на нас наведены, — сказал отец. — Под пулеметами работаем. Ты бы ложился спать, Андрюша.

Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности.

Разделся, лег и уснул. Сколько проспал — не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу — мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет.

— Что такое?

Мать не может говорить, дыхание у нее спирает.

— Старик, — говорит, — куда-то пошел ночью. Как бы не было беды, Андрюша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек. Он — друг, не обманет.

— Куда пошел папаша? — спрашиваю ее.

Она трясется, молчит.

Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке, — все собаки подохли от голода. Темно, — не видно своей руки.

Потом слышим — идут! Я втащил мать за рукав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они, — говорит мать. — Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю.

Анастаса я помнил еще с детства. Был он грек из города Воло. Человек отважный и верный — старый контрабандист.

Я ему сказал:

— Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком.

— Скольких?

— Вот нас двоих — меня и мать.

— А старуху зачем?

— Надо.

— Едем, — говорит Анастас. — Минут пять назад «они» тут прошли. Время горит. Айда на берег! Денег твоих мне не надо.

Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю:

— Не плачь, мамуся. Все, даст бог, обойдется.

Ради нее я бога помянул. А она мне отвечает:

— Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете, и ради того я с тобой не поеду.

Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил. Ждать было нечего. Мы кинулись на берег, к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили.

Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не не то плачет. Догадался, что это мать, но не до того было, — пришлось гресть что есть силы.

Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся — чтобы не попасть под «фонарь», — так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив.

Но «фонаря» не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег.

Минут через десять с нашего берега ударило несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую штормовую ночь мы вышли, — пролив был седой от бурунов.

— Ложись! — крикнул мне Анастас. — Ложись, зараза! Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне:

— А ну, как буруном нас на счастье закроет? Шлюпка моя белая, пена белая, — может, беляки не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас и вскочил. — Нащупали! Сидай на весла, Андрюха, и греби, пока душа в тебе держится.

Я греб и стонал от напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо, пришлось грести с закрытыми глазами.

Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо. Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа.

Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах.

Наконец, высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора наползла черная тень. Это был давно погасший пловучий маяк у

таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у меня по спине. Я не чувствовал боли, но не мог пошевелить рукой.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек, завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Он даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить.

Я забился в кусты и пролежал до рассвета.

Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбачьего дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме, — лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть.

Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубахе, с окровавленной перевязкой, синий и промокший.

— Откуда это вы? — спросила девушка громким шепотом.

— Из Керчи, — я показал на пролив. Там в осеннем грязном воздухе чернели керченские горы.

Я сел на ступеньку и потерял сознание.

Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома. Пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти.

Были слышны два голоса — женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же:

— Нехай остается. На человеке лица нет, — пусть передохнет.

Девушка настояла на своем, — меня оставили. Девушка — звали ее Настя — все поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех.

Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей. Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими «колокольчиками».

До революции старик был сторожем Англо-Индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала вереница невысоких чугунных столбов. Все провода были срезаны.

Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела.

Когда я оправился, старик, ругаясь на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощанье руку, сунул в карман денег и наказал не позже чем через год возвращаться и не морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил.

Хотя и не через год, а гораздо позже, я вернулся в Тамань. Теперь Настя — моя жена.

Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца.

Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из «батальона смерти». Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка.

— А отец? — спросил я Анастаса.

Он замялся.

— Погиб он вскорости после этого случая. Утонул на рыбной ловле.

— Как утонул?

— По делам вышла и смерть, — неохотно ответил Анастас. Он сделал вид, что не слышит моего вопроса.

На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь командую кораблем.

Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчь и Ени-Кале и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд!»

КАРА-ДАГ

> Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.
>
> *Джемс Кук*

Мрачный болгарин предложил купить у него коллекцию коктебельских камней. Я было согласился, но Гарт отговорил меня. Он уверял, что мы сами можем набрать еще лучшую коллекцию за один день, стоит только съездить в Сердоликовую бухту около Кара-Дага.

Болгарин клялся, что ничего не выйдет — у нас нет верного глаза и мы не знаем тех мест, куда море выбрасывает самые красивые камни.

Я давно слышал, что берега Коктебеля славятся камнями, но не думал, что их так много. Я брал на берегу горсть камешков, пересыпал ее на ладони и почти всегда находил несколько халцедонов, сердоликов, горных хрусталей и зеленых камешков, покрытых разноцветными слоистыми кольцами и носивших название ферлямпиксов.

Особенно много было серого мрамора и зеленого малахита с белыми и черными жилками. Они создавали на камнях удивительные пейзажи — утесы, прибои и цепи гор.

Часто попадались камешки с тончайшими рисунками растений, напоминавших папоротники.

Больше всего камней я находил на кромке прибоя после бурь. На поиски камней надо было выходить рано, как на охоту и рыбную ловлю. К полудню болгарские дети уже выбирали все самое ценное.

В Сердоликовую бухту мы поехали на шлюпке в первый же тихий день. С нами поехала Зоя.

За первым мысом на нас дохнуло застоявшейся теплотой, а под стеной Кара-Дага мы вступили в давно забытое и далекое лето.

Это было самое теплое место в Крыму. На морских побережьях меня поражала резкая смена холода и тепла на расстоянии каких-нибудь десяти километров. Горные хребты пересекали приморскую страну и делили ее на маленькие области. Каждая из них обладала своей растительностью, климатом и пейзажем.

Я впервые увидел Кара-Даг.

Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов мира и разрушительных извержений.

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака.

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, заливая с гулом пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

Вода выливалась шумными пенистыми водопадами из пещер, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы.

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками парили орлы.

Головокружение носилось, как испуганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и мы потеряли черту земного горизонта.

Гарт подвел шлюпку ко входу в пещеру. В ней, по словам Зои, совсем недавно нашли ящик со старым серебром. В глубине пещеры, на выступах, куда не доставала волна, белели кости. Мы не могли к ним подъехать, но нам показалось, что это человеческие черепа. Мы попали в бывший приют контрабандистов.

Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это придавало ей таинственность, от которой у

детей пересыхает горло, а у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга.

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты, — не полукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита многоугольники разнообразных размеров и форм.

В одной из таких бухт мы и качались на своей желтой шлюпке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ветром к подножию нависавшей над морем черной громады.

С большим риском Гарт подвел шлюпку к отвесной стене, отполированной прибоем, и мы заглянули в воду.

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и подымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо вытягивали, то прятали зеленые руки, пытаясь схватить стаи пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько крутым, что крабы с трудом удерживались на них. Они беспомощно растопыривали клешни и срывались в глубину от каждого ничтожного колебания волны.

Вода в бухте казалась покрытой слоем темного оливкового масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый ее глухой цвет, тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление громадной глубины.

Со стороны моря бухта была заперта двумя скалами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы далеко разошлись и образовали большую арку. Там жило громовое многократное эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск весел превратился в пенистый шум эскадры гребных судов. Эхо придавало любому звуку медный оттенок. Гарт кашлянул. Сухой кашель курильщика эхо превратило в оглушительный звук канонады, будто от скал отскакивали полые бронзовые ядра.

В бухте Зоя крикнула. С далекой вершины сорвался камень. Мы слышали, как зарождалось его падение, как он щелкал по выступам скал и со свистом пули врезался в воду.

Бухта походила на глубокое озеро в кратере вулкана. В прорезь арки была видна пена волн на подводных рифах и стаи чаек, бивших крыльями по воде. В бухту чайки не залетали.

Около пещеры мы заметили стаю бакланов. Они качались на воде, вытягивая черные головы на длинных гусиных шеях.

Стены Кара-Дага были во многих местах рассечены от вершины до поверхности моря прямыми трещинами. Иные утесы стояли одинокими колоннами, высотой в сотни метров. Было непонятно, почему они не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.

Кара-Даг еще недавно был действующим вулканом. Он прорвал нагромождения геологических пластов, лежащих над жидкой земной магмой, вспучил их, раздвинул и поднял над морем.

Мы рассматривали сотни горных пород, то завязанных в узлы, то падавших волнами, то свисавших квадратными плитами, похожими на броню дредноутов. На одной из стен Кара-Дага был виден кратер, залитый лавой. В толще окаменелой магмы сверкали жилы сургучного сердолика.

Вода в бухте отражала скалы. Цвет их был суров, но не однообразен. Скалы были черные, красные и желтые, как охра. Изредка их перерезали пласты зеленых, белых и синеватых пород. Но у всех этих красок было общее свойство — их покрывал сизый налет, свойственный окалине. Очевидно, это были следы космического огня и пепла.

Зоя рассмотрела у подножья одной из стен небольшую каменную площадку, занесенную песком и ракушками. Мы пристали к ней на шлюпке и вышли.

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами. Безмолвие каменного хаоса скрывало смертельные опасности обвалов. От каждого резкого звука мы вздрагивали и смотрели вверх, где небольшая туча стояла, уткнувшись влажным лбом в глыбы гранита.

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Надо было передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи малейших ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй,

солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, гроты, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших далеко внизу спины серебряных паламид, и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недосягаемых высот.

Все это надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. Но как не было слов, так не было и красок, чтобы передать торжественность и прелесть этих мест.

Как передать на полотне отражение, имеющее глубину и объем, но вместе с тем не имеющее ничего, кроме непрерывной игры световых и красочных частиц!

Как передать амфитеатры черных гор, замыкающих полукругом неподвижный розовый день!

Здесь нужно было соединение всех человеческих усилий, содружество талантов, все средства красок, света, слов и звуков. Да, звуков, потому что тишина этого вулканического цирка была совсем не беззвучна. Сквозь нее сочилось едва заметное звучание, должно быть, похожее на то жужжание планет в мировом пространстве, о котором писали эллины.

Очень долго над Кара-Дагом не решались пролетать планеристы. Нужно было большое мужество, чтобы выдержать толчки мощных воздушных потоков, рвущихся вверх из теснин этой горы.

Первый планер разбился в одной из бухт. Видел его падение поэт Максимилиан Волошин — певец и старожил Коктебеля. Он послал к Кара-Дагу рыбаков, и они нашли спасшегося планериста. Он цеплялся за незаметные выступы отвесной скалы. Если бы помощь запоздала на несколько минут, планерист сорвался бы со скалы и утонул.

Мы отъехали на шлюпке к скалам, кое-как привязались к одной из них и занялись рыбной ловлей.

Шнур провисал до самого дна, как лот, и туго дрожал от подводных течений. Изредка резкий удар давал знать, что взяла рыба.

Зоя вытащила громадную камбалу — палтуса, диковинную рыбу с глазами на спине. Она шла тяжело, покачиваясь и перебирая плавниками. Зоя хохотала.

Начался азарт. Я подсек большую султанку. Эта серебряная рыба с огромными глазами, когда ее вытаскиваешь из воды, покрывается пурпурными пятнами.

Гарту не везло. Он таскал только крабов. Они бегали боком по шлюпке, прятались под решетчатый пол и смотрели оттуда на Гарта яростными глазами, то выдвигая их, то пряча, как театральные бинокли.

Гарт схватил одного за спину и, морщась от папиросы, показал мне и Зое его мощные клешни. Одна клешня была приспособлена для раздавливания, другая для того, чтобы хватать.

Гарт дал крабу зажать клешней лапу маленького железного якоря-кошки и поднял краба вверх. Краб с грохотом потащил за собою якорную цепь. Гарт рассказал, что краб может держать в клешне тяжести, в тридцать раз превышающие вес его собственного тела.

Только в конце ловли Гарту повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья.

За рыбной ловлей Зоя рассказала нам о гибели француза Бертело.

Этот французский турист приехал в Крым, чтобы осмотреть кипарис, посаженный Пушкиным в Гурзуфе, скалы «Дива» и «Монах», водопад Учан-Су, а заодно и другие, затасканные обывательским любопытством «прелести юга».

Гарт перебил Зою. Он заметил, что нигде в Союзе он не встречал такого количества пошлых открыток, картинок и описаний красот, как в Крыму.

Гарт предложил беспощадно выгнать из Крыма бродячих фотографов — главных распространителей дешевого вкуса. Это они снимают жирных бухгалтеров в обвисших трусиках рядом с девственными цветущими магнолиями, а хихикающих и кривоногих девиц заставляют обнимать спокойные и торжественные статуи Диан и Нереид.

Но Зоя перебила Гарта и окончила свой рассказ о Бертело.

Этот француз, учитель географии, устал от тюбетеек, кизиловых палок с рогатками и коробок, облепленных раковинами и называющихся почему-то «Привет из Ялты». Он устал от ялтинской толпы, слоняющейся по набережной с упорством маньяков. Кто-то посоветовал ему отдохнуть от Ялты в Коктебеле.

Бертело приехал. Он был поражен тем, что попал из сусальных курортов в сухость и простор, напоминающие Македонию. Красные маки цвели в шиферных горах. Суровые горы, небо, сухая трава, воздух и море — больше в Коктебеле ничего не было.

Но сильнее всего Бертело поразил Кара-Даг. Он проводил целые дни у его подножия. Он, смеясь, говорил, что заболел неизлечимой болезнью, носящей название «карадагизм».

Через год он снова приехал в Коктебель. Ему хотелось обязательно проникнуть на Кара-Даг с суши. Это предприятие считалось невозможным, но Бертело все же поднялся на Кара-Даг.

Был сильный ветер. На одной из остроконечных вершин на Бертело напали горные орлы. Отбиваясь от них, он потерял равновесие и упал в пропасть. Тело его нашли не скоро.

ГОРНАЯ РОСА

Из Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, покрытых дубовым кустарником и буковым лесом.

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Черные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.

Мы с Гартом пошли в Старый Крым, за восемнадцать километров от Коктебеля, чтобы посмотреть раз-

валины первой столицы Крыма — Солхата. Они еще сохранились в Старом Крыму.

Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских гор. Вековые орехи протягивали черные ветви над черепичными крышами. У подножия деревьев сидели сонные старики. Они торговали овощами и дешевыми феодосийскими папиросами.

Листья ореха лежали на земле тусклыми зелеными пятнами. Редкие прохожие давили их чувяками. Тогда острый запах возникал в тени вянущих деревьев и долго не исчезал.

Старый Крым был пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время покоса, когда в избах остаются одни младенцы и старики. Мы долго бродили по улицам, где, кроме собак и дозревающего шиповника за оградами, никого и ничего не было.

Гора Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город.

Мы искали развалины Солхата и, наконец, нашли. Они были печальны и запущены. Разбитые надгробья тонули в бурьяне. К надгробьям кто-то привязал несколько старых коз с желтыми глазами.

На развалинах мечети мы встретили черного человека и двух рабочих-татар. Татары лениво разгребали щебень широкими лопатами и звенели ими о камни.

Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.

Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи об орошении восточного Крыма. Фамилия его была Левченко.

Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.

— Уважаю любопытных людей, — сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город. Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.

Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.

Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов.

Это был человек вне профессий, или, вернее, человек, умевший вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.

Мне приходилось встречать моряков, умевших извлечь много любви к своему делу из знакомства с живописью, и художников, обогативших живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.

Только ум, умеющий проследить неразрывную связь на первый взгляд несовместимых явлений, может создавать большие ценности.

Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раскопок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.

Левченко знал, что в средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.

Сами собой напрашивались выводы. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в последние времена.

Откуда же ее доставали?

Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.

Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.

Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков-кладоискателей.

Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, говоривший о наличии подземных пустот, — все это волновало Левченко не меньше, чем опытных археологов и стариков кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.

Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.

Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.

— Вы представляете, — сказал Левченко, — какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!

По лицу Гарта я видел, что от его раздражения против непрошенного попутчика не осталось и следа.

Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.

По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчистить и починить.

Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.

Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.

Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.

Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.

— Я свалял дурака, — сказал он мне и засмеялся. — Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуществить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе, — космические вещи меня пугают.

— А вы сделайте и то и другое.

— Придется, — вздохнул Гарт.

Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегородить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.

ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

И, разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.

Эдуард Багрицкий

Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы, наконец, перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.

Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно, — рассказывал Левченко. — Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан, — в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было много. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых времен христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.

Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.

При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай переходов

по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка. Раны гнили.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов — худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.

Звали мы его «Обер-крот». Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и подземному чутью, чем по компасу.

В первое время нам удавалось прорываться на-го́ра, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды.

Тогда белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.

Однажды из «лазарета» к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.

— Что? — спросил Колдоба.

— Роют, — ответил раненый. — У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце, — и ни голоса, ни крика, ни выстрела, — одна эта подземная глухота!

— А что вы слушаете, чего дожидаетесь? — спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир, — тихо ответил раненый. — Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно...

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно, — шепотом сказал раненый, — роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю, — белые закладают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу, но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие

при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации: мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло появиться избавление.

Мы пришли в отчаяние. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец, такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой весенний воздух разрывал отекшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы

не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что — красные части были далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежние. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он, наконец, разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не хватало. Иные из нас жевали намоченные в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли, — нас отравляли углекислым газом. Белые стали лить в

подземелья по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот, в это время последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш «Обер-крот». Он сказал мне, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат листья осины даже без ветра.

— Надо проверить, — сказал я. — Ты совсем стал слепой.

— Проверим, — ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки.

Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан, — сказал он мне, когда мы сели, — думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал, — ответил я.

Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни.

— Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколок стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому, — ответил он, — что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив — тогда поймешь и узнаешь. А сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка.

Я выглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы вылезли. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я и вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони, полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, Обер-крот? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят.

Голова у Назимова затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так... — сказал он и остановился, — если мы сделаем так... Я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников, — ответил я. — Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов, в ответ на мои возражения, только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:

— Есть охотники оставаться со мною?

Бойцы молчали.

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше...

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые трудно раненные! Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего гавкать! Давай патроны! — закричал один из раненых.

Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом огонь стих. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей. Узнал я это из записок белого офицера.

«Последний отряд партизан, — писал он, — целиком состоял из тяжело раненных. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гарт бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался звук откупоренной бутылки.

СКАЗОЧНИК

В старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гриневский.

Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывали легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было

благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».

«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».

«Зима умерла. Весна столкнула ее голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком, в виде мертвенно белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».

Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля напугала давно.
В южный край —
В светлый рай
Приплывем все равно!

Он выдумывал и другие песенки — шутливые:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать!
Позвольте вас на салинг взять,
Ах, вас на салинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене, — портретом Эдгара По.

Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.

Старый Крым сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать, наконец, запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и все время смотрел на горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти — жена и ее старуха мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было все.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.

— Я уверен, — сказал Гарт, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу, — что наше время — самое благодарное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный

сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.

Я согласился с ним.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.

НОЧЬ НА ШАЛАНДЕ

В Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гарт сидел над рассказом о боре. Юнге не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал к своему другу-метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем «Мархотского узника».

Двадцать лет он просидел на этом перевале, всегда затянутом туманами, и изучал бору. Он пытался найти точные признаки для предсказывания боры, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва.

Каждый день и каждый час Новороссийск — один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря — мог ждать предательского удара этого неистового ветра.

Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились.

Гарт торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до прихода Юнге. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынивание от работы.

Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление, когда я увидел «Смелого», изрыгавшего, как

принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма.

Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Дооб, где работала судоподъемная партия.

Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман. Он переползал через гору. Туман этот моряки звали «бородой». Появление его предшествует боре.

Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на «бороду». Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч. Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым. Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет.

Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари, и, как всегда зимой, особенно сильно парили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах.

У мыса Дооб мы перешли со «Смелого» на водолазную шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина.

На шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно крепить понтоны к миноносцу. Поэтому он жаловался на «невыносимые мурашки в голове».

Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары — их называют понтонами. В понтоны накачивался воздух. Понтоны всплывали и подымали корабль.

Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того, было почти невозможно определить вес подымаемого корабля, — корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до половины, и все

помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила.

После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше пятнадцати секунд.

Картина подъема производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом вылетают понтоны и выскакивает корма или нос корабля, покрытые травой, ракушками и крабами.

Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала.

Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность, — разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить.

Мы с Гартом были в каюте шаланды, когда снаружи послышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра.

Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта.

Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую корму «Смелого», неистово вертевшего винтами. Ветер сорвал со «Смелого» кормовой флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму.

Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец — «Смелый» решил отвести нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности.

«Смелого» начало заливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на шаланде весь день и штормовую ночь.

Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму шаланды. Пока можно было оставаться

на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море.

В кипящей мгле метался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блестело днище, закрашенное суриком и покрытое пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбивало на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал:

«Машина не выгребает. Терплю бедствие».

К вечеру пароход сел на мель.

К ночи бора дошла до полного и сокрушительного давления. Волны с гулом перекатывались через шаланду. Все не смытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа.

Мы качались в железной коробке при свете «летучих мышей» и слушали вопли норд-оста и гром воды.

Молодые кочегары волновались. Особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов и шаланду унесет в море.

Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд.

Ночью волнами расшатало корму, и появилась первая течь. Ее забивали паклей и клиньями.

Чтобы успокоить кочегаров, «старики» — Денисов, Мухин и Медлительный — сели играть в «козла». Гарт присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовней Медлительного и ударами шторма, продолжалась до рассвета.

Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке, выкинутой водолазами в одном из курортных городов.

Шли работы по подъему затонувшего портового катера. Водолазная шаланда стояла у самого мола.

— Время было летнее, — рассказывал Медлительный, — и вода была совсем теплая — можно сказать, как чай. Один с наших водолазов, отчаянно веселый

парень — Колька Гаврилиади, — в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только где-где пустит два-три пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани, тоже в трусах, и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на десять минут под воду и вынырнет невредимым. Я с им стою рядом и, натурально, клянусь, и божусь, и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются. Тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду.

Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхивая папиросой.

— Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. Четыре, и пять, и шесть минут, а Мухина нет. Я стою и закручиваю цыгарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом, хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи Мухину. А я говорю им: «Не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет!»

И вот, действительно, забурлила вода, и вылазит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита.

Мухин — парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврилиади — парень небольшой ростом, черный, как жук, и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы и подтверждайте, что прошло не меньше как десять минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком, и только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет и притом короткий, или, по-нашему, по-моряцкому говоря, — человек на низком ходу?»

А у нас между собой все расписано, и я даю соответствующую пищу ее любопытству. «Разве вы не знаете, — кричу я сердито, — что от давления воды че-

ловек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь, и они делаются, как у того индюка?»

Гаврилиади показывает мне незаметно кулак, но я, как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврилиади, разыгравши курортных и отдыхающих, идем к себе на шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврилиади и стоял на месте, глотал свежий воздух.

— Врешь! — сказал Денисов.

Медлительный сделал страшное лицо и обернулся к Мухину.

— Петя, — сказал он вкрадчиво, — вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хочет верить старому водолазу. Подтверди, будь другом.

— Было такое дело, — спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы.

Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение боры и выжал улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров.

Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и шаланду начало носить на последней оставшейся цепи. Было ясно, что и эта цепь долго не выдержит, а тогда... Денисов в ответ на вопрос, что будет тогда, только махнул рукой и сказал:

— Прости и прощай!

Запасного якоря у нас не было. Около шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге.

— Давай трос! — крикнул Мухин.

Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его.

Мы были уверены, что Мухина смыло, но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнуло, потом снова пододвинуло к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу.

Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала.

Мухин спустился вниз, переоделся, взял гавайскую гитару, вдвоем с Денисовым они затянули южную песенку:

Прощайте, родимые воды,
Прощай, Ланжерон и маяк, —
По случаю справной погоды
Уходит на ловлю рыбак.
Рыдает на моле Маруся,
И чайки стрекочут над ней,
Я скоро в Одессу вернуся,
А ты меня жди и жалей!

— Вот какой мы народ! — кричал Гарту Медлительный. — Бесстрашный народ. Нам и жить и помирать — все с музыкой!

— Заткнись! — сказал Денисов.

Медлительный плюнул и смолк.

К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении «Смелого». Баранов взял нас на буксир и потащил в порт.

От команды «Смелого» мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджаристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в сто тысяч пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов.

Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи и качались фонари. Рваные снасти хлестали по ветру. Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури — пыль веерами лежала на столе около окон, рама была вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба.

Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове.

Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа.

Проект прорытия туннелей под хребтом Варада получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение.

Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим.

САМОУБИЙСТВО КОРАБЛЕЙ

Пока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.

Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.

Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее «морочением головы и фокусами».

Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.

Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных к этому спору.

Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.

Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз

немцы решили сначала передать флот «украинской державе».

Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.

Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли «прекратить говорильню», но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал «бросить пустую болтовню» и сорванным голосом кричал в исторических приказах:

«Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!»

Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота.

И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.

Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к «украинской державе». Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.

Команды миноносцев — стремительных и поворотливых кораблей — требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.

Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы немцам дать бой.

Но это было уже невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались — с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.

Гетманская организация «Рада черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.

И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы.

Команды дредноутов решили поднять немедленно украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих кораблей немцам, не позволять, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.

На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: «Позор и продажа флота!»

На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.

Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.

На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.

В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.

Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедок.

К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.

Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из лабиринта севастопольских бухт и выходить в море.

К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.

На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать.

Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск.

Немецкие разъезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.

В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.

Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.

Команды двух миноносцев — «Гневного» и «Завстного», не успевших проскочить под обстрелом, — открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.

Черноморский флот ушел в Новороссийск — последний в то время оплот советской власти на берегах Черного моря.

Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.

Начались бурные и скомканные, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.

Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшихся здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.

Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.

Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.

Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.

Наконец, пришел секретный телеграфный приказ из Москвы — ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.

Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву.

Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:

«Безвыходность положения побудила председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться необходимостью немедленного уничтожения флота».

«Совет народных комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.

Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет».

«Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен».

Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет народных комиссаров.

Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.

Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть — за потопление флота и небольшая часть — за уход в Севастополь.

Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день — семнадцатое июня.

Командир миноносца «Керчь» лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить «Керчь», выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться.

«Керчь» подняла на мачте сигнал: «Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам родины».

Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к «Керчи».

Тихменев на «Воле» ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель.

— В ночь на восемнадцатое июня мы, — рассказывал Баранов, — потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.

Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны.

Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятья неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.

Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.

Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.

Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал — величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.

Миноносец «Лейтенант Шестаков» начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.

Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.

Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему

оставшемуся у пристани миноносцу «Фидониси» и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.

Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить, — в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.

Миноносец «Керчь» подошел полным ходом к «Фидониси», и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.

Толпа отхлынула, и «Керчь» вывела из гавани «Фидониси» — последний из миноносцев погибавшей эскадры.

Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около четырех часов дня.

«Керчь» развернулась и стала бортом к «Фидониси». Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина, шурша, понеслась с «Керчи» и ударила в борт «Фидониси».

Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.

Вслед за «Фидониси» началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.

Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лежал на дне Новороссийской бухты.

Тогда «Керчь» подошла к «Свободной России». Это было около Дообского маяка.

Миноносец пускал мину за миной в дредноут, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.

Когда дым рассеялся, команда «Керчи» увидела дредноут, пробитый насквозь.

Броневые плиты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.

Люди на «Керчи», обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.

Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.

Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта, с невыносимым скрежетом они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.

Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Дредноут лег вверх килем и медленно пошел на дно. На «Керчи» люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетавшие из воды, и плакали.

Трудно понять не моряку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.

«Керчь» ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:

«Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Баранов был на «Керчи» во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:

— Погребальный был рейс.

Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый, пустой порт.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Из Новороссийска Гарт, Юнге и я вернулись на «Смелом» в Севастополь. В Севастополе мы застали Зою.

Сметанина сообщила нам радостную новость — дед Дымченко получил грамоту от правительства и звание «почетного моряка Черноморского флота».

Мы решили поехать к Дымченко и поздравить его с высокой наградой.

Мы накупили вина, фруктов, всяческих закусок и погрузили все это в ялик. Сметанина везла деду в подарок его собственный портрет, Гарт — жестянку английского трубочного табака, Юнге — новый барометр, Зоя — семена разных цветов, Баранов — бутылку шампанского, а я — набор рыболовных крючков и шелковые плетеные лески.

Яличники наперебой зазывали нас в свои шлюпки. Каждому было лестно и любопытно переправить на Северную сторону это богатое пиршество, запакованное в кульки и берестяные коробки.

Награждением деда гордилась вся Северная сторона. Поэтому еще у пристани пришлось раскупорить бутылку и угостить старых перевозчиков — друзей и почитателей Дымченко.

— Золотой старик! — кричали одни, обсасывая усы и вытирая их заскорузлыми ладонями. — Не старик, а чистое дитё. С таким старым легче добиться социализму, чем с другим каким молодым балбесом!

— Справный рыбак! — кричали другие. — Привычка у него до моря настоящая. Он море скрозь знает. Революцию вытянул на собственном горбу.

На Северной мы высадились перед вечером.

Пока Баранов и Гарт выгружали из шлюпки провиант, я смотрел на бухту.

В небе висела далекая, только что родившаяся луна. На высоте в тусклой синеве воздуха чувствовалось присутствие иссякающего солнечного света. В противоположность небу вода была взволнованной и живой. В ней плескались огни кораблей, предместий, мигалок и катеров. Они казались маленькими хлопьями светящейся пены. Они разгорались все ярче по мере того, как незаметно темнели берега.

К деду мы пришли уже в темноте. Старик растерялся и расплакался, как ребенок, от множества подарков. Он положил трясущуюся руку на плечо Сметаниной, что-то хотел сказать, но потом крякнул, отвернулся и сердито пробормотал:

— Ну, ладно, потом скажу!

Пришел Андрей. Он восхищался подарками и осторожно гладил их шершавыми ладонями. Особенно ему понравился портрет Дымченко.

— Ты гляди, Петро! — кричал он. — Это же не вещь, а небесная красота! Какая работа! Одна чистота и опрятность!

Накрыли стол. Шампанское тихо шипело в старых треснувших стаканах. Дым трубочного табака смешивался с запахом ржаного хлеба.

Рыжик сидел у порога и смотрел на нас желтыми от зависти глазами. Хвост его подымал легкую пыль.

Дымченко постучал стаканом о стол. Мы затихли.

— Хочу я вам сказать, друзья, за наше море.

Он долго молчал, опустив голову.

— Да что тут балакать! Хорошее море!

— Хорошо быть почетным моряком такого хорошего моря, — сказал Баранов. — Выпьем, дед, и помиримся.

— Да я на тебя не серчал. — Дымченко заулыбался и искоса посмотрел на Баранова. — Вся Северная знает, что ты отчаянный моряк. Мы, морячки, все одно как свойственники промеж себя. Нам друг на друга сердиться невежливо. А теперь послухай, что я скажу.

Вот подарило меня, старого, правительство великой наградой. Пошел я сегодня утром до Сухой балки, через степь, — ловить рыбу. Шкандыбаю и думаю свою думу про близкую смерть. И от той думки жизнь мне кажется веселей, а умирать не страшно. Только жалко, что мало я той, сегодняшней жизни повидал.

Иду, тащу кошелку и пруты. И подходит до меня молодой красавец-матрос береговой обороны, берет кошелку и пруты и говорит: «Давайте, товарищ Дымченко, я вам подмогну. Вы старенький, вам нести неловко». — «Как так, говорю, ты будешь со мной тратиться, когда сегодня на батарее работа? За это командир посадит тебя под арест на трое суток». Он смеется: «Ничего, говорит, я скажу, что задержался из-за вас, из-за почетного моряка нашего флота. И ничего мне не будет». — «Верно?» — спрашиваю. «А как же, — говорит той матросик. — Теперь, дедушка, не царские времена». Так он меня и довел до места.

Прямо — родной сын. И после того как распрощался я с ним, та награда из Москвы сделалась мне в сотни раз милей. Вот я и говорю — надо выпить того вина за старое наше море да за молодых морячков. А я с вами пригублю. Мне пить не годится — сердце у меня болит и болит, должно болезнь какая прилипла.

Мы выпили за родное море и моряков.

Гарт предложил мне и Сметаниной выпить за последние два месяца нашей жизни. Самое важное в этих двух месяцах, по словам Гарта, было то, что ничего не случилось и вместе с тем случилось многое.

— Что? — спросила Сметанина.

— Случилась настоящая жизнь, — ответил Гарт, — хотя и не было никаких событий.

Ушли мы поздно. Гудок парохода прорезал ночь и торжественным эхом прокатился над степью. Это уходил во Владивосток «Аян», уходил к далеким океаническим берегам Советского Союза. Он нес сквозь ночь груды огней и волочил за кормой шумящую пену.

— Что же вы ничего не сказали? — спросил я Сметанину, когда мы шли к пристани по степной дороге, освещенной низкими звездами.

— Не решилась, — ответила она. — Я хотела сказать примерно то же, что Гарт. Ничего не случилось, но я знаю, что каждый день был наполнен умом, силой, человеческой теплотой, дружбой — всем тем, что мы называем самым прекрасным в мире. Я выросла за эти два месяца и вместе с тем помолодела на несколько лет. Я не знаю, как назвать это чувство.

— Кажется, это называется счастьем, — сказала Зоя.

С моря дул свежий ветер. Плеск волн в бухтах был похож на сдержанный смех детей.

Севастополь, 1935

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины.

Они приходили из Караибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера — неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся снастях и слышали шум ветра в толстых реях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.

Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошло пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:

Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменив на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по нескольку часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал заикаясь:

— Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу — это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была недавно покорена. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по

льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.

В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

— Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул приходилось ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож — старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал

на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

— Ты не бранись, дед! — кричал Тихонов простуженным голосом. — Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

— Эх, беда, беда! — говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

— Понимаешь, значит? — спрашивал Тихонов. — Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу — об том один господь бог ведает да его высокородие полковник Киселев.

— О-о-о! — говорил швед.

— Вот то-то, что «о-о-о»! — сердито отвечал Тихонов. — Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек — прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали Бестужеву жена старика, седая старушка, и дочь Анна — темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах, как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и читала все вечера напролет.

— Бестужев... — прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине. — О-о-о! Бестужев!

— Верно, дед, — сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью. — Ничего не скажешь, наш полуротный — душа человек!

Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул

дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

— Ну и мóрок, упаси господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

— Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую библию.

— Слуша-а-ай! — протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и прислушивался. Трескался лед, снег шуршал о каменную стену сторожки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. В наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду, солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

— Стой! Кто идет? — негромко окликнул Тихонов.

Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

— Стой! — снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

— Кто такие? — спросил он сурово. — Отвечай без утайки.

— Погоди, служивый, — сказал из темноты усталый голос. — Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

— Офицер? — спросил он шепотом.

— Офицер.

— А ты кто?

— Я матрос.

— Есть приказание, — сказал вполголоса Тихонов, — задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

— Замерзает человек! — сказал с отчаянием матрос. — Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

— Солдат? — спросил он и схватился рукой за грудь. — Куда мы вышли, служивый?

— Аландские острова, ваше благородие, — ответил Тихонов. — Разрешите спросить — откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

— Идем мы, — ответил он медленно, — из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

— Так точно, понял, ваше благородие.

— Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

— Ну? — спросил офицер.

— Ваше благородие, — умоляюще сказал Тихонов, — здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.

— Что вам известно?

— Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

— Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

— Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

— Эх, беда, беда! — сказал он, ворочая в печке дрова. — Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

— Свободно, — ответил матрос. — Их в Неве сколько утопили, московцев, — не счесть!

— Слушай, солдат... — сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

— Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай — тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

— Понял, ваше благородие, — глухо сказал Тихонов. — Что ни делай, а правду в кандалы не забьешь.

Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторож-

ке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

— Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

— Поесть бы вам надо, Николай Иваныч, — сказал матрос. — Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

— Стой, ваше благородие! — закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся.

Матрос схватил Тихонова за руки.

— Пусти! — крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

— Возьми, ваше благородие, — сказал он задыхаясь и сунул хлеб и сало офицеру. — Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

— Что ты, что ты! — растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова. — Нешто можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

— Ну, прощай, служба!.. Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку.

Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал — очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним — второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:

— Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сенях за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

— Ввести их! — крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и оттолкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

— Кто вы такой? — повторил Киселев.

— Я сын своего несчастного отечества, — сказал офицер. — Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

— Вы бунтовщик, сударь, — сказал ласково Мерк. — Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

— Пусть будет так, — ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

— Скотина! — сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

— Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но

потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел свою весну.

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна — вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей, — скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

— Смотрите, — сказала она, — может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего

зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые, переставшие смеяться глаза.

— Анна, — сказал Бестужев, — могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.

— Да, — сказала она и закрыла глаза. — Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

— Почему?

— Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную перчатку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря — так были желты его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Девушка-дурнушка смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой, — так люди улыбаются, наблюдая чужое счастье.

Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них — самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем, — стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго

стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением отца, все же женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.

Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже давно — со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першила горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

— Анна, что случилось?

Анна задыхалась.

— Павел, — сказала она, впервые называя Бестужева по имени, — только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

— Успокойся, Анна, — сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце, — предвестник безрассуд-

ных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя. — Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелками и перекидывать карты.

— Господа, — сказал Бестужев, — час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

— Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!»

За Киселевым вошел Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоявшую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

— Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

— Это моя невеста, — сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку; все смотрели на возбужденного полкового командира.

— Господа офицеры! — Киселев театрально поднял руку. — Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгрунд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.

— Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник — матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа. — Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить необычайное впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

— Имя свое этот цареубийца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

— Еще раз требую, — властно сказал Киселев, — чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

— Я могу повторить лишь то, что сказал однажды, — ответил офицер.—Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.

Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатилась по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

— Он ранен, — громко сказал Лобов. — Какое бессердечие!

— Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? — спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

— У господ офицеров, — промолвил язвительно Мерк, — от злоупотребления вином сильно повредилась память.

— Он ранен! — крикнул Лобов. — Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в серые от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

— Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов — человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия — его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова.

— Это кто? — спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного. — Тотчас убрать эту девку!

— Идите, прошу вас, — тихо сказал арестованный Анне. — Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.

Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

— Я требую... — кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

— Я готов стреляться, когда вам угодно, — сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему, как полковому командиру, нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слежавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед — его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он теснил дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури слышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

— Анна, — сказал Бестужев, — вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее кромешным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.

— Какие поздние у вас гости, — сказал Бестужев Анне.

— Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

— Отец просит вас зайти к нему по важному делу, — сказала она. — Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их — то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

— Чем могу вам служить, господа? — спросил, смутившись, Бестужев.

— А мы, признаться, — ответил по-французски Пинер, — хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

— Мы верим вам, — сказал отец Анны, — мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.

Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

— Еще два дня такого ветра, — добавил он, — и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

— Ваши генералы, — сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами, — сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.

— Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом, — ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

— За моей «Валькирией», — сказал шкипер в желтых сапогах, — не угнался бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.

— Друзья, — сказал Бестужев, — не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?

— Готовы все, — промолвил Пинер, выколачивая трубку, — но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я несу на корме флаг французского королевства.

— Пусть он берет, мы уступаем французу, — сказал самый старый шкипер, и все смолкли. — Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы — шведы, финны, французы; он — русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха... — старик усмехнулся, — что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи — никто даже не станет считать.

— Самая трудная задача падет на вас, — сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву. — Вам придется освободить его и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

— Хорошо, — ответил Бестужев. — Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия побега, чтобы их счастливо избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

— Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку. Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

— Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать.

Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег будет сорван, позор ляжет на его голову и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пинером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых померанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города подымаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем. Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и сделает их счастливыми.

Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

— Павел, — сказала она, — отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

— Этому пленному мы обязаны своим счастьем, — сказала Анна. — Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

— Клянусь! — ответил Бестужев.

Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

— Что это? — вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву.

Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

— Это шпицрутены, — ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она была без чувств.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги.

Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал:

— Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» — подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше, — думал Тихонов. — Полковник горяч на слова. Где ж это видано,

чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею — и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам — выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

— Сними, братец, мундир, — сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами расстегивал медные пуговицы и стаскивал мундир. — Экий ты, братец, лодырь — рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

— Рад стараться, ваше высокородие! — деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

— Рота, слуша-ай! — прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посредине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взялись за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

— Рота, слушай! — вторично крикнул Мерк. — По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова сквозь строй. Дать триста ударов. Начина-а-ай!

— Ваше высокородие! — крикнул Тихонов и упал на колени в мокрый снег.

— Начина-а-ай! — Мерк махнул перчаткой.

Загремели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ружья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Просвистел первый шомпол.

— Раз! — хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

— Два! — весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

— Правду в кандалы не забьешь! Не забьешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега.

Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

— Лежачего не бьют, — сказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на небо мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

— Отойдите, ваше высокородие, — сказал унтер-офицер, — как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

— Убрать! — сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

— Я прошу вашего разрешения, — сказал Бестужев, — отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

— Мы снесемся об этом с господином Киселевым, — ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариегамна, — и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

— Может быть, вам прислать моего домашнего врача? — любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

— Благодарю вас, — сказал он резко. — Я нахожусь на ногах и сам могу пройти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водовозной клячей, полковой лекарь Траубе — подслеповатый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мял левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем, чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

— Павел Алексеич, — сказал он, потупившись, — что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

— Да, времена черные.

— Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

— Почему в лазарет?

— Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

— Доктор, — сказал Бестужев, — зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

— Неужто вы полагаете, — спросил он испуганно, — что я должен отказаться от лечения?

— Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

— Может быть, император помилует их?

— Никогда!

— Я лечу их, — сказал лекарь, — потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

— Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

— Кем? — повторил Бестужев. — Могут ли они бежать без посторонней помощи?

— Какое безумие! — воскликнул лекарь. — У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо.

— Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если совесть не позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

— Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

— Тогда торопитесь, — сказал лекарь. — Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

— Кровь... — сказал он с тоской. — Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни

о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказалась от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, неспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвесть среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и закрывал морские дали зловещей мутью. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

— Почему ты так печален, Павел? — спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

— В лазарете умирает мой солдат, — уклончиво ответил Бестужев. — Ты же знаешь.

— А больше тебя ничто не тревожит, милый?

— Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

— Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя все время ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат — служитель при лазарете, в коротком грязном халате — загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмотрел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

— Встаньте, ваше благородие, тут мусорно, — прошептал Тихонов. — Я обернусь.

— Лежи, лежи, милый, — негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

— Ваше благородие... — сказал Тихонов и заплакал. — За что они меня так?

— Ты не плачь, Тихонов. — Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно. — Даст бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

— Какая воля! — сказал Тихонов едва слышно. — Кому воля, а кому маята. Жена померла. Осталась старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте, отпишите матери про мою кончину.

Отпишите: преставился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

— Куда отписать?

— Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой, — прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

— Ну, прощай, Тихонов, — сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

— Прощай, друг, — сказал наконец едва слышно Тихонов.

Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

— Что, Павел? — тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы — было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

— Осталось всего четыре часа, — сказал Бестужев и, задумавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

«Анна, — писал он, — я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью — спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отдаться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь небольшими случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы кое-что знают о наших планах.

Побег произойдет только через сутки, а дуэль — через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэгбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держа в кармане подложный приказ на случай встречи с Мерком или с кем-либо из преданных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэгбю. Лобов скроется вместе с беглецами.

Я верю Пинеру и его морским способностям, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться да и он сам не сможет в точности определить место за не-

знанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он сказал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что больше меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном — о спасительном бегстве. Я бы забыл свою честь и участь несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю — и ты должна знать это вместе со мной, — что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат узники из мрачных казематов: не забывайте нас, счастливцы!

Прощай! Прости за неумелую любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новгородской губернии, Белозерского уезда».

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная

и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и крадучись спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта оспинами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

— Эх, — сказал Лобов, — много бы я дал за то, чтоб выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

— Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

— Эх, Карл, мякиш мой милый!— ответил серьезно Лобов. — А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно тлей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин — полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорогу среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили противников по ее краям. Мириться не предлагали — должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки. Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно щурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю дыма, различил пороховой запах — от него стало тошно на сердце, — отбросил пистолет и упал лицом вперед на вытоптанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

— Ну что, как? — спросил Лобов.

— Выстрел в сердце.

Траубе начал судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

— Перевяжите его, — сказал Киселев.

— Что? — тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали. — Может быть, я ослышался? — Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо: — Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

— Да, да! — кричал ему вслед Траубе. — Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что он не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом.

Кляча часто останавливалась, и ее приходилось понукать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

— Он не умер, неправда, — твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами. — Он скоро очнется.

— Ах, боже мой, боже мой! — прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами. — Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

— Уйдите! — сказала она хрипло. — Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

— Анна... — сказал Траубе, и голова его затряслась. — Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

— Уже вечер? — спросила она с недоумением. — Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Который час?

— Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

— Я вернусь, — сказала она Траубе. — Никуда не уходите. — Она вышла на улицу и быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шлюпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плескали в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль, тяжело нырявший в неспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огней, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

— Пошли, — сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протягивала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо: на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

— Держите ближе к берегу, — сказала Анна Пинеру. — Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на талях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в форт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

— Улетели, сердешные, только след за ними горит.

— А ты помолчи, кавалер, — грубо оборвал его низенький старый солдат. — Мы люди казенные. Ты приказы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послышались тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу. От берега тянуло запахом зернистого тающего льда. В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная громада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и матросы.

— Скорей! — сказала Анна Лобову. — Течение сносит корабль на скалы. Торопитесь!

— А вы? — изумленно спросил Лобов. — Вы должны бежать вместе с нами.

— Нет, — Анна покачала головой, — я не могу уехать.

— Но почему?

— Неужели я должна вам объяснять это? — сказала Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Анна обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг вперед.

— Мы никогда не забудем, — сказал он, — вашей помощи. Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Может быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжала плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана жизнь. Он был теперь единственным родным ей человеком.

Ветер хлопал парусами корабля. Матросы торопили. Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна откинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слышала глухой стук уключин. Ветер обдувал платье на Анне, леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока громада корабля, неясная как видение, не начала медленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обняла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Никогда она не думала, что в жизни может быть такое полное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Вперемежку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженые головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно пел непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, а у Тихонова — старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому лицу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

— От пули не посторонишься, — говорили солдаты. — У него легкая смерть была, нисколько не мучился. Горе — как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадилом, громко сказал страшные слова:

— Придите, дадим последнее целование.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужеву на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну.

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса, одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и отходили. Иные становились на колени и кланялись до земли мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе божьем болярине Павле и новопреставленном рабе божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и послышались всхлипыванья.

— Веселое горе — солдатская жизнь! — сказал за спиной у Анны сиплый голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптили под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна в испуге прикрыла его ладонью.

— Идемте! — Траубе взял Анну за руку. — Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил он Анну.

— Тише, — ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

— Вот видите, даже они стараются не шуметь.

Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина — морской врач — давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги одной тетке во Владивосток, а другой — в Киев.

Все тетки были или старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсне она слепла и делалась беспомощной, как ребенок, — куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысели, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

— За что бог наградил меня такими дурами! — в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина считалась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Но тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у каждой семьи, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал

в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный мундир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увальнем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

...В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

— Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.

— Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

— Никогда я не думала, — сказала мать, — что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро обежал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золотыми орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплата. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

— Я выберу сама, Саша, — робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный чернобородый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил ими по сторонам и с одинаковым выраже-

нием брезгливости смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму — пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и заиграл сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

— Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркальца и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

— Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в брезгливое лицо капитана.

— Что прикажете? — спросил он согнувшись.

— У вас под столиком валяются тряпки! — сказал, раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

— Обронили, — сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели и лицо чернело от гнева.

— Саша! — сказала мать. — Успокойся... Ради бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугой крахмальный воротник.

— Пойдем отсюда, — сказал Щедрин матери. — Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

— Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в пятом году!

Мать замахала на него руками.

.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый» нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба во флоте, конечно, на дозорных судах.

— Рыщем, рыщем, — говорили между собою матросы, — блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра шел снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер.

Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, напитанные темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло навсегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

— Не то ночь, не то день — ни черта не разберешь!— жаловались вахтенные. — Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурвальный Марченко — бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

— Это же кабаре! — говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное. — Чистое кабаре, накажи меня бог!

В один из этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, пододвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванного на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными глазами, Акерман, прозвал Щедрина «Чарльзом Дарвином», а миноносец был прозван «Смелым Биглем».

По старой морской привычке, все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитя стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой» за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью, любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол.

Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

— Что случилось? — спросил Щедрин.

— Наш маленький отважный корабль, — ответил Акерман, — ринулся на неприятельский крейсер.

— Да ну вас! — отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

— Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! — крикнул ему в спину Акерман.— Слышите?

— Сумасшедший! — успел прокричать Щедрин.

Акерман ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца — он казался сгустком дыма и мглы, мчавшимся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

— Теперь на том крейсере чистое кабаре, — сказал Марченко, стоя рядом с Щедриным. — С таким грузом на хвосте немыслимо драться. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара.

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не было. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громыхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме послышались крики. Командир послал туда Щедрина.

— Мичман Акерман ранен, — сказал он. — Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

— Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте. — Он усмехнулся и добавил: — Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутливое, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тю-

лень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное море гудело и неслось к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание ее казалось зловещим и опасным.

— Она же пустая, — сказал Марченко Щедрину. — Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу, — не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в лицо, порошил глаза, ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем; даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию, к Акерману. В каюте было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

— Почему мы топчемся на месте, а не идем в Мариегамн? — спросил он Щедрина, не открывая глаз.

— Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней подойдем.

— Значит, мне отрежут ногу, — сказал Акерман. — Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрину рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрина тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас

они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

— Карл Игнатьевич, — сказал Щедрин очень громко, стараясь перекричать шум ветра в ушах, — мичману Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

— Эх-хе-хе... — добродушно вздохнул Полувитя. — Придется ему потерпеть.

— Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Мариегамн? — спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

— Вот извольте, — сказал он. — Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками! — Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хриповатым голосом: — Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать!

Щедрин махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро никогда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ним лежал труп офицера, должно быть командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

— Да, — сказал Марченко, — вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

— Они задохлись, — сказал старший офицер. — Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью на дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

— Воображаю, — сказал старший офицер, — какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала накапливаться углекислота. Она их и задушила.

— А как же, Виктор Петрович, — спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди, — как они могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

— Я ведь тоже ничего не знаю, голубчик, — ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов. — Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

— Заработали железный гроб, — пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрина снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

— Вернетесь на миноносец, — сказал он. — Здесь хватит и троих матросов.

— Да нет, я ничего, — ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось. — Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

— Сами лезут к черту на рога, — сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы гребли, а Полувитя сидел, подняв воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь», — подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто? — спросил Щедрин. — Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегамне разберусь», — подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании», — подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и насмешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

— Я признаю, — сказал он, — только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможности всех войн

в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовый трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрина по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний «воинский вид». Они были подавлены, ходили сгорбившись, и почти у каждого в глазах была та же тревога, что и у Щедрина,— тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел к Мариегамну.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был приспущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, падает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика.

Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале XIX века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Аландских островах был крепкий, краснощекий, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко, — шаги врача доносились издалека. Щедрин и

Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волновался и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедрине как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капели, был доктор — обрусевший швед, проживший всю жизнь на Аланде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке, халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо к груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капели и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрина, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!» — пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

— Узнаю голоса наших матросов, — говорил Акерман. — Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судового комитета, и принес Щедрину и Акерману подарки от команды — папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

— Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры,— сказал Акерман. — Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся:

— Да вы ж почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры — это шкуры, а вы студенты. У вас мозги другие.

— Ну что ж, — сказал Акерман, — хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

— Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

— Где команды митингуют? — спросил Акерман.— На кораблях?

— Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

— Подходящее место! — усмехнулся Акерман.

— Самое подходящее, — серьезно возразил Марченко. — На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

— Чья же это могила?

— Вижу я, — сказал Марченко с сокрушением, — что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при Николае Первом. Понятно, матросы увидали ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог допытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залив замерзал кругом — от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег, да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался: схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы

не помогли ему бежать тот самый солдат Тихонов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

— Какой смертью?

— Об этом говорят разное. Кто говорит — расстреляли их перед казармами, кто говорит — засекли шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

— Офицера не могли засечь шомполами, — сказал Акерман.

— Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмехался, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

— Слушай, Акерман, — спросил он тихо, — как их зовут?

— Кого?

— Ну этих двоих, похороненных вместе.

— Солдата — Тихонов, а прапорщика — Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! — скажет Акерман. — Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнело. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре послышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар вел, поддерживая

за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал.

Доктор потер руки.

— Вот вам, молодые люди, — сказал он, — еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал, не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

— Я настаиваю, доктор, — сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову), — чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

— Господин каперанг [1], — сказал Щедрин, — Гельсингфорс вам не поможет.

— То есть как? — нагло спросил новый больной. — Что вы городите, мальчик!

— Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын, — ответил Щедрин. — Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

— Представьте себе, не помню, — зло ответил каперанг. — Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору:

— Уберите от нас этого хама!

— Но-но! — крикнул каперанг, приподымаясь. — Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

— А вы будете иметь дело с матросами флотилии,— ответил, бледнея, Щедрин. — Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно — не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним посчитаются.

— Ишиас — болезнь весьма удобная, — пробормотал Акерман. — Болит — и ничего не видно. А бы-

---

[1] Каперанг — сокращенное «капитан первого ранга». *(Прим. автора.)*

вает наоборот: и не болит — и все равно ничего не видно.

Капитан сел. Он смотрел на мичманов яростными глазами. Борода его тряслась, на виске вспухли толстые жилы.

— Замолчать! — внезапно крикнул он визгливым голосом.

— Бог мой! — сказал Акерман и зажал уши. — Если вы еще раз так крикнете, то от нас ничего не останется. Помилосердствуйте, господин каперанг!

Каперанг вскочил и, прихрамывая, вышел из палаты. Халат волочился за ним по полу. Доктор и санитар вышли следом за ним. Доктор укоризненно качал головой.

Каперанга уложили в дальней палате, а через два дня ночью пришли матросы, арестовали его и отправили под конвоем в Гельсингфорс, в Центральный комитет Балтийского флота.

В апреле Щедрин выписался из больницы. Доктор запретил ему возвращаться на корабль. Недели две-три после болезни Щедрин должен был поправляться и отдыхать.

По совету доктора Щедрин снял комнату у рыбака Петера Якобсена.

Маленький старый дом стоял у самой воды. Дом был разноцветный: стены синие, облезлые, оконные наличники и двери — оранжевые, а внутри у каждой комнаты был свой, когда-то яркий цвет.

Комната Щедрина была выкрашена в желтую краску и завешена фотографиями предков Якобсена.

По утрам, лежа на деревянной кровати, Щедрин рассматривал висевших над кроватью стариков с тонкими, железными губами — шкиперов и лоцманов, живших некогда в этом доме.

Тут же висели фотографии их дочерей — светлоглазых девушек с приветливым выражением лица — и жен — худых старух. Старухи сидели на фотографиях прямо, как полководцы, крепко положив на колени узловатые руки.

Среди фотографий был только один рисунок, написанный пастелью. Это был портрет молодой женщины с высоко взлетающими, нервными бровями, сумрачным блеском глаз и маленьким чистым лбом. Щедрин, глядя на этот портрет, всегда думал о том, что эта женщина делала здесь, в ничтожном рыбачьем городке, где сто лет назад было всего триста жителей.

В доме Якобсена было чисто и тихо; изредка только Якобсен пел на кухне заунывные песни и притопывал в такт ногой, ковыряясь в старых сетях.

У Якобсена была дочь трех лет, но она жила не у родителей, а у доктора. Бездетные доктор и его жена воспитывали девочку и собирались дать ей хорошее образование. Звали девочку Марией.

Жена Якобсена, Марта, была рассеянная женщина. Каждый день у нее сбегало молоко или кот воровал жареную рыбу из открытого шкафа. Якобсен беззлобно посмеивался над женой.

Вся эта жизнь производила на Щедрина такое впечатление, будто он перенесся на десятки лет назад, в патриархальную страну, где еще ходят почтовые кареты и в комнатах держат в маленьких клетках сверчков, приносящих счастье.

Странно было, сидя в этих старинных комнатах, читать газеты, пылавшие жаром революционного времени. Газеты были полны призывов, негодований, ошеломляющих известий, сообщений о возвращении в Россию Ленина.

Имя Ленина уже гремело на матросских митингах. Оно было всюду. Стремительные миноносцы разносили его по суровой Балтике. Радио, треща и разбрызгивая искры, передавало его на линейные корабли, в береговые батареи, в крепостные форты, на подводные лодки. Сигналисты набирали его пестрыми флагами.

Оно ширилось, росло, оно стало знаменем и надеждой балтийцев. Вокруг него кристаллизовались недовольство матросов, их воля, их неукротимый революционный пыл.

— Заря всемирной социалистической революции уже занялась, — сказал Ленин во время встречи его на Финляндском вокзале.

Эти слова разнеслись по всему флоту. Казалось, даже море победно шумело и, неся к берегам мощные массы сверкающей воды, повторяло эти слова.

Щедрин волновался. Один раз он был на митинге на миноносце и даже сказал путаную горячую речь.

Матросы долго хлопали ему, вернее — стучали деревянными, мозолистыми ладонями и вынесли Щедрина с миноносца на берег на руках — должно быть, из жалости: Щедрин едва держался на ногах от волнения.

Акерман ходил на костылях. Он относился к революции по-деловому; сидел в судовом комитете и упрямо спорил с начальством о гречневой каше, отпусках, добавочных тельниках и других насущных матросских нуждах. Он уже меньше шутил и лишь изредка, заходя к Щедрину, произносил прежние любимые фразы:

— Змея царской власти раздавлена в прах босыми ногами илотов. Алое знамя восстания реет над великой страной.

Щедрин проснулся очень рано. В саду пересвистывались птицы. Над морем дымился ослепительный штиль. Он переливался прохладным блеском на сотни миль, плескал о гранитные берега и, как ребенок, шаловливо дул в лицо тепловатым ветром.

Щедрин пошел на кладбище. Невозможно было сидеть в комнатах в такое праздничное утро. Кроме того, Щедрин давно решил побывать на могиле Тихонова и Бестужева.

В расселинах скал пробивались слабые белые цветы. Щедрин сорвал несколько стебельков с цветами.

На кладбище Щедрин наткнулся на могилу немецких моряков с подводной лодки, захваченной «Смелым», и долго читал список имен.

Около одного из мшистых валунов он увидел Марту. Она сидела, как всегда, немного испуганная и бледная и, улыбаясь, смотрела на Щедрина. В руках у нее были темные еловые ветки. Она принесла их, очевидно, чтобы положить на родную могилу. Щедрин знал, что год назад у Марты умер четырехлетний сын.

Он подошел к ней и поздоровался. По-русски Марта говорила плохо. Но они друг друга все же понимали.

Щедрин прочел на могиле надпись и удивился. Надпись была на шведском языке, но Щедрин все же понял, что здесь похоронена какая-то женщина двадцати четырех лет, Анна-Христина Якобсен, умершая в 1827 году.

— Это ваша родственница? — спросил Щедрин.

Марта глядела на него улыбаясь, но не понимала.

— Кто это? — повторил Щедрин и дотронулся рукой до надписи.

— Анна, — сказала Марта, — бабушка Петера. Есть картина в вашей комнате. Такая милая. Она умерла в этот день.

Щедрин закивал головой. Он догадался, что это была могила той странной женщины, чей портрет он так часто рассматривал у себя над столом.

— А я ищу, — сказал он, — могилу Павла Бестужева.

Марта встала и провела Щедрина к большому камню. Он врос в землю, был отполирован матросскими сапогами. Вокруг него зеленел мох. Щедрин положил на камень цветы. Когда-то он смеялся над сентиментальностью своих теток, сейчас же сам испытывал непонятное волнение перед могилой людей, спасших его деда.

— Здесь лежат хорошие люди, — сказал он Марте, — они спасли от смерти моего деда.

Марта радостно закивала головой:

— Вы сказали — «мой дед»?

— Да.

Марта торопливо заговорила, путая русские и шведские слова. Она взяла Щедрина за рукав и смотрела ему в лицо. Она смеялась, и щеки ее даже порозовели.

— Я не понимаю, — сказал Щедрин.

Марта морщила лоб, подыскивая русские слова, но их не хватало, и Щедрин опять ничего не понял.

Марта досадливо закусила губу, и на глаза ее навернулись слезы. Она махнула рукой и быстро пошла в

город. Щедрин, недоумевая, смотрел ей вслед. Ветер развевал ее широкую юбку. Марта шла не оглядываясь.

«Чем же я ее обидел?» — подумал смущенный Щедрин, сел около могилы и закурил. Бледные, только что родившиеся бабочки летали вокруг, греясь на солнце.

Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков.

— Ну что, уже украл рыбу? — спросил Щедрин.

Кот сипло мяукнул.

Щедрин снял со стены портрет Анны Якобсен и долго его рассматривал. Щедрин еще никого не любил. Правда, он ходил одно время на каток в Петрограде, чтобы издали увидеть высокую гимназистку, бегавшую каждый день на коньках. Когда она падала и тотчас вскакивала, стряхивала снег с перчаток и моргала ресницами, чтобы избавиться от налипших на них снежинок, у Щедрина начинало колотиться сердце. Но вскоре гимназистка исчезла с катка, и Щедрин ее забыл.

Щедрин смотрел на портрет, на горькие и нежные губы Анны, и думал, что эту женщину он мог бы полюбить беззаветно и преданно. Какая-то грустная тайна скрывалась за этим лицом.

Щедрин вздрогнул и повесил портрет на место: в дом входили.

В дверь постучали. Щедрин крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор. Его белые волосы были растрепаны больше, чем всегда, глаза сверкали, и на лице сияла торжественная улыбка. За спиной у доктора стояли Петер и застенчивая Марта.

— Здравствуйте, друг мой! — загремел доктор и стиснул руку Щедрина. — Я пришел к вам в качестве переводчика... Войдите! — крикнул он Якобсенам. — Сядьте на эти стулья, и мы поговорим.

— А что, собственно, случилось? — спросил растерявшийся Щедрин.

— Сейчас узнаете! — прокричал доктор и захохотал. — Сейчас вы узнаете все, но прежде всего — расцелуйте эту женщину и этого простофилю, Петера Якобсена. Ну!

Доктор так крикнул «ну», что в старых рамах звякнули стекла и кот, приседая, умчался из комнаты.

— Хорошо, — сказал, улыбаясь, Щедрин.—Я всегда рад расцеловать этих людей, но скажите, ради бога, что это значит?

— Целуйтесь! — крикнул доктор и топнул ногой.

Марта робко подошла к Щедрину, вытерла губы концом чистого передника, и они поцеловались. Петер поцеловался по-рыбачьи — три раза — и исколол щеки Щедрина своей щетиной.

— Да будет вам известно, — сказал доктор с торжеством, — что и в двадцатом веке могут случаться чудеса. Мне надоело вычитывать их только из книг. Я часто говорю своей жене: «Ты напрасно скучаешь на Аланде. Здесь каждый день рассказывает свои интересные истории. Дни проходят перед нами, как добрые знакомые, и ты еще очень и очень пожалеешь о наших островах, когда уедешь отсюда». Судите сами. Где вы дышали таким воздухом, как у нас? Где вы видели такое прозрачное море? Нигде! Когда вы жили среди таких добрых и честных людей? Никогда!

— Все это так, — согласился Щедрин, — но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?

— Перейдем к делу, — сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы. — Если здесь нет никакой путаницы, то вы внук того декабриста, что был спасен здесь, на Аланде, двумя русскими — солдатом и офицером.

— Да, — сказал Щедрин. — Это, кажется, так. Но откуда вы об этом узнали?

— От Марты, — сказал доктор, — вы сами ей об этом рассказали. Среди здешних моряков есть много степеней родства. Нам они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, а эти простодушные люди признают еще родство спасенных и спасителей. Если кто-нибудь из одной семьи спас человека из другой семьи, то семьи роднятся. Хороший обычай.

Морское дело — опасное, спасать приходится часто, и в конце концов это привело к тому, что почти все жители острова стали родственниками. И, по законам этого острова, Петер Якобсен, Марта и их дочь Мария, находящаяся у меня на воспитании, являются в некоторой мере вашими родственниками.

— Но ведь деда моего спасли, кажется, русские!

— Вы, очевидно, ничего не знаете. Деда вашего спасли прапорщик Бестужев и его жена. Портрет ее вы сейчас видите перед собой. Это она.

Доктор показал на портрет Анны. Так вот кто была эта женщина с таким притягательным лицом!

— В семье Якобсенов, — продолжал доктор, — живет воспоминание о всех событиях, связанных со спасением вашего деда. Это понятно. Представьте себе простую семью, где сотни лет ничего не случалось. Мужчины служили матросами, а к старости делались рыбаками. Женщины, кроме своего дома и детей, ничего не видели вокруг. Говорят, раньше Якобсены были богаты и даже имели парусники, но это было очень давно. Последний из шкиперов, отец Анны, разорился и в старости был всего только маячным сторожем в Эрасгрунде. Но он успел воспитать свою дочь в Стокгольме. Это была необыкновенная девушка. Итак, представьте себе эту скучную и добрую семью, внезапно втянутую в бурю невероятных и печальных событий. В их доме поселяется молодой русский офицер Бестужев. Его пускают скрепя сердце. Старик боится и не любит русских. Офицер влюбляется в Анну. Анна тоже полюбила его; она была девушка больших чувств и капризов. Старик не хочет и слышать о замужестве с русским. — Доктор замолчал, чтобы закурить папиросу. — Но вот на острове задерживают декабриста. Он пробирался в Швецию по льду замерзшего залива, наткнулся на часовых, и его схватили. Здешние рыбаки и шкипера заволновались. Появилась мысль спасти арестованного, освободить его и увезти на корабле в Швецию. Павел Бестужев стал во главе заговора. Тогда отец Анны смягчился, поверил в благородство русского и разрешил ей выйти за него замуж. Но судьба судила иначе: Бестужев был через

несколько дней убит на дуэли. Арестованный бежал при помощи Анны и моряков.

— Из-за чего была дуэль? — спросил Щедрин.

Доктор поговорил по-шведски с Петером и Мартой и ответил:

— Бестужев ударил по лицу офицера за то, что тот грубо обошелся с декабристом. Офицер убил его. Через восемь месяцев после смерти Бестужева у Анны родился от него сын, отец Петера. Анна вскоре умерла. Она долго болела, ее даже считали здесь немного помешанной.

— Спросите их, — сказал Щедрин, — кто тот солдат, что похоронен вместе с Бестужевым?

Доктор снова поговорил по-шведски с Якобсенами и пожал плечами:

— Они не знают. Говорят, что этот солдат умер после порки. За что его пороли — об этом им никто не рассказывал. Думают, что за помощь декабристу.

Щедрин посмотрел на Петера. Петер похлопал его по плечу и засмеялся. Он повернулся к Марте и что-то сказал ей, очевидно важное. Марта торопливо вышла, вернулась с маленькой старой книгой в кожаном переплете и протянула ее Щедрину.

— Это книга Бестужева, — сказал доктор. — Единственная реликвия. Ее нашли у Анны.

Щедрин бережно взял книгу, открыл титульный лист и прочел: «Эда, финляндская повесть Евгения Баратынского».

Марта что-то застенчиво сказала доктору. Тот перевел:

— В книгу заложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.

Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.

«Анна, — прочел Щедрин, — я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».

От письма шел запах сухой лаванды.

Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.

Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.

...Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:

Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?

Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.

В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.

«Наши мучения и гибель, — прочел Щедрин строчку из письма, — ударят по сердцам с томительною силой».

«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» — подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.

«Да и нужно ли это?» — думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?

Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяже-

лого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливцы!»

Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.

Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шлюпку и сети.

Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.

В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.

Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.

Щедрина усадили на диван. Девочка села с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.

Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.

Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно маленькими ножницами.

— Они любят золото, как сороки, — засмеялся доктор.

Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.

Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иголками и пришила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи, — со всех сторон из них торчали иглы.

Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.

Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.

Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.

События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.

Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.

Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.

Писем от матери не было.

Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, как будто ждали неотвратимых событий.

Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.

Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце,

и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрину по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.

Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.

Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:

— Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое — и море, и деревья, и даже миноносец.

— Чем же и миноносец другой?

— «Смелый» похож на брошенную дачу. Все прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.

— Однако ты поэт, Акерман, — сказал Щедрин. — Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.

— Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет — вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!

Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.

— Ты доживешь, я знаю, — сказал Акерман, — а я нет.

— Нога и вообще все у тебя в порядке?

— Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день — как год. Пойди разберись!

— Ты устал. Поезжай в Питер.

— Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье, — ответил Акерман. — Чудесное время! Я ведь не жалуюсь. Это так — лирический разговор около облетающих фуксий.

Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики — символ революции.

Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.

— Саша! — крикнул Акерман, ковыляя по трапу.— Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.

Он вытащил из кармана измятый бланк телеграммы и начал читать обращение нового правительства ко всем трудящимся.

...В Петроград Щедрин вернулся только зимой, после знаменитого ледяного похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Флот пробивался через тяжелые льды, чтобы не попасть в руки немцам, постепенно занимавшим Финляндию.

«Смелый» шел медленно, держа в кильватер линейному кораблю. Дни и ночи шуршал и трескался около бортов лед, и зеленоватая зернистая вода вспухала за кормой широкими буграми.

Дни были темные, как дым. По всем румбам лежала пасмурность. Глаза искали в ней хотя бы проблеск огня далеких родных берегов, но огней не было. Гудели турбины, пел в широких трубах ветер, ночи пели глухим железным гулом бортов и напирающего льда.

Команда зябла. Отопление работало плохо. Иней медленно пробирался по потолкам и стенам.

Особенно тяжелы были ночи. Их густота была так велика, что дневной свет не мог пересилить ее и отступал. День мерк, едва начавшись.

Изредка над кораблями пролетали стаи ворон. Покружившись над палубами, они летели дальше, как бы отмахиваясь крыльями от грозного зрелища обледенелых кораблей.

Из Кронштадта Щедрин пошел пешком по льду в Петергоф. На «Смелом» осталось всего десять матросов; все остальные записались в сухопутные отряды — драться с белыми.

До Петергофа Щедрин шел вместе с матросами. В Петергофе на берегу матросы оглянулись на Кронштадт, и один из них сказал с веселым отчаянием:

— Прощай, Балтика!

Прошли через безлюдный, засыпанный снегом парк. Уже смеркалось. Около дворцовой решетки ходил красногвардеец — пожилой рабочий с винтовкой. Матросы остановились покурить.

— Красная гвардия, — говорили они с уважением и заходили и с тыла и с боку, осматривая рабочего. — Вольные — и те дерутся, а нам сам черт велел. Будем живы — вернемся на свои коробки.

— Ну, чего глаза распялили, молодые люди! — сказал ворчливо рабочий. — Тут останавливаться запрещается.

Матросы загрохотали, зашумели и двинулись дальше. Щедрин отстал. Он разговорился с рабочим.

— Я петергофский, — сказал рабочий. — Мебельщик, специалист по ценному дереву. А теперь состою в охране. Мы по трое дежурим. Но пока что никто не трогает, только зайцы ночью кругом скачут. Вон, глядите, весь снег по откосу затоптали... Пойдемте в сторожку, погрейтесь, небось идти через лед зябко. В сторожке у меня теплота.

Пошли в сторожку. Там было жарко, роса стекала со стен.

Закурили. Щедрин сказал:

— Это хорошо, что вы дворцы охраняете.

— А как же! — ответил рабочий, сидя на корточках около печки. — Небось сам Растрелли строил. Большую красоту народ себе отвоевал.

Щедрин покурил, попрощался и ушел на вокзал. Говорили, что на Петроград из Петергофа изредка ходят поезда.

Он вошел в парк и оглянулся: дворец казался вылепленным из легкого снега.

В поезде, набитом матросами и красногвардейцами, Щедрин в два часа ночи добрался до Петрограда.

Петроград был черен, пуст. Щедрин пошел через весь город на Аптекарский остров, где жила его мать. Над громадами домов заунывно шумел ветер. Лязгали поломанные водосточные трубы. Под аркой Главного штаба курили часовые. Они потребовали документы и долго рассматривали их при свете железнодорожного фонаря.

Щедрин перешел Неву. Тускло блестел черный лед. Около биржи было пусто, лежал на боку занесенный снегом вагон трамвая. На востоке светилось бледное электрическое зарево — там был Смольный.

Щедрин долго шел по Кронверкскому проспекту. Великий город лежал вокруг в снегах и мраке ночи. Он был суров, молчалив. «Судьба этого города, — подумал Щедрин, — будет прекрасна, необыкновенна. Я еще доживу до этого».

В окнах в квартире матери горела свеча. Двор был занесен снегом. На старых березах спали галки. Они проснулись и захлопали крыльями, когда Щедрин остановился у дверей и начал сбивать с сапог примерзший снег.

Сердце у Щедрина замирало. Он постучал.

Послышались медленные старческие шаги. Мать открыла дверь, через цепочку крикнула: «Саша!» — и уронила свечу. Прибежала тетя Юля, сняла цепочку, и через минуту Щедрин уже прижимал к мокрой черной шинели дрожащую седую голову матери, плакавшей навзрыд.

— Ну что ты, что ты! — говорил Щедрин. — Видишь, я жив! Успокойся!

Тетки, переселившиеся к матери, торопливо одевались за ширмами, задавали Щедрину бестолковые вопросы, плакали от радости.

На кухне уже гудел старый погнутый самовар. Мать беспрерывно вытирала глаза, суетилась около

стола, все забывала, все смотрела на Щедрина и радостно и недоверчиво: уж не обманывает ли он и не надо ли ему завтра же отправляться на какой-нибудь новый фронт?

За ночь ветер засыпал всю палубу «Смелого» лепестками бузины. Щедрин вышел, посмотрел на палубу и вспомнил снег, зимнее плавание в Балтике и ледяной поход.

«Смелый» стоял у крутого берега реки Ковжи. По берегу тянулся заглохший деревенский сад с поломанным забором. Заросли высокой крапивы все время шевелились, и из них выглядывали белоголовые дети.

— Ша-а-а! — кричал на них, как на воробьев, матрос-эстонец Винер.

Дети, прыская от смеха, приседали в крапиве и замолкали. Потом слышался плач. Это значило, что кто-нибудь из ребят обстрекался.

— Пустите их на палубу, Винер, — сказал Щедрин, — пусть посмотрят... Эй, ребята! — крикнул он. — Валите!

Дети выползли из крапивы и собрались у сходней, но дальше они идти боялись и так и стояли около сходней, молча разглядывая миноносец.

«Смелый» шел из Петрограда на Волгу, на колчаковский фронт. Самая трудная часть пути — Мариинская система — осталась позади. Мучения со шлюзами кончились. Впереди были Белое озеро, Шексна, Волга.

Дети сопели на берегу и не спускали глаз с миноносца. Впервые на их реке вместо запыхавшихся грязных буксиров появилось длинное и грозное морское чудовище. «Смелый» на реке был гораздо выше, чем на море, — его временно разоружили и облегчили от балласта.

— Ребята, — спросил Щедрин, — где тут деревня Мегры?

Ребята переглянулись и сделали было попытку бежать.

— Стой! — сказал Щедрин. — Кто посмелей — отвечай!

Дети вытолкнули вперед девочку в рубахе до пят.

— За бугром, — сказала девочка потупившись, и казалось, что она вот-вот заплачет.

— Где «за бугром»?

— Тута.

— А ну-ка, ведите меня все! — сказал Щедрин и сошел на берег.

Дети, сверкая голыми пятками, побежали вперед. За околицей начался лес, заросший орешником.

Дети бежали, оглядывались на Щедрина, спотыкались. Иные ушибались и хныкали, но продолжали бежать, больше всего боясь отстать и пропустить интересное зрелище.

Деревня Мегры стояла за лесистым холмом, на берегу небольшого озера. Дети открыли околицу, пропустили Щедрина, но в деревню не пошли. Деревня была чужая, из окон выглядывали незнакомые сердитые бабы.

— Где здесь живут Тихоновы? — спросил Щедрин косматого деда с клюкой, гревшегося на солнышке около колодца.

— Да Тихоновых тут, сердешный, четыре семьи. Тебе каких?

Щедрину пришлось объяснять деду, что ему нужны те Тихоновы, где была когда-то, лет восемьдесят назад, бабка Авдотья.

— Ишь, куды загнул! — обрадовался дед. — Твое счастье, что я тебе встретился. Мне самому восьмой десяток пошел. Я старый ворон, даром не каркаю. Авдотья твоя померла, милый, когда меня не было на свете, в древнем возрасте померла.

— А кто из ее Тихоновых здесь живет? — спросил Щедрин.

— Да, почитай, кроме Насти, никто и не живет. Одна Настя с дочкой. Муж у нее убитый с ероплану на германской войне. Вон она белье на озере полощет. Ты туды и иди, иди, милый.

Щедрин пошел к Насте. Она звонко била вальком серое белье и кричала маленькой девочке лет пяти:

— Беги домой, нос утри!

— Вы Настасья Тихонова? — спросил Щедрин.

Женщина живо обернулась и, вытирая руки о подол, испуганно посмотрела на Щедрина.

— Флотский, — сказала она успокоившись. — А чего надо?

— Поговорить надо, — ответил Щедрин. — Да тут неудобно.

— А вы идите в избу, — сказала Настя. — Я сейчас уберусь и приду... Катька! — крикнула она девочке. — Проводи дядю в избу. У-у-у, бессовестная!

«Бессовестная» Катька, сопя и выставляя вперед круглый живот, торжественно повела Щедрина в избу. В избе сидел и чесался старый лохматый пес. Он с недоумением уставился на Щедрина, чихнул, поднял густую пыль и снова начал свирепо чесаться.

— Каштан! — хрипло сказала Катька. — Он больших не трогает. Смирнай.

Вошла Настя. Щедрин стоял. Настя вытерла подолом лавку и пригласила сесть.

— Ну, давайте поговорим. А я все думаю, кто вы такой. Уж не с фронта ли?

— Нет, — ответил Щедрин, — я не с фронта. Была у вас в семье бабка Авдотья и был у нее сын, солдат Семен Тихонов?

— Был, — сказала Настя. — Мне дед рассказывал: запороли насмерть в солдатах где-то в чужой земле.

— Был я на его могиле, — сказал Щедрин. — Это далеко, в Финляндии, на островах.

— Скажи, какой ужас! — вздохнула Настя и покачала головой. — Куды погибать загнали! А моего-то убили, сердешного, на фронте, прямо бомбой убили с ероплана, да-а-а. — Настя вытерла кончиком платка глаза и спросила: — А почему вы тем солдатом интересуетесь?

— Деда моего он спас от смерти, — сказал Щедрин и слегка покраснел.

— Скажи пожалуйста! — покачала головой Настя. — Хороший, значит, был человек.

Щедрин рассказал, что он здесь случайно, с миноносца, идущего на Волгу, что из письма одного офицера, умершего в один год с Семеном, он узнал, откуда родом Тихонов, и зашел кстати проведать. Все

равно на миноносце делать нечего — надо сидеть, дожидаться буксирного парохода.

— У вас одна дочка? — спросил Щедрин и поглядел на Катьку.

Она стояла у печки, скребла одной ногой другую и смотрела на Щедрина.

— Мальчик есть еще у меня, так он в Петергофе. Обучается столярному делу у нашего одного, мегринского. Двенадцати лет мальчик. Характером тихий, в отца, а нравом очень смышленый... А ты в Петергофе небось будешь? — спросила Настя, переходя на «ты»,— это означало, что Щедрин уже признан своим человеком.

— Если не убьют, то буду.

— Может, найдешь сынка-то? Найди, навести, сделай милость! Я тебе и адрес скажу.

Щедрин записал адрес: Алексей Тихонов, Дворцовый переулок, у столяра Никанора Никитина.

Щедрин собрался идти, но Настя его не отпускала без чая.

— Чай, правда, морковный, но ты испей, будь мне другом, — сказала она ласково.

Настя дала Катьке звонкий шлепок, и девочка вылетела на улицу — к соседям за сахаром.

Щедрин видел через низкое оконце, как Настя ставила во дворе зеленый маленький самовар и раздувала его подолом. Потом она ушла за перегородку; там послышался плеск воды и вздохи.

Настя вышла умытая, прибранная, в новом ситцевом платье. Она застыдилась, раскраснелась и, накрывая на стол, шуршала вокруг Щедрина накрахмаленной розовой юбкой.

Чай пили долго, по-деревенски, высасывая из блюдец желтый кипяток. Настя с хрустом откусывала сахар крепкими зубами, и Щедрин невольно ею залюбовался.

Уходить ему не хотелось. Настя проводила его до околицы, не боясь завистливых и любопытных баб, выглядывавших из окошек.

У околицы они попрощались. Она протянула ему шершавую руку, опустила глаза и неожиданно сказала вполголоса:

— Может, свидимся. Вы бы мне письмо написали.

Щедрин пообещал написать письмо и вышел за околицу. Около леса он оглянулся. Настя стояла, прикрыв платком подбородок, и смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой. Она не ответила — стояла все такая же неподвижная, окаменелая.

В лесу Щедрина дожидались дети. Торопясь и вытирая носы рукавами, они снова побежали вперед, разбрасывая песок голыми пятками. Они довели Щедрина до сходен и остановились.

Через час подошел буксирный пароход и начал осторожно, покрикивая гудком, выводить миноносец на фарватер.

Перед вечером «Смелый» шел уже по Белому озеру. Оно было действительно белое — слюдяное и бледное. На низких его берегах стояли, как маяки, колокольни сельских церквей. За колокольнями опускалось в леса громадное чистое солнце.

Неожиданно с берегов долетел запах вянущих полевых цветов. Там уже косили сено, и бабы пели пронзительно и заунывно.

•

Миноносец шел по Шексне на юг, а в это время в Петергофе, в тесной квартирке мебельщика Никанора Никитина, происходил переполох.

Приятель Никитина — старый и рассудительный мебельщик Прохор — заболел и прислал сказать, чтобы Никитин поехал за него доделать книжные полки в Петроград, на Кронверкский проспект.

Дело было обычное. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков, но сейчас заказчик был необыкновенный. Даже бестолковая жена Никитина — Матрена — и то его знала. Имя его было знакомо всей России, Европе, пожалуй всему миру — имя одного из величайших писателей передового человечества.

Никитин поднялся в пять часов утра, всех разбудил, долго брился, поссорился с Матреной и, наконец, сердито сказал:

— Алешка со мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на настоящего человека.

Алеша Тихонов побледнел и одернул вылинявшую ситцевую рубашку.

Матрена крикнула:

— Ишь, чего придумал, старый черт! Гляди, чтоб тебя одного-то пустили. Не видали твоих подручных!

— Тихо! — сказал Никитин. — Слово мое окончательное!

Матрена плюнула и сказала в пространство:

— Одежи у него нет подходящей.

— Поедет в чем ходит.

Но все-таки Матрена вытащила рывком из старого, рассохшегося комода новую ситцевую рубаху для Алеши и разгладила ее на подоконнике. Алеша торопливо натянул ее. Рубаха была еще горячая и обожгла спину.

— Куда торопишься! — крикнула Матрена. — Шею умой сначала, ходишь тут обормотом. Нет на вас настоящей погибели, на обоих!

За чаем Матрена, не глядя на Никитина, говорила Алеше:

— Ты за им смотри. Он, знаешь, какой! Чуть что, сейчас язык распустит и пойдет чесать, и пойдет трепать, изговорится весь вконец. На одном разговоре душа держится.

— Молчи! — сказал Никитин. — Речи свои в себе держи, имей острастку.

Когда Никитин и Алеша уехали, Матрена побежала к соседкам и, гордая, раскрасневшаяся, рассказала, что ее изверга вместе с Алешкой вызвали на работу к знаменитому человеку. Соседки завистливо вздыхали.

— Да что ты, милая! — говорили они нараспев.— Страх-то какой! Да неужто он так-таки и поехал с мальчонкой? Ему, видать, все нипочем, он у тебя отчаянный мужчина.

А между тем отчаянный мужчина, шагая по заросшим травою торцам, по безлюдным петроградским проспектам, так охрип от волнения, что с трудом разговаривал даже с Алешей.

— Что-то голос у меня стал хриповат, ты не слышишь? — тревожно спрашивал он Алешу.

— Сип у вас сильный, Никанор Ильич, — отвечал Алеша.

Чтобы прочистить голос, Никитин зашел в пивную и выпил кружку кислого пива, похожего по вкусу на квас.

Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. Ему в Петергофе очень нравилось. Мальчик он был боязливый, на все смотрел долго и внимательно: на серое море, на дворцы, на матросов, хлопавших клешами по пустым петергофским улицам. Изредка, неизвестно откуда доносилась стрельба. Один раз даже забухали пушки, и Алеша робко спросил Никитина, что это значит. Никитин потянул его за нос и ответил:

— Вот для таких, как ты, стараемся, для несмышленышей.

Объяснение было туманное, но Алеша главное понял, а потом путем расспросов выяснил и все остальное: кто такие большевики, чего хочет Юденич, кто пролетариат и кто буржуазия.

Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собеседника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели, о различных свойствах дерева, о политуре и о знаменитых мастерах, которые — вечная им память! — давно уже померли. Никитин вспоминал золотильщиков, мастеров по бронзе, лепщиков, паркетчиков. Он знал тайны многих ремесел и старался втолковать их Алеше.

Алеша слушал внимательно. Никитин давал ему книжки — то Пушкина, то Гоголя, то малоизвестного Крестовского, заставлял читать и потом придирчиво требовал, чтобы Алеша рассказывал ему содержание прочитанного. Но Алеша предпочитал рисовать. Кроме цветных карандашей, у него ничего не было, но этими карандашами мальчик делал рисунки, приводившие Никитина в восторг.

— Быть тебе Репиным! — говаривал Никитин. — Рука у тебя сама рисует, без всякого умственного напряжения. Учить тебя, дурака, надо.

На Кронверкском проспекте Никитин и Алеша долго стояли перед высоким серым домом. Никанор

Ильич поглядывал на его широкие окна и покашливал. Потом, решившись, вошел в подворотню и спросил какого-то человека, подметавшего двор, где живет знаменитый писатель.

— Налево, первая дверь, — сказал человек и даже не обернулся.

— Нахальный человек, малообразованный, — сказал Никитин Алеше, когда они подымались по лестнице.

Позвонили. Никитин и Алеша плохо помнили, кто им открыл, кто их провел в большую комнату, где не было никого и по стенам стояли полки с книгами. Сотни книг, тысячи, может быть десятки тысяч, стояли на полках, лежали на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу. Алеше захотелось тут же сесть на корточки и рассматривать их с утра до вечера, хотя бы целый год.

Никитин огляделся и дотронулся до полки, начатой Прохором. Она была из красного дерева. Осталось только ее отполировать.

Никитин начал работать. Сначала руки у него дрожали и при каждом шорохе в соседней комнате замирало сердце, но потом от знакомой и любимой работы он успокоился и на постоянные вопросы Алеши: «А сам-то выйдет?» — отвечал:

— Откуда я знаю! Что я, бог?

Неожиданно дверь отворилась и в нее, сутулясь и тяжело шагая, вошел высокий седоватый человек с простым курносым и добрым лицом — настоящий дядя Василий, знакомый и Никитину и Алеше водолив с шекснинской баржи. Сутулый человек был одет в серый тонкий костюм, лежавший на нем свободно и мягко.

Он пожал громадной рукой руку Никитину, измазанную политурой, провел по голове Алеши от затылка ко лбу, отчего волосы сразу взъерошились, взглянул на полировку и сказал, покашливая:

— Великолепно работаете! Великолепно!

Алеша с испугом смотрел на громадного человека: это-то и был знаменитый писатель!

Писатель достал из кармана коробку длинных папирос, раскрыл и протянул Никитину. Алеша смотрел во все глаза. Никанор Ильич деликатно, тремя пальцами, взял папироску и закурил, хотя не курил никогда в жизни, — неудобно было отказать такому человеку.

— Тебя как зовут, пузырь? — спросил писатель Алешу.

— Алексеем, — сердито пробормотал Алеша.

— Алексей — человек божий, зашитый в рогожу, — серьезно сказал писатель, но серые его глаза добродушно, по-стариковски улыбались, — гвоздиком прибитый, чтобы не был сердитый. Однако работайте. Я вам мешать не буду.

Он ушел. Из соседней комнаты долго погромыхивал его глухой бас. Он что-то объяснял кому-то и говорил:

— Не мне вас стыдить, не мне. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о них пишет. Вот, скажем, грушовка или анисовка. Чем разнятся? У меня на Оке был друг садовник, большой души человек...

Но тут сразу заговорило несколько голосов, и слов писателя уже нельзя было разобрать.

Алеша в оцепенении смотрел, как работает Никитин. Мастер делал чудеса. Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево казалось погруженным в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное.

Снова вошел писатель. Он долго расспрашивал Никитина о разных тонкостях мебельного дела. Алеша с испугом замечал, что Никанор Ильич все смелее разговаривает с писателем и вот-вот, как говорила Матрена, сорвется и начнет «чесать и трепать» без конца.

— Вы ученый человек, — сказал Никанор Ильич. — Объясните мне, дураку: чем это дерево хуже драгоценного камня? Игра есть, блеску — сколько хочешь, цвет лучше, чем у граната. Однако это дерево показывает себя только при свечах. Электричество на него не действует.

Писатель слушал, хмурился и улыбался.

— Ежели бы у вас были свечи и в комнате было потемней, я бы вам показал настоящий вид этого дерева, — хвастливо сказал Никанор Ильич.

— Чудесно, можно показать! — ответил писатель, подошел к окнам и спустил шторы.

Стало почти темно. Писатель ушел и вернулся со свечкой.

— А ну-ка, светите! — сказал он, и в глазах его Алеша увидел такое же веселое любопытство, как и у своих приятелей-ребят. — Что получится в этом разе?

— В этом разе, — сказал Никанор Ильич, — получится полное превращение.

Он зажег свечу и поставил ее на полку. Дерево сразу же изменилось. Оно казалось теперь бездонным и черным. Пламя свечи плавало в его глубине, как маленькое туманное солнце. Оно было окружено ореолом и зажигало вокруг себя волокна. Они светились багровым винным огнем.

— Моцарт и Сальери, — сказал неожиданно Никанор Ильич, и Алеша затрясся от испуга: предсказание Матрены сбывалось. — Читал я двадцать раз эту пьесу, никак не мог начитаться. Полирую такое вот дерево, а сам вспоминаю. Очень навязчивые слова: «Звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, — слезы невольные и сладкие текли».

Писатель ухмыльнулся в усы и позвал из соседней комнаты каких-то людей. Он показывал им дерево при свете свечи, любовался и говорил глухим басом отрывистые слова о прелести подлинного искусства — будь то литература или полировка мебели.

Алеша слушал как в тумане. Почему-то разговор перешел на архитектуру, и Никанор Ильич сказал громким и развязным голосом, что Воронихин перед Растрелли — мальчишка и щенок. Все зашумели, а писатель держал Никанора Ильича за руку и говорил сердясь:

— Это вы, батенька, хватили не туда. А Горная академия — разве плохо? А Казанский собор?

— Тяжести много. Здание должно легко и точно стоять на земле, — ответил Никанор Ильич.

Писатель засмеялся, взял Никанора Ильича за плечи и сильно встряхнул.

Разговор вдруг зашел об Алеше, и мальчик не знал, куда деваться. Никанор Ильич начал «трепать» всем про его рисунки и повторил свои любимые слова:

— Рука у него сама рисует, без всякого умственного напряжения.

— Вот вам и ученик, — сказал писатель, обращаясь к худому человеку с редкой бородкой и сердитыми глазами. — Все вы позапирались в своих мастерских, учеников не создаете. В стране — революция, а вы — как кроты. А как бывало у старинных художников? Какая вокруг них вырастала замечательная семья учеников! Прекрасная была традиция. Плодотворная и великая. Надо ее возвратить нашему времени. Скупцы вы, прабабку мою напоминаете. Она ассигнации закапывала в землю, чтобы другим не достались. Деньги все сгнили, краска слезла. Она их сушила потом на печке, да что толку: никто их не брал.

Худой человек строго посмотрел на Алешу.

— Попробую, — сказал он. — Возьму его к себе в академию.

— Давно пора, — сказал писатель так сердито, как будто он говорил об Алеше этому художнику уже целый год. — Великолепные возможности упускаете.

Алеша и не помнил, как они с Никанором Ильичом ушли от писателя. Над безлюдным Петроградом стояла белая ночь, многоцветные воды тускло поблескивали, и на севере, за черными кущами островов, яснела заря.

— Будешь ты человеком, Алексей, — сказал Никанор Ильич. — Будешь! Слово мое окончательное!

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

В Ботаническом саду на Аптекарском острове небольшой фотографический аппарат был наведен на голую ветку яблони. Стоял март, на ветке едва заметно завязывались почки.

Через каждые три часа аппарат щелкал и делал снимок. Так он щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела.

Алексей Тихонов часто заходил в Ботанический сад. В стволах деревьев, в рисунке листьев, в разросшихся в беспорядке ветвях он находил разнообразие форм и красок, помогавшее ему работать над своими картинами.

Он сдружился, как с человеком, с маленьким черным аппаратом, спрятанным в листве. Аппарат жил одной жизнью с растениями. Он проводил с ними и дни и ночи, когда в оранжереях было так тихо, что можно было услышать шорох земли, всасывающей падавшие с листьев капли. Когда аппарат убрали, Тихонов почувствовал сожаление, будто из оранжереи увели маленького зверя, жившего в траве и никому не причинявшего зла.

Сотрудники Ботанического сада показали Тихонову снятую аппаратом пленку. За пять минут они пропустили ее через проекционный фонарь. Тихонов смотрел на белый маленький экран и видел, как почка на глазах росла, набухала, покрылась клейким соком, лопнула и из нее, потягиваясь, как после сна, распрямляя измятые лепестки, расцвел белый цветок и вдруг весь задрожал от упавшего на него солнечного света.

Когда Тихонов думал о долгих годах, прошедших над его страной и над его жизнью, он вспоминал этот как будто внезапно, но на самом деле медленно расцветший цветок.

Тихонов знал, что годы шли с закономерной, давно вычисленной неторопливостью, что страна менялась с каждым месяцем, и с каждым месяцем в сознание входили новые мысли, желания и цели, определявшие лицо иного человека.

Но вместе с тем ощущение прожитых лет было таким, будто стояло все одно и то же утро и до полудня было еще далеко. Время казалось единым, не раздробленным на скучные отрезки лет. Длился монолитный и величавый год революции.

А между тем у Тихонова на висках уже пробивалась ранняя седина, а у дряхлого Никанора Ильича

тряслись руки. Он все чаще отрывался от работы и сидел неподвижно, жалуясь на сердце.

Бросать работу он не хотел.

— Помирать уже время, — говорил он, — а я, видишь, работаю. Упираюсь. Почему? Очень просто: я считаю, что должен отблагодарить новую жизнь своей работой, оставить молодым поучительные и богатые подарки.

И он оставлял, старик, эти подарки. Они были в тонкости отделки дерева, в вещах, не уступавших работам лучших мебельных мастеров девятнадцатого века.

— Я самоучка, — говорил он. — Мне бы до хороших образцов дотянуться — и то победа. А вам все дано, молодым, — с вас народ взыщет побольше, чем с нас.

Знаменитый писатель умер. Умер и учитель Тихонова — художник с сердитыми глазами. Умерла и мать Тихонова, Настасья.

Он поехал в Мегры, когда получил письмо от нее с просьбой «приехать, похоронить старуху».

Настасья лежала в избе прозрачная и молчаливая, улыбалась, и зубы у нее блестели, как в молодости. Она рассказала Тихонову, что почти двадцать лет назад приезжал в Мегры какой-то флотский, расспрашивал про деда Семена, запоротого насмерть, и обещал навестить в Петергофе Алешу.

— Был он у тебя? — спрашивала она тревожно. — Говори: был?

— Нет, мать, не был.

— Как же так? — спрашивала Настасья с недоумением. — Такой высокий, ладный. Я об нем сколько лет все помнила, все тужила. Неужто убили его на фронте?

Она заплакала.

На похороны приехала из Череповца Катя — высокая смуглая девушка. Она работала учительницей, но хотела переменить профессию и стать инструктором по спорту. Она брала призы на гребных состязаниях. Любовь к воде и лодкам была у нее ревнивая и неистовая.

Тихонов взял ее с собой в Ленинград, и через месяц она уже работала на водной станции на Крестовском острове.

Тихонов жил все там же, в Петергофе, в домике Никитина. Ленинград сиял чистотой новых домов. В мраморе, в зеркальных стеклах отражался величественный город, сбросивший прежнюю хмурость, но Тихонов полюбил стариков, не хотел их обижать и по-прежнему жил у них в мезонине.

Где бы он ни был — в Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге, — он всегда знал, что вернется в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, пропахший красками, спиртовым лаком и геранью, — Матрена разводила ее с неизменным упорством.

Деревянные платформы Балтийского вокзала потемнели от росы. Была белая ночь. Электрические поезда на Петергоф ходили без огней. Вагоны мягко гремели на стыках, боясь спугнуть тишину дачных поселков, нарушить безветрие, давно стоявшее над взморьем.

Тихонов спешил в Петергоф. В газетах было опубликовано сообщение о большом празднике искусств в Ленинграде, назначенном на 24 июня. Тихонов хотел порадовать этим сообщением старика Никитина.

Сидя у окна вагона, Тихонов пытался в десятый раз прочесть это сообщение в газете, но свет был очень слаб. Прочесть можно было только напечатанное крупным шрифтом. Тихонов отложил газету и взглянул в окно. Там простиралась неясная и высокая ночь. Единственная звезда преодолела сумрак и медленно пылала над высокими зарослями садов.

«Должно быть, Юпитер», — подумал Тихонов. Он представил себе ночь над Финским заливом, когда во мгле виднеются только три огня: белый огонь маяка в Кронштадте, пепельный огонь Юпитера и тихий золотой блеск на куполе Исаакиевского собора, освещенном зарей. Заря горела тут же, за краем земли. Утро стояло рядом, и жители верхних этажей ленинградских домов видели его всю ночь из своих окон.

...Старик Никитин не спал. Он окликнул Тихонова из открытого окна. Старик работал: полировал крышку от старого рояля.

— Газету привез, Алеша? — спросил Никитин. — Говорят, там про наш праздник уже напечатано.

Тихонов особенно любил старика за то, что все относившееся к архитектуре, скульптуре и украшению зданий старик считал своим личным делом. Великий зодчий Захаров, строитель Адмиралтейства, или скульптор Андреев были для него такими же своими и понятными людьми, как и знакомые бронзировщики и плотники.

Старика объединяло с этими людьми знание дела, верный глаз, любовь к материалу — будь то тонкослойное дерево, тертая краска или кусок хорошей звонкой бронзы.

«Должно быть, в этом и заключается преемственность культуры, — решил Тихонов, — в этом тысячелетнем содружестве мастеров, кто бы они ни были — слесари, плотники, зодчие или поэты».

Никанор Ильич попросил Тихонова прочесть сообщение о празднике. Тихонов прочел его вслух, сидя на подоконнике, и простые слова сообщения показались ему созданными для того, чтобы быть высеченными на камне:

«Социалистическая культура, завоеванная кровью и созданная героической работой трудящихся Союза, уверенно идет по пути непрерывного расцвета. Социалистическая эпоха требует создания монументальных памятников и художественных произведений, которые могли бы запечатлеть и передать потомкам ее величие и ее героическую сущность. Создание этих памятников искусства даст применение разнообразным талантам, которыми так богаты народы, населяющие Союз.

Наш город — город Ленина — является не только колыбелью революции и центром передовой индустрии, но и городом знаменитых мастеров искусства.

Закон усвоения нашим обществом культурного наследства имеет в нашем городе наибольшие основания

для своего выражения. Достаточно вспомнить имена хотя бы одних только зодчих — строителей города — Баженова, Растрелли, Воронихина, Захарова и других, чтобы ясной стала мысль, что именно здесь, в городе Ленина, молодая социалистическая страна может учиться законам мастерства у славных художников прошлого.

В связи с тем, что в Ленинграде открываются академии, готовящие мастеров архитектуры, скульптуры, живописи и гравюры, мастеров художественной обработки камня, дерева и металла, фарфорового и гранильного дела, Ленинградский совет решил устроить в Ленинграде 24 июня большой народный праздник. Основная мысль, которой должен быть отмечен этот праздник, заключается в том, что социалистический город, в отличие от городов капиталистических стран, является не только местом расселения людей и средоточием государственных учреждений, общественных организаций и заводов, но и самостоятельным произведением искусства — мощным фактором в деле художественного воспитания масс».

— О чем разговор идет в этом сообщении, как я понимаю? — сказал Никанор Ильич. — О благородстве души человеческой. Я давно примечаю, что народ разный бывает, в полной зависимости от того, что он вокруг себя видит.

— Благородство твое где, — сказала из угла Матрена, — когда заказчик уже телеграмму прислал, тревожится, а крышка у тебя не готова!

— Ничего с ним не сделается, с заказчиком. Заказчик мне все простит за эту крышку. Он у меня моряк, разнообразный человек. Говорить с ним, прямо скажу, затруднительно. Я ему про черное дерево, а он мне про климат. Я ему про темный лак, а он мне про климат. Замучил меня с этим климатом!

— А что с климатом? — спросил Тихонов.

— А с климатом дело сложное. Ежели оно ему удастся, мы будем самой счастливой нацией в мире. Стоит у него в кабинете срез дуба; лет этому дубу четыреста, если не больше. Ну, понятно, на дубе годо-

вые слои. По-нашему это называется «древесный глаз». Одни слои толще, другие тоньше, есть и совсем тонкие, не шире нитки. Вот он и спрашивает: «Что ты перед собой видишь, Никитин, мудрый человек, всезнающий мебельщик?» — «Слои как слои, говорю. Дубовый слой тоже имеет красивый вид, ежели его с умом отполировать». А он начинает спорить: «Не в полировке дело, а в точных выводах. Я, говорит, немного и метеоролог и ботаник. Каждый год слой нарастает в зависимости от влаги. В дождливое лето слой растет больше, в засушливое — меньше, и по этому дубу можно рассказать на пятьсот лет назад, какой климат его окружал». — «А к чему вам это знать? — спрашиваю. — Есть ли из этого хоть самая малая польза для нашего брата — человека?» — «Есть, говорит, только рассказывать долго. Пока скажу тебе одно: прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь; а вещь эта заключается в том, что были времена, когда у нас стоял климат теплый и веселый, как на острове Цейлоне. Леса из магнолий росли кругом по берегам Финского залива. Мы, говорит, будем стараться этот климат вернуть. Сделать это, говорит, можно, и нет в этом никаких чудес».

— Помереть не дадут спокойно! — пробормотала Матрена. — Герани им не хватает, старым дуракам, давай им магнолию!

— Герань против магнолии — дрянь! — рассердился Никанор Ильич. — У герани лист надоедливый, шерсткий. Ты со мной не заводись, старая!

Старики заспорили. Тихонов попрощался и ушел к себе в мезонин. Из окон был виден залив. Птица зашевелилась в сырых ветвях и осторожно крикнула, будто кого-то позвала. Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара.

Тихонов постоял в раздумье у окна, потом осторожно спустился и пошел в дворцовый парк.

Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Электрический огонь казался крикливым. Он как бы останавливал медленное течение ночи, унич-

тожал тайны, свернувшиеся, как невидимые пушистые звери, в углах комнаты, делал вещи неприятно реальными, более реальными, чем они были на самом деле.

В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Поблескивали золоченые статуи. Фонтаны ночью молчали, не было слышно их быстрого шороха. Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко.

Каменные лестницы около дворца были освещены зарей; желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон.

Дворец просвечивал сквозь неясную темноту деревьев, как одинокий золотой лист светится ранней осенью сквозь гущу еще свежей и темной листвы.

Тихонов пошел вдоль канала к заливу. В канале меж заросших тиной камней плавали маленькие рыбы.

Залив был чист, спокоен. Над ним лежала тишина. Море еще не просыпалось. Только розовый отблеск воды предвещал близкий восход солнца.

Океанский пароход шел к Ленинграду. Заря уже горела в его иллюминаторах, и легкий дым тянулся за кормой.

Пароход затрубил, приветствуя великий северный город, конец трудного морского пути. Далеко в Ленинграде, где уже светился бледным золотом шпиль Адмиралтейства, ему ответил протяжным криком другой пароход.

В канале стояли шлюпки. На них, укрывшись брезентом, спали молодые матросы. Тихонов видел их румяные от сна лица, слышал изредка легкий храп. Предрассветный ветер задувал с моря и шевелил листья над головой.

Тихонов прошел на берег. Никого не было, только на самом конце пристани на деревянной скамейке сидела какая-то женщина.

«Что она здесь делает в такой час?» — подумал Тихонов. Черный облезлый кот осторожно ходил по сырому настилу пристани и после каждого шага брезгливо тряс лапой.

Тихонов остановился у перил и заглянул в воду. Кот тоже заглянул, и глаза его сразу почернели: около свай шевелила хвостами стая серебряных длинных рыб.

Женщина встала и пошла к Тихонову. Он смотрел на нее, и чем ближе она подходила, тем все яснее, как из тумана, звучали легкие шаги, и уже была видна ее смущенная улыбка. Маленькая шляпа бросала тень на ее лоб, и поэтому глаза казались очень блестящими. Шелковое платье цвета морской воды поблескивало и шуршало, и Тихонов подумал, что женщине, должно быть, холодно, — предрассветный ветер, как бы он ни был тепел, всегда несет с собой запах снега.

Женщина подошла. Тихонов взглянул ей в лицо и догадался, что это иностранка.

— Скажите... — произнесла женщина медленно, и легкая морщинка появилась у нее между бровей. — Скажите, скоро будет пароход в Ленинград?

Она, видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом.

— Через два часа. Поездом вы доедете скорее.

Женщина отрицательно покачала головой:

— Поездом нет. С поезда я не могу искать в Ленинграде дорогу домой.

— Почему вы здесь в такое время? — спросил Тихонов.

— Я опоздала на последний пароход. Очень глупо. Я сидела всю ночь здесь. Только я и вот этот страшный кот. — Она показала на черного кота и засмеялась.

— Вы француженка? — спросил Тихонов и покраснел: что он, следователь, что ли, что задает ей такие вопросы.

Женщина подняла голову. В твердом овале ее лица и маленьком подбородке было одновременно что-то французское и северное.

— О нет! — сказала она протяжно. — Я шведка. Но я говорю по-французски.

Тихонов смотрел на нее, но думал о себе. Он старался представить себя со стороны.

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе взрослых. Его сверстники были уже маститые люди и по внешности и по своему душевному складу. Тихонов же еще плохо верил в свою талантливость и любил все, что любят мальчишки: рыбную ловлю, поезда, вокзалы, лыжи, пароходы и путешествия.

Перед взрослыми он часто терялся, чувствовал себя связанным, знал, что он совсем не такой, каким его представляют другие. Когда он читал о себе в газетах или слышал разговоры товарищей-художников о своей одаренности, он оставался равнодушным, как будто речь шла не о нем, а об его однофамильце или двойнике.

Он знал, что до сих пор его лучшая картина еще не написана, и потому искренне удивлялся шуму, который все чаще подымался вокруг его вещей.

Сейчас он подумал о себе потому, что с особенной силой ощутил себя мальчиком. Он растерялся перед незнакомой женщиной, бывшей моложе его.

Женщина тоже смутилась и, наклонившись, чтобы спрятать лицо, гладила облезлого кота. Кот вопросительно смотрел на нее и мяукал.

Взошло солнце. Сады начали разгораться, сбрасывая рассветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила.

Залив покрылся полосами света и тумана. Далеко по воде катился глухой крик парохода, подходившего из Ораниенбаума. Пароход шел в Ленинград.

Худощавый хромой смотритель пристани вышел с удочками на дощатый настил. Он поздоровался с Тихоновым и спросил:

— Что это вы, Алексей Николаевич, так рано собрались в Ленинград?

— Нет, я провожаю, — ответил Тихонов.

Смотритель развернул удочки, сел, свесив ноги с пристани, и начал удить. Он изредка посматривал на Тихонова и незнакомую женщину и сказал про себя со вздохом:

«Мысль о потерянной молодости угнетала его дряхлое сердце».

У него клюнуло, он выругался и вытащил маленькую рыбу.

Подошел пустой пароход. Тихонов проводил женщину до сходен. Она протянула ему руку и рассеянно посмотрела в глаза.

— Ну, прощайте, — сказала она и отвернулась. — Благодарю вас.

— Граждане пассажиры, — сказал с мостика капитан, — пора!

Она взошла по сходням. Пароход сердито закричал, медленно попятился и повернулся носом в море. Высокие вехи блестели на воде.

Тихонов увидел ее на палубе. Ветер обтягивал платье около ее высоких ног и хлопал кормовым флагом.

Тихонов пошел к берегу. Около смотрителя он оглянулся. Женщина все еще стояла на палубе.

— Какое лето! — сказал смотритель. — Я еще никогда не видел такого лета на Балтике. Сплошное солнце.

Тихонов согласился, неторопливо отошел от пристани, но когда скрылся за деревьями парка, быстро пошел к вокзалу.

Первый поезд на Ленинград отходил в шесть часов. Тихонов ждал его, волнуясь и глупо надеясь, что поезд отойдет раньше.

В Ленинграде он взял такси и приказал везти себя на Петергофскую пристань. Город пестрел полосами утреннего света и теней. Сторожа поливали в скверах цветы. Медленный дождь падал из брезентовых рукавов, разлетаясь под ветром. На мостах в окна машины бил невский ветер.

У пристани стоял знакомый пароход. Он был пуст. Босой матрос мыл палубу шваброй.

— Давно пришли из Петергофа? — спросил Тихонов.

— Минут десять.

Тихонов вышел на набережную. Только что она была здесь, может быть минуту назад. Он знал это по

блеску воды, по солнечным отсветам, перебегавшим вдоль гранитных берегов, по добрым глазам чистильщика сапог, задумавшегося над своими щетками, по легкому полету облаков в небе.

...Щедрин жил в новом маленьком доме, выстроенном около водной станции на Крестовском острове.

Все комнаты в этом доме были расположены на разном уровне. Из комнаты в комнату вело две-три ступени, и это придавало дому особенный, морской уют, тем более что на второй этаж вели лестницы с медными поручнями, похожими на трапы, а круглые окна в коридоре напоминали иллюминаторы.

Щедрин сильно поседел, и когда писал, то надевал очки. Он преподавал метеорологию и астрономию в Морской академии.

В его кабинете стояло много медных приборов и висели карты, исчерченные синим и красным карандашами. Приборы теплились в ясные дни, как свечи.

Чистота в доме была корабельная. Убирал комнаты Винер. В бою под Елабугой он потерял руку и с тех пор уже не мог управлять своими любимыми машинами.

Щедрин переписывался с Якобсенами и доктором в Мариегамне. В начале июня из Стокгольма приехала погостить на два месяца Мария Якобсен. И Щедрин и Винер звали ее Мари.

Присутствие молодой веселой женщины преобразило комнаты, бывшие до тех пор спокойными и точными, как астрономические приборы. Появился легкий, приятный беспорядок. Женские перчатки лежали на секстанах, цветы осыпались на письменный стол, на рукописи с вычислениями, запах духов и тонких тканей проникал всюду из комнаты Мари на втором этаже, серебряная бумага от шоколада валялась на диване рядом с начатой и еще не разрезанной до конца книгой. Мари жадно читала, чтобы получше изучить русский язык.

Около портретов Анны Якобсен, Павла Бестужева и матери Щедрина Мари всегда ставила на столик букеты листьев, ветки лип, цветы гелиотропа. Раньше дом был похож на корабль, теперь он стал похож на оранжерею.

Мари была безрассудна и тревожила этим Щедрина. Она оставалась все такой же, как в Мариегамне, когда спорола у него с рукава золотую нашивку.

Она радовалась свободе, была в восторге, что могла одна ходить по городу, радовалась всему, что видела в Ленинграде: дворцам и театрам, жизни, лишенной стеснительных правил и нравоучений, простоте отношений между мужчинами и женщинами, между рабочими и учеными и, наконец, тому, что всюду на нее смотрели с улыбкой. Она в ответ сама улыбалась, хотя и старалась сохранить на лице строгое выражение красивой и немного разочарованной женщины.

Особенно беспокоили Щедрина прогулки Мари. Она уже два раза заблудилась. Однажды ее привел домой худенький пионер, позвонил, сдал с рук на руки и сказал серьезно Винеру:

— Будьте добры, не пускайте ее одну на улицу. Я веду ее от самого Смольного.

Мари расцеловала пионера, втащила его в комнаты, показала модель «Смелого», инструменты, карты, картины, изображавшие морские бури и штили. Мальчика напоили чаем, дали ему конфет, и он ушел счастливый и оглушенный.

Второй случай был гораздо хуже. Мари уехала в Петергоф, опоздала на последний пароход и всю ночь в одном легком платье просидела на петергофской пристани.

Щедрин в два часа ночи начал звонить во все отделения милиции, поднял на ноги десятки людей, а потом, когда Мари нашлась, ему пришлось извиняться и выслушивать шутливые замечания дежурных.

— Глупости! — сказала Мари за утренним чаем. Глаза ее сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать. — В вашей стране я ничего не боюсь. Я даже смело подошла ночью к одному человеку на пристани, и мы долго беседовали.

— О чем? — спросил Щедрин.

— Обо всем, — ответила Мари. — А потом пришел хромой человек удить рыбу и поклонился мне, как старой знакомой.

— Да это же, должно быть, Акерман! — воскликнул Щедрин. — Вот старый черт! Он все еще ловит рыбу?

— Да, — сказала Мари. — Вместе с черным котом. Как в сказке.

Мари спала до вечера. Окна были открыты. Ветер перелистывал книгу, забытую на окне. Он переворачивал страницы то вперед, то назад, разыскивая любимые строчки, наконец нашел их и затих: «Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».

Мари проснулась от шелеста в комнате. Ветер сбрасывал со стола разорванные конверты. Было сумрачно. Далеко на взморье громыхнул и покатился в пропасть железный гром.

Мари вскочила. Молния зажглась за окнами, задрожала и погасла в глубине зашумевших садов.

Мари быстро умылась, оделась и сбежала вниз. Щедрин сидел у рояля.

— Гроза, — сказал он Мари. — Вы спали девять часов.

— Что вы играете? — спросила Мари и села в кресло, поджав ноги.

Она смотрела за окно, где горячий ветер уже бушевал в садах и швырял на подоконники сорванные листья. Один лист упал на рояль. Крышки на рояле не было, и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:

— Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.

Мари засмеялась.

— Мари, не смейтесь, — сказал Щедрин и тронул струны. — Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый климат [1]. Не знаю, учили ли вы в Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных оледенений.

---

[1] Миоценовый климат — теплый, почти тропический климат, бывший в Европе во время миоцена—отдаленной геологической эпохи. *(Прим. автора.)*

Мари поежилась.

— Не нужно их больше, — серьезно сказала она.

— Конечно, не нужно. Обледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятно, но я скажу только вывод. Мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.

— Теплый?

— Очень, — ответил Щедрин. — Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!

— Что это значит — одуреть? — спросила Мари.

— Писать стихи, влюбляться в девушек, одним словом — сходить с ума.

— Очень хорошо! — сказала Мари. — Но что нужно для этого?

— Пустяки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные работы, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.

— Как вы дошли до этого?

Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.

— А это зачем? — сказал он. — Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.

Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть поэтому, от луж долетали маленькие волны озона.

— Сыграйте, — попросила Мари. — Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.

— Это не сказки, — сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина». — Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.

Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она?

Кто этот человек — худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.

Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.

Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.

Мари пошла к Летнему саду.

Она побродила по сырым аллеям сада, вышла на Лебяжью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.

Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.

Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными слабой краской. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение, — но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.

Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.

Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колоннад, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.

Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стеклянный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо Петропавловской крепости, мимо равелинов и кронверков, мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.

За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.

Милиционер открыл глаза.

— Начинается подготовка, — сказал он Мари. — Светят по лучшим зданиям.

— Какая подготовка? — спросила Мари.

Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.

— К празднику, — сказал милиционер. — В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград. Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не насмотрюсь. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это, или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь — горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.

Мари застенчиво улыбнулась.

— Я в гребной школе учусь, — сказал милиционер. — Выезжаю на аутригере[1] в море. Выплывешь вечером — города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на берег возвращаться неохота.

— А вы где стоите в городе? — спросила Мари.

— Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.

— Я шведка.

— А-а-а... — сказал милиционер. — Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.

На пристани у реки Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.

— Я не боюсь, зачем! — смущенно говорила Мари. — Вы работали, устали.

— Да вы не беспокойтесь, — уверял ее милиционер. — Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда — прямо в Сестрорецк. На выдержку.

---

[1] Аутригер — особый тип гоночной легкой лодки.

У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она подумала: что сказали бы ее подруги в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.

К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору.

Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прибыть из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков — встречу двух поколений.

После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.

Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во всем разнообразии ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья.

Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.

Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это что-то было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом. В его сознании все слилось в один сверкающий круг: далекий гудок океанского парохода, золотое мерцание города в утренней мгле, тишина воды, шаги женщины, хромой смотритель пристани и его слова о необыкновенном балтийском лете.

В таком состоянии Тихонов начал работать над украшением Петергофа. Работая, он думал о своем времени, о стране и о ней.

Ему вспомнились слова знаменитого писателя, того, что взъерошил когда-то ему волосы и обозвал «пузы-

рем». Он перечитал все его книги и статьи. В одной из статей писатель говорил своему юному современнику:

«Когда будете писать — думайте о ней, хотя бы ее и не было, и о превосходных людях, которым вы — тоже превосходнейший человек — искренне и просто и очень задушевно рассказываете о том, что известно только вам, что необходимо узнать и ей и всем им, — понимаете?»

Она была. И Тихонов думал о ней, думал, что она пройдет здесь, увидит всю прелесть земли, украшенной им, и почувствует, так же как и он, дыхание свободной и веселой страны, куда она приехала как гостья.

Никанор Ильич страшно взволновался, узнав, что Тихонову поручили украшать Петергоф. Несколько дней он волновался впустую. Поговорить было не с кем. Матрена была туга на разговоры, а Тихонов слишком занят. Поэтому старик обрадовался до слез, когда в Петергоф приехала Катя. Приехала она к брату поговорить о том, как украсить к празднику свои лодки и яхты.

От Тихонова она спустилась к старикам, и Никанор Ильич тотчас затеял с ней разговор.

— Люблю я праздники,— сказал Никанор Ильич.— Праздник, я полагаю, иной раз человеку больше нужен, чем хлеб насущный.

— Ох, господи! — вздохнула Матрена. — Сил нет! Уйми хоть ты его, Катюша, проклятущего.

— Тихо! — грозно сказал Никанор Ильич и закашлялся. — Сама к празднику дом будешь мыть, чистить. Небось старые свои обноски не наденешь. Почему это, спрашиваю? Ответь!

Катюша кое-как помирила стариков и ушла. А вечером Никанор Ильич слег. Он жаловался на боль в сердце и позвал к себе Тихонова.

— Алеша... — сказал он и вдруг заплакал.

Матрена тоже сморкалась в своем углу.

— Слабость у меня сердечная. Неужто окачурюсь и ничего не увижу? А мне бы, дураку, жить и жить.

Любопытство меня жжет. Все норовил подняться к тебе, посмотреть эскизы — чего ты придумал к празднику, — да боюсь помешать.

Тихонов принес старику эскизы. Никанор Ильич долго смотрел на них, потом похлопал Тихонова по плечу.

— Люблю я в тебе, Алеша, совершенство, — сказал он. — Ты настоящий. Слово мое окончательное.

Прощаясь, он попросил, чтобы Тихонов, когда будет в Ленинграде, заехал к заказчику и передал, что крышка от рояля готова и ее можно забрать.

Только на второй день Тихонов разыскал по адресу, оставленному Никанором Ильичом, маленький дом в саду на Крестовском острове. Накрапывал дождь, земля пахла прибитой дождем пылью.

Открыл Тихонову белобрысый старик без одной руки — Винер. Тихонов спросил гражданина Щедрина. Винер ввел его в комнату с настежь открытыми окнами.

На стене Тихонов увидел два портрета прекрасной работы. На одном был изображен офицер в черном мундире, на другом — молодая женщина с высоко взлетающими, нервными бровями. В ней было ясно ощутимое сходство с незнакомкой, встреченной на пристани.

Тихонов провел рукой по лбу, как бы стараясь отогнать навязчивую мысль, но женщина смотрела на него уже знакомыми глазами, и он невольно все ближе подходил к портрету и все пристальнее вглядывался в него.

Кто-то вошел, но Тихонов обернулся не сразу: ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от портрета.

За спиной Тихонова стоял высокий седой моряк и внимательно смотрел на него.

— Я к вам от Никанора Ильича, — сказал Тихонов. — Он болен. Он просил передать, что крышка от рояля готова. За ней можно приехать.

— Садитесь, — сказал моряк и показал Тихонову на кресло.

Если бы Тихонов сел в него, то очутился бы спиной к портрету. Тихонов шагнул к креслу, но передумал и сел в другое — так, чтобы видеть портрет.

Моряк все так же внимательно смотрел на Тихонова.

— Благодарю вас, — сказал он. — А что с Никанором Ильичом?

— Сердце, — коротко ответил Тихонов.

— Вы его сын?

— Нет, я его бывший ученик.

— Вы, очевидно, художник?

— Да.

— Я догадался, когда увидел, как вы вглядываетесь в этот портрет.

— Великолепная работа! Кто это?

— Это прекрасная женщина, дочь одного старого шкипера с Аландских островов.

— Она шведка? — быстро спросил Тихонов.

— Да. Ее зовут Анна Якобсен. Ее жизнь связана с очень трагическими обстоятельствами. Это жена офицера Павла Бестужева, убитого на дуэли на Аланде в начале прошлого века. Она сошла с ума.

— Моего прадеда,— сказал Тихонов,— тоже убили в Финляндии, но только не на дуэли. Его запороли. Он был простой солдат.

— Позвольте, — сказал моряк, — когда это было?

— Я думаю, что тоже в начале прошлого века.

Моряк встал и подошел к окну. Он посмотрел на дождь, сыпавшийся пылью в лужи на дорожках, потом обернулся и спросил:

— Вы родом не из деревни Мегры на реке Ковже?

— Да, — сказал удивленно Тихонов. — Откуда вы это знаете?

Моряк не ответил.

— Ваш прадед, — сказал он, — похоронен в одной могиле с Павлом Бестужевым. Оба они были убиты в один и тот же день. Их связывала общая судьба. Ваша фамилия Тихонов?

— Да.

— Наконец-то! — Моряк широко улыбнулся и крепко, обеими руками, пожал руку Тихонову. — Меня

зовут Щедрин. Я вас долго искал, потом бросил. Во время войны я служил на Аландских островах. Там я узнал подробную историю гибели Павла Бестужева. Он был вольнодумец. Он спас от казни декабриста и был убит на дуэли из-за столкновения с командиром полка. Я был на его могиле и удивился тому, что он зарыт не один, а вместе с солдатом Тихоновым. Я старался узнать, чем были связаны эти два человека — Тихонов и Павел Бестужев, — но никто не мог мне этого объяснить. Местные жители ничего не знали, рыться же в архивах я не мог. Мне бы их не дали, да и было совсем не до этого: начиналась революция. Мне попалось в руки предсмертное письмо Бестужева. В нем я нашел просьбу сообщить о смерти солдата Тихонова его родным, в деревню Мегры на реке Ковже. Во время гражданской войны я случайно попал в Мегры, разыскал потомков солдата Тихонова и видел вашу мать.

— Она меня спрашивала о вас,— перебил Тихонов.

— Она умерла? — спросил моряк.

— Да.

— Я нашел вашу мать, но она ничего об этом не знала. Она дала мне ваш адрес и просила найти вас, но адрес пропал в бою с колчаковской флотилией под Елабугой. Память у меня плохая, я никак не мог его вспомнить... Но все-таки мы встретились! — Щедрин засмеялся. — Ну, теперь я вас не выпущу. Давайте сюда шляпу.

Он отобрал у Тихонова шляпу, принес бутылку вина, печенье и папиросы.

— Выпьем по этому случаю, — сказал он. — Хорошее слабое вино. Его особенно приятно пить в такую серенькую погоду.

Тихонов выпил и почувствовал легкое головокружение. Все события последних дней казались ему невероятными, а встреча с Щедриным еще усилила это ощущение.

— В последнее время, — сказал он Щедрину, — я попал в полосу необыкновенных встреч.

— Тем лучше. Пейте. Недавно приехала с Аландских островов моя родственница, девушка, правнучка

Анны Якобсен. Ее зовут Мари. Она мне рассказала более подробно о судьбе вашего прадеда. Приемный отец этой девушки — дряхлый чудак доктор — затеял писать историю Аландских островов. Он перерыл все архивы и нашел указания, что солдат Тихонов был засечен шпицрутенами за то, что помог вместе с Павлом Бестужевым бежать декабристу... Давайте выпьем за дедов!

Вино казалось Тихонову растворенными в холодной воде осенними листьями.

Тихонов плохо слушал Щедрина.

«Это она!» — говорил он себе, и сердце его билось до боли.

Он хотел услышать в комнатах женские шаги, но ничего не доносилось, кроме стука стенных часов и отдаленных гудков автомобилей.

«Где же она? Надо дождаться ее, чтобы окончилось это страшное незнание. Может быть, это совсем другая? Может быть, в комнату войдет белобрысая девушка в очках и с крикливым голосом?.. Я дурак,— думал Тихонов.— Мне давно пора уходить. Пора. Надо встать».

Тихонов уже готов был встать и попрощаться с Щедриным, но его остановила мысль о портрете. Сходство было слишком поразительным. Он снова взглянул на портрет и увидел те же нервные, взлетающие брови и маленькую печальную складку в углу рта.

— Что с вами? — спросил Щедрин, заметив рассеянность Тихонова. — У вас усталый вид.

— Я много работаю. Мне поручили украшать Петергоф. Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!

Оставаться дольше было невозможно. Тихонов встал. Щедрин взял с него слово, что он в первый же свободный вечер приедет на Крестовский остров, пообещал навестить больного Никанора Ильича, и они расстались.

Тихонов шел через сад, и пока он прошел это небольшое расстояние, сотни мыслей пронеслись перед ним.

Тихонов впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли

холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа. Все это было давно мертво. О нем если и вспоминали, то с неохотой.

Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда — николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в грязную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова.

Дождь прошел. Тучи медленно сваливались к югу и открывали на западе пустынное небо.

У калитки Тихонов столкнулся с женщиной. Он посторонился и поднял голову. Это была она, петергофская незнакомка.

Она держалась за железную решетку и смотрела на Тихонова. Тихонов снял шляпу.

— Как хорошо, — сказал он, — что я вас снова встретил! Город так велик, а вы, должно быть, не единственная шведка в Ленинграде.

Мари молчала. Рука ее медленно разжалась, на перчатке осталось серое пятно от решетки. Она прислонилась к ограде и быстро сказала:

— Да, да... Говорите.

— Что? — спросил Тихонов. — Что я могу сказать сейчас? Вы уже, пожалуй, знаете все сами.

— Если бы я знала... — сказала Мари и улыбнулась. — Пойдемте.

Она крепко взяла Тихонова за руку выше кисти и, как мальчика, повела за собой. Они шли молча по улице. Пустынное небо лежало у них под ногами, отраженное в лужах дождевой воды.

— Я думал, что встречу вас, — сказал Тихонов. — Невозможно было не встретить.

Мари наклонила голову, как бы соглашаясь с ним.

Они вышли на пристань речных катеров.

— Поедем в город, — сказала Мари. — Вы покажете мне ваши любимые места. Этот город создан для того, чтобы бродить по нему ночи напролет.

У Мари немного болела голова. Она часто прикладывала ладонь к глазам и болезненно улыбалась.

На катере Тихонов рассказал Мари обо всем, что он узнал от Щедрина: об Анне Якобсен, о Павле Бестужеве и о своем прадеде.

— Значит, Анна завещала мне вас, — сказала Мари по-французски.

До поздней ночи они ходили по городу. Он был в этот вечер особенно прекрасен. Он возникал перед ними мощными колоннадами зданий, горбатыми арками безлюдных мостов, бронзовыми памятниками и кущами столетних лип.

Нева несла огни в глубокой воде. Игла Адмиралтейства блистала над рекой, воспетой поэтами.

Они останавливались около чугунных решеток, смотрели сквозь них на полумрак садов, и Тихонов говорил о воплощенных мечтах знаменитых зодчих, создавших в северных болотах и лесах этот блистательный город. Это был город великих воспоминаний и не менее великого будущего.

Они шли вдоль набережных Невы. Мальчишки ловили рыбу с гранитных парапетов. У берега около какого-то сада стоял пришвартованный стальными тросами старый военный корабль. Ветки лип опускались над его палубой и орудиями, закрытыми брезентом.

— Это «Аврора», — сказал Тихонов. — Вы знаете?

— Знаю, — ответила Мари.

Они прошли через площадь, где медный всадник скакал на север, и вернулись к Мойке.

На Мойке среди свай, высоких зданий и позеленевших гранитных берегов стояла летняя ночная тишина. Они облокотились о перила и смотрели на воду. В ней дрожала синяя звезда.

— Мари, — сказал Тихонов, — оглянитесь: в этом доме умер Пушкин.

Мари обернулась. Она смотрела на окна, на выступ дома, почти висевший над водой, на каменные, истертые столетиями тумбы, на одуванчики, проросшие среди плит по обочинам узкого тротуара.

— Сюда его привезли, когда он был ранен? — спросила она.

— Да. Его внесли вот в эту дверь.

— Может быть, здесь капала его кровь, — сказала Мари и посмотрела на Тихонова с виноватой улыбкой.

— Это были годы, — сказал Тихонов, — когда был убит Павел Бестужев и мой прадед, и Анна умерла от горя. Лучше всего об этом времени сказал сам Пушкин.

— Как? — спросила Мари. — Что он сказал?

— Простые слова: «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне — унылой и приятной». Правда, хорошо?

Мари не позволила Тихонову себя провожать. Они расстались у Летнего сада. Мари протянула Тихонову обе руки, резко вырвала их и быстро сбежала по каменной лестнице к пристани.

...Тридцать прожекторов поднялись в небо над Петергофом и перепутали свои лучи со звездами. Так начался ночной праздник.

Миноносцы, неся на бортах и мачтах цепи огней, мчались, разбивали в пену воду залива и, круто повернув, стопорили вблизи петергофской пристани.

С палуб миноносцев морякам открывалось невиданное зрелище. Дворец пламенел хрустальным пожаром. Водопады лились среди мрамора и бронзы.

Молодые краснофлотцы и старые командиры подымались по лестницам к дворцу.

Стеклянные чашечки, полные чистого огня, горели по сторонам. Фонтаны били, теряясь в темноте нависших деревьев. Здесь, в парке, явственно ощущались тяжесть и запах листвы, воздух небывалого лета.

Окна дворца были распахнуты настежь.

На балконах, в синих и белых залах стояли моряки, отраженные в зеркалах. Зеркала повторяли их смех, улыбки, загорелые лица.

Испуганные птицы проносились сквозь этот блеск, слепли, ударялись о струи фонтанов и в брызгах и

шуме крыльев улетали в ночь, к заливу. Там отражалось в воде привычное небо, забытое на этот вечер людьми.

Но вскоре заговорил и залив. Невидимые форты загремели, выбрасывая вспышки огня: Кронштадт салютовал сто одним выстрелом в честь великого города.

За гулом канонады не было слышно говора самолетов, разлетавшихся по всем румбам горизонта и оставлявших за собой световые дороги.

Потом как будто звездное небо начало падать на землю: самолеты сбросили сотни огненных шаров. Воздушные течения качали их над землей и перепутывали. Они то уносили шары к заливу широкими взмахами — и весь залив пылал, казалось, до самого дна их отражениями, — то сгущали их в облака света, сиявшие над потрясенными берегами.

Ленинград сверкал над Невой, как драгоценный камень. Никогда еще благородство его перспектив не было так ощутительно.

Мари со Щедриным и Винером приехали в Петергоф очень рано.

На террасе дворца Щедрина остановил Никанор Ильич. Матрена, в черном шелковом платье, испуганная и раскрасневшаяся, вела его под руку, — старик слеп от огней и с трудом передвигался.

— Большую красоту народ себе отвоевал, Александр Петрович, — сказал старик Щедрину и украдкой вытер набежавшую слезу. — Большую красоту!

Щедрин вспомнил зимнюю ночь, когда он с матросами шел по льду из Кронштадта в Петергоф и отогревался в сторожке у красногвардейца.

— Никанор Ильич, — спросил он, — так это вы в восемнадцатом году охраняли дворец?

— Я, милый, я. И моя доля есть во всем этом совершенстве.

Глаза Мари блестели, но лицо было строгим и бледным. Никанор Ильич посмотрел на нее. Мари вопросительно улыбнулась.

Она взяла старика под руку и повела во дворец.

На крыльце стоял Акерман, выбритый и сухой, в парадной морской форме. Глаза его лукаво смеялись. Он поздоровался со всеми и сказал Щедрину:

— Саша, ты, я помню, когда-то смеялся над сказками. Тебе стыдно, скажи?

— Замолчи, дурак! — сказал Щедрин. — Это ты не верил, что доживешь до хорошего времени.

— Стуча костылем, — сказал Акерман, — он проходил среди кликов народного ликования.

Они вошли во дворец. Моряки расступились. Сдержанный гул прошел по их рядам. Мари осторожно вела дряхлого рабочего. Сзади шла Матрена, а за ней — Щедрин, Винер и Акерман.

Шепот прошел и стих, потом прошел снова: позади взволнованной молодой женщины моряки увидели легендарного капитана Александра Щедрина, прославленного победами над флотилией белых, создателя знаменитой теории о возвращении в Европу климата миоцена.

На площадке лестницы ждал Тихонов. Он видел Мари, и ему казалось, что он не сможет выдержать минут ее приближения. Он думал, что ни одно искусство в мире не может передать красоту молодой женщины, любящей и счастливой.

Моряки собрались в большом позолоченном зале. Люстры звенели, и свечи, зажженные для праздника, тонко дрожали.

Мари остановилась с Тихоновым около окна. Щедрин прошел вперед и повернулся к морякам. Седая его голова белела на темном полотне картины, висевшей за его спиной. Картина изображала старинное морское сражение. В глубине зала играл оркестр.

Щедрин поднял руку. Оркестр умолк. Два поколения моряков затаили дыхание.

— Друзья! — сказал Щедрин. — Старые и молодые моряки! Надо ли говорить о том, что́ каждый носит в сердце, — говорить о гордости своей эпохой, своей родиной! Мы призваны охранять страну, создающую счастье для трудового человечества. Мы дрались за

нее. Мы побеждали в прошлом и будем побеждать всегда. Каждый из нас отдаст всю кровь, силы, все мужество для того, чтобы могли спокойно работать и процветать наша страна и ее культура.

Не только мы одни создавали ее. Мы, поколение победителей, не можем быть неблагодарными. Мы всегда будем беречь в своем сердце память о рабочих и крестьянах, поэтах и писателях, ученых и художниках, философах, солдатах и матросах, погибших за народное счастье в далекие времена, отделенные от нас десятками и сотнями лет.

Позвольте мне вместо праздничной речи рассказать вам простую историю, случившуюся больше ста лет назад...

Моряки зашевелились и стихли. Щедрин коротко рассказал историю гибели солдата Семена Тихонова, Павла Бестужева и Анны Якобсен.

Иногда он умолкал и проводил рукой по волосам, стараясь не выдать своего волнения.

— Павел Бестужев перед смертью оставил письмо. Я прочту из него несколько строк.

Щедрин вынул письмо. Свет от люстр был слаб, при нем было трудно читать. Молодой матрос взял с камина канделябр, стал рядом с Щедриным, и чем дальше читал Щедрин, тем заметнее канделябр наклонялся и тем чаще капли воска падали на паркет.

— «Я знаю,— читал Щедрин,— и ты должна знать это вместе со мной, что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель, — читал Щедрин, и легкий гул шел по рядам моряков, как будто они повторяли за ним вполголоса слова этого письма, подобно словам присяги, — наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет считаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли...»

Мари вздрогнула. Зал гулко вздохнул, все моряки встали.

— «...будет раздавлено в пыли, — повышая голос, читал Щедрин, — и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев. Я думаю об этих временах и завидую пре-

красным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны...»

Моряки слушали стоя.

— «Я завидую им, — голос Щедрина нарастал и подымался до грозного крика, — и кричу в душе: «Не забывайте нас, счастливцы!»

Мари глазами, полными слез, смотрела в окно.

В зале молчали.

— Друзья, — сказал Щедрин, — всего несколько слов. Потомок солдата Семена Тихонова — один из лучших наших художников. Великолепием этого праздника мы обязаны ему. Правнучка Анны Якобсен, умершей от горя, — среди вас. Она приехала в нашу страну. Она нашла здесь новую родину и счастье. О нем я не могу говорить.

Щедрин замолчал. Тогда в глубине зала встал Акерман и крикнул:

— А внук спасенного декабриста — это ты!

Зал вздрогнул от бури приветственных криков.

Широкое пламя блеснуло в окнах. Моряки оглянулись. Над Ленинградом подымались к небу сотни световых потоков.

Но Щедрин не смотрел на огни Ленинграда. Он смотрел на Мари, потому что нет в мире большей красоты, чем лицо молодой женщины, любящей и счастливой.

1939

ПОВЕСТЬ О ЛЕСАХ



Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!

Языков

СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ

Дом рассохся от старости. А может быть, и оттого, что он стоял на поляне в сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом. Растрепанные, высохшие, они даже не были похожи на цветы, а напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное, что раздражало композитора, — это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами.

Слава богу, ни одна из них не скрипнула. Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое: рассохшийся дом запоет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом

сухие стропила, двери и старушка люстра, потерявшая половину хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.

«Прекрасная оркестровка!» — думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева.

С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там — то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей — кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к ночным звукам, он думал, что вот проходит жизнь, а ничего еще толком не сделано. Все написанное — только упражнения, небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от простых явлений окружающей жизни.

Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона! В избу вбежала Феня — дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Из-за тучи ударило солнце, и капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, все кончилось, и он понял, что никакой

музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель.

А Фет распевал в своих стихах: «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души и трав неясный запах...»

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги — в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, — этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты.

Он не променяет эти туманные зори ни на какие позлащенные закаты Парижа. Он отдал свое сердце без остатка России — ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя.

К счастью, в жизни выдаются удивительные дни — вот такие, как сегодняшний. Он проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.

На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у него было любимое место — оно называлось Рудым Яром.

Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку — вверх, в корабельный бор.

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.

Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется — и давно скованная где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков. А спустя год он сам будет удивляться тому, что написал.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вглядывался в него, видел все новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках линованной бумаги.

Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре.

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии — такой, чтобы она была понятна и мила и Фене и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил цигарку из корешков.

— Играет? — спросил, подымив цигаркой, Василий. — Прекратить, говоришь, нельзя?

— Никак! — ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника. — Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

— Дело, конечно, святое, — согласился Василий. — А ты бы все-таки доложил.

— И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

— А мы что ж, не понимаем? — рассердился Василий. — Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

— Ой! — вздохнула Феня и туже затянула концы платка. — Весь бы день слухала!

Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки.

— Вот, — сказал с укором слуга, — девчонка босоногая, и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел.

— Я не в трактир пришел, — ответил бранчливо Василий. — В трактире встретимся — будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел.

Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

— Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал.

— Да ну!

— Вот тебе и ну! Ну да ну, повесь язык на сосну!

— Ты чего вяжешься? — обиделся слуга. — А то я и ответить могу!

— Жилетку ты носишь бархатную, — пробормотал Василий, — с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц? Или платочек засунуть и пойти форсить под окошками? Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!

Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.

— То-то! — сказал Василий. — Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал. А толку что? С долгами расплатиться не хватит.

— Кому продал?

— Харьковскому купцу Трощенке. Принесла его сюда, за тыщи верст, нелегкая из Харькова!.. Слыхал про такого?

— Купцов много, — уклончиво ответил слуга. — Ежели бы еще он был московский... да первой гильдии...

— Повидал я купцов на своем веку каких хошь гильдий. Таких видал обормотов, что спаси господи! А этот — с виду приличный господин. В золотых очках, и бородка седенькая, гребешочком расчесанная. Чистая бородка. Отставной штабс-капитан. А непохоже. Вроде как церковный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди — там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, говорит, волкодав леса́ свел по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой — на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил». Думали, конечно, что врет приказчик. Они при денежных людях угождают; им соврать или человека разуть-раздеть — пустое дело. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес будут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор, до последней осины. Так-то!

— Серьезный мужчина, — заметил слуга.

— Хо-озяин! — злобно выкрикнул Василий. — Шея у него из одних маслаков, у анафемы!

— А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скидать.

— Служишь ты у хорошего господина, — раздумчиво сказал Василий,— а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь — а в нем заместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно бы тебя выгнал. Взашей! Как язык поворачивается такое спрашивать — мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил. Как баба ребят не растит.

— Вона! — насмешливо сказал слуга.

— «Вона»!— передразнил его Василий.— А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться.

— Кому? — спросил слуга и пустил табачный дым из ноздрей. — Царю Гороху?

— Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет — в суд! Дойти до сената.

— Будет сенат с таким делом вожжаться!

— А не будет — так до царя-императора!

— Ну, а как царь не поможет?

— Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой. Не допустим, мол, разбоя. Уходи, откуда пришел.

— Мечты! — вздохнул слуга и затоптал папиросу. — С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

— Это мы еще поглядим!

— Ну и сиди, дожидайся! — рассердился слуга. — Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

— Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил цигарки, скреб грудь, ждал. Солнце

уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует! — подумал Василий, поднял голову, прислушался. — Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровныя»! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам? Эх, старость! А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться!»

Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

— Ты что? — быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. — Встань! Что с тобой, Василий?

— Спаси! — прохрипел Василий и начал через силу подыматься, опираясь рукой о ступеньку. — Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда, наконец, рассказал все как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

— Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

— Звали, Петр Ильич?

— Лошадей! Вели закладывать.

— Куда ехать-то?

— К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту ночную поездку. Коляску подбрасывало по корням. Лошади всхрапывали,

пугались. С неба падали звезды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ.

Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не исхлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.

«Успею ли? — думал Чайковский. — В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

С губернатором он как-то познакомился на благотворительном концерте в губернском городе. Кажется, тучный человек в тесном сюртуке, с припухшими, больными веками. Поговаривали, что губернатор — либерал.

Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатились по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты. Потянулись каменные лабазы. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.

Чайковский позвонил у калитки.

Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.

Горничная в ситцевом, накрахмаленном до грохота платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.

Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.

Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и перестала играть. Да и трудно было его не узнать — изящного, седеющего со знакомыми по портретам серыми внима-

тельными глазами. А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку — тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.

— Существующие законоположения, — медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона, — не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенке на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко волен в своей выгоде. Частная собственность, ничего не поделаешь!

Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.

— А что вы находите в действиях Трощенки преступного? — спросил он ласково.

Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? «Мы тем и замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой»? Или просто сказать, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах?

Чайковский молчал.

— Конечно, — сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая, — лесное хищничество — вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но требования артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом.

Чайковский встал, откланялся и пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади, пытаясь его проводить.

Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными

молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивало на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: «Но, лодыри!» — и ерзал на козлах. Лошади ускоряли на минуту шаг, а потом снова шли медленно, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги.

Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход: перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять денег? Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону? Пусть достанет деньги где хочет. Под заклад его сочинений, опер, романсов... Это решение успокоило Чайковского.

— Не гони, Иван, ради бога! — сказал Чайковский, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей.

Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь, — в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье. Временами он засыпал, может быть всего на минуту, на две, и тогда ему казалось, что теплая рука закрывает ему глаза и кто-то спрашивает: «Угадай, кто это?»

...Чайковский очнулся. Коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал:

— Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли? — Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул: — Перево-оз!

Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с цигаркой. Паром, скрипя, отчалил.

Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат, кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом.

Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотде-

лимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

Если бы его спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно: «По совести говоря, не знаю». Он нарочно говорил иногда о своей музыке как о поденной работе, но знал, что это не так. И говорил он о ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит.

Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: «гения». Чайковский вспыхнул, покраснел — он никак не мог принять по отношению к себе это высокое слово — и резко ответил: «В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги».

Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как вода журчит о бревна парома, он подумал, что создавать — не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах: «Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих берегов...» Ветер с цветущих берегов! У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет — здесь ли, на пароме, в дымном ли блеске театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в блеске женских глаз, ласковых и пытливых.

Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности он окончит начатую вчера работу и посвятит ее... кому? Тому молодому, застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам: Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и расплывчатых похвал.

Когда переправились, Чайковский, садясь в коляску, сказал кучеру:

— В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился... как его... Трощенко?

— Да, надо быть, там. Рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет развиднять.

— Ничего. Мне нужно его перехватить пораньше.

В усадьбе Чайковский Трощенки не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в репьях, и пес, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирать репья.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

— А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий. — Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, длинно сплюнул:

— Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру, с пустым карманом!

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай», — шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади, — ходил по лесу и метил топором сосны.

Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил:

— Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил свое предложение — перепродать ему на корню весь этот лес.

— Желаете округлить владения? — ласково спросил Трощенко. — Этому лесу цены нету. Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне. — Поет древесина! А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете,

в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит! Ну, и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита — золото сильно притягивает.

— Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет божеская...

— Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу... — Трощенко помолчал. — Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена.

— А за сколько вы купили этот лес?

— Это дело десятое. Мой товар — моя и цена.

— Хорошо! — сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. — Я согласен.

— Что-то больно легко соглашаетесь, — промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар. — Прошу!

— Спасибо. Только что курил.

— Деньги-то у вас есть? — вдруг грубо спросил Трощенко.

— Будут.

— Царствие божие тоже будет. Когда мы помрем. Я о живых деньгах спрашиваю.

— Я вам выдам вексель.

— Подо что? Под эту усадебку? Да ей две тысячи — красная цена!

— Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

— Так-с!.. — протянул Трощенко и закурил. — Под музыку!.. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал — ушел, а следа-то и нету! — Он протянул к Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами. — Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра — дым! Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

— Наличных сейчас у меня нет.

— На нет и суда нет! И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор.

— То есть как? Вы же назначили цену!

— Обследовать еще надо. Лес обследовать. По-настоящему его оценить. Да, видимо, и несерьезное это дело. Кто же так договаривается — на ходу!.. Нет! — сказал он резко. — Пустой разговор! Ежели бы завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился.

— Да вы что, — сказал Чайковский, и лицо его пошло красными пятнами, — в своем уме?

— Мой ум всегда при мне. Я не в эмпиреях живу.

— Вы просто маклак!

— Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать! — зло сказал Трощенко. — Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты. Честь имею кланяться!

Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.

«Всегда я так! — подумал Чайковский. — Вспылю, наговорю резкостей и сорву дело».

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в начавшийся по лесу стук топоров.

Дорога шла через поляну, где росла сосна «маяк». Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

— Придется ворочаться на большак, Петр Ильич, — сказал кучер.

— Езжай! Я пешком пройду.

— Эх, обормоты! — вздохнул кучер, подбирая вожжи. — Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело — валить сначала большие дерева, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст...

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачной желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, — от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал.

— Подлость! — бормотал он. — Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что принадлежит не только нам, но и им по праву. Вот они где, «промотавшиеся отцы»!..

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота.

После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса и бессонная ночь — все это состарило его на несколько лет.

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние! Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве.

Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы, или нет. А сегодня это невозможно. Нет покоя — значит, нет радости. Нет ничего.

Дома он приказал слуге укладывать чемоданы..

Слуга сразу ожил:

— В Москву, Петр Ильич?

— Пока в Москву. А там будет видно.

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. «Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней...» А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь, как сплошная гостиница, где за все — равнодушную заботу, покой, возможность создавать свои вещи — надо платить в срок и по дорогим счетам.

Хищники, тупицы прибрали к рукам его страну. Придет ли на них управа? Должна прийти. Он верил в это. Но когда? Хотелось дожить до дней расплаты. Когда же, наконец, взойдет над Россией «звезда пленительного счастья»? О ней он часто думал. И он,

помолодевший, радостный, быстро и легко поднимется на дирижерский пульт, и оркестр в пятьсот, в тысячу, в две тысячи инструментов возьмет одним дыханием первые ликующие ноты его последней симфонии.

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился: одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.

Он резко захлопнул крышку — резче, чем следовало, — встал и вышел.

А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал, — никого! И сторожиха, должно, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну.

— Та-а-ак! — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил.

Ухала и сотрясалась земля: Трощенко валил лес без устали, без срока.

«Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна, — подумал Василий. — Отступился. Улетел. А мне здесь жить одному, в разорении».

Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенке.

— Хозяин здесь?

— А тебе чего? — глухо спросил Василий. — Чего надо? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень?

— Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой.

— Я этих мест хозяин! Я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу!

— Ты что, очумел?

— Уйди от греха! — тихо сказал Василий и замахнулся на Трощенко. — Нашелся распорядитель! Волчья сыть! Кровосос!

— Ты не того... — пробормотал Трощенко. — Не очень... Болван!

Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул.

За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом — еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях...

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Пахло чернилами. Крашеные полы были стерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного воспоминания о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

— Анфиса, глаза испортишь! — кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

— Сейчас, — невнятно отвечала Анфиса. — Только дочитаю до новой главы.

— Да ты мне вовсе и не нужна, — примирительно говорил Николай Никитич. — Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плошки.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли.

«Мечтательница, — думал Николай Никитич. — Ох, и хлебнет же она горя в жизни. Подумать страшно. Ох, и хлебнет!»

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел советоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой — городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сентиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, «практической складки». Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвесть. Например, мак. Чуть подует ветерок — и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить — внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

— Непонятно мне, — сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне, — в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений.

Люблю ту человеческую деятельность, какая дает осязательный результат.

— В вас она и вышла! — сердито ответила Нина Порфирьевна.

— То есть как это? Не понимаю, — удивился Николай Никитич. — Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается. Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!

— Садовод-то вы садовод, — возразила Нина Порфирьевна, — а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный.

— Это для услаждения глаз, — неуверенно объяснил Николай Никитич. — Вы поглядите на эти колеры — от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

— Как называется? — строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

— Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

— А какой же осязательный результат? — неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

— Не пойму, чего спрашиваете?

— Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

— В жизни ни единого цветка не продал! — торжественно ответил Николай Никитич. — Только дарю.

— Эх, вы! — сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми. — Гордитесь, что подружились с композитором Аренским, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Вот и все.

— Так то искусство... — робко возразил Николай Никитич.

— А театр — не искусство? — спросила Нина Порфирьевна. — Как вы думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечерком, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» — подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад; надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, кутается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

— Что ты, дочка? — спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе. — Никак заболела?

— Ничего, — ответила Анфиса и туже закуталась в платок.

— Что ж ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку.

— Что с тобой? — тихо сказал Николай Никитич.— Что это ты плачешь?

— Папа! — Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу.— Старичок ты мой милый!

— Ну что ты... — растерянно бормотал Николай Никитич. — Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

— Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

— Поживем — увидим, — ответил Николай Никитич. — Не завтра же ехать, а к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно, надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копаться в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

— Непонятная нынче молодежь... — тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

— Брось, дурочка, — сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась. — Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно заплаканным глазам, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом — надо было собрать старику ужин.

РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля уже не был больше трех лет.

Первое, что он увидел, — это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили «по-цыгански».

Городок показался Коле после нескольких лет жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем «клопами» — мальчишками и девчонками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и глядел с восхищением на Колю:

— Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

— Да уж посмотрел...

— Тащи вещи на таратайку.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то, что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

— Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, эмку.

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов.

С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, «овражность» была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году; опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

— Я уж и веру потеряла, что ты прилетишь, — говорила Нина Порфирьевна. — Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

— Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи: школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми

марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана... Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые вещи мальчика, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расставаться с этими вещами. Они, конечно, одряхлели, но он был благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они пролежали там уже несколько лет.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он был бы совсем другим и никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому так пристрастился. Может быть, никогда бы не был лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы работе, рассчитанной на десятилетия, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

— Как здоровье, Марьевна? — прокричал Коля.

— Шибче говори, — сказала Марьевна. — Шибче! Я с летошнего года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучих и сочных цветов портулака, и позавидовал муравьям: живут среди цветов,

трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться.

Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, заложенными вокруг головы.

— Анфиса! — крикнул Коля. — Неужто ты?

— Я, — низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. — Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

— На все лето. Буду работать на овражной станции.

— А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купанья.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе Коли.

— Вот папа обрадуется! —сказала Анфиса. — Он у меня совсем стал старенький.

— А как сад?

— Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь «анфис». Похоже на «анис». — Она засмеялась. — Пойдем сейчас к нам.

— Ну что ж, — согласился Коля. — Я только выкупаюсь.

— Ну, иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но чтобы броситься вплавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

«Зной,— подумал Коля. — Как хорошо, что я встретил Анфису!»

Анфиса сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву к Анфисе. Она смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню «анфис» и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.

А какие только разговоры бывали за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал — не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил «цветочные часы». Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах — «засеках», которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами — пращурами нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или «засекали» так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

— Теперь, конечно, — говорил Николай Никитич, — засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни

названия. Вот, например, Козлова Засека около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубки сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

— Вот, — говорил Аренский, — дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубили этот лес, Чайковский подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно человек загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

— Вот я, к примеру, — говорил Николай Никитич, — очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает и дает пищу для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались Коле чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами.

Поэтому Коля, подумав, решил идти в Лесной институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.

А сейчас Николай Никитич затеял разговор о курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по «овражному делу».

— Хвалю! — сказал он. — Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады бы разводила. Мало на земле растительности — от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли отхватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес — так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

— Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз так случалось, что в это же время

оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

— Прощай, Анфис! — крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице. Половину дома занимала аптека, половину — станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь — весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора были частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем — подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки устраивают в кассах.

— Абрам Борисович, — говорил Смышляев, — это же не постоялый двор! Надо что-то делать.

— Вы, очевидно, полагаете, — ответил пронзительным голосом Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет, — что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же черно-зем! — крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства. — Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

— Подойди сюда! — приказал Абрам Борисович.

— Ой, батюшки, страх какой! — сказала молодайка и бесстрашно подошла к прилавку.

— Вот капли, а вот полосканье! — сказал Абрам Борисович. — Смотри не напутай. Покажи, которые капли.

— Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

— Покажи, а то не выдам лекарство!

— Неужто не выдадите? — насмешливо спросила колхозница. — Человек старый, а молодок завсегда обижаете. Хоть не ходи в аптеку.

— Вот! — сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева. — Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах, — он показал на смешливую колхозницу, — и еще чувствую себя нормальным человеком.

— Уж вы всегда так! — пробормотала колхозница, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то:

— Нигде нету нам проходу, молодайки, из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим возмущенным взглядом и сказал:

— Ну, знаете, это уже чересчур!

— Простите, Абрам Борисович, — пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле: — Никогда не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

— Работать полагается весело, — наставительно заметил Смышляев, — и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды.

Очень что-то быстро сохнет земля... — Смышляев помолчал. — Кого бы дать вам в подручные?

— Я сам найду помощника, — ответил Коля. — У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится.

— Ну и чудно! — согласился Смышляев.

Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль...

Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

— Тебе холодно? — спросил Коля.

— Нет. Это так...

— Загрустила?

— Нет... Или да. Загрустила. Вот ты уже три года живешь в Ленинграде. А я один только раз и ездила. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

— Завтра начинаю работать, — сказал Коля. — Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

— Один?

— Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

— Возьми вместо деревенского ребятенка меня, — предложила Анфиса. — Я справлюсь.

— Работа тяжелая.

— Я сильная. Вот смотри! — Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. — Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

— Хорошо, — согласился Коля. — Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

— Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни.

Анфиса встала, пошла в глубину сада. Коля остался сидеть на пороге.

Анфиса остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

ОВРАГИ

Обмер оврагов оказался делом трудным. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью.

Это были удивительные дни — под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена — веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты овра-

гов. Бывало Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич ее не отпустит в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

— Иди сюда! — крикнула она Коле. — Что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

— Что такое? — спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

— Лиловый сон!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание, — столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутанны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что

урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что здесь половина земель заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом и вишневыми и яблоневыми садами, и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и напиться чаю.

Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака и, казалось, задевали и покачивали на его краю сухую траву, и спросила:

— Как же мы отсюда выберемся?

— Это что! — хвастливо сказал Кузя. — Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень — и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают.

— Это ты брось, — заметил Коля. — Какие теперь разбойники!

— Сам я их не видал, врать не буду, а слыхать — слыхал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу — гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись — только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался.

— Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым — и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и, наконец, приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас педаль отпустил.

— Что это? — испуганно спросил Кузя. — Никак гром?

— Непохоже на гром,— ответил неуверенно Коля.— Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

— Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина сыпалась комьями из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

— Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

— А у тебя есть отец.

— Это не то, — промолвила Анфиса. — Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить... обо всем...

— А со мной?

Анфиса покачала головой:

— С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: «почему?» — но сверху хрипло закричал Кузя:

— Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

— Анфиса, скорей! — быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага, чтобы зря с ними не таскаться.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

— Скорей! — умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверху, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва — далеко ли еще взбираться, — Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза — темные, напряженные — смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

— Что? — спросил Коля.

— Темно... как ночь! — крикнула Анфиса. — Мы успеем... до дождя. Не волнуйся!

«Что она кричит? — подумал Коля. — Какая ночь?.. Ах, да!» Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далях.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, подымаясь все выше, грязный пенистый поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

«Сон это, что ли?» — подумал он и застонал от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

— Что ты? — крикнула Анфиса. — Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

— Тут шалаш, землянка! — прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели

спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с Анфисой, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.

— Какие молнии! — сказала Анфиса. — Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

— Гроза будет затяжная или короткая? — неожиданно спросила Анфиса.

— Не знаю, — ответил Коля.

— А как бы ты хотел? Чтобы была затяжная?

— Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью, — ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

— Зачем? — испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

«Ну и наломала гроза хворосту! — подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. — Должно, опять повалило мамашин забор».

Каждый раз после грозы забор заваливался, и Кузя его чинил. Прямо надоело!

На главной улице Кузя увидел огромные булыжники, вывернутые дождевыми потоками, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел, — дело было серьезное.

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она опять скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции, — только беречься, не поднимать тяжестей, не надрываться.

Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

«Низкая гроза, — определил Николай Никитич. — Ох, и будет же хлобыстать!»

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и пря-

тались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался необыкновенно белым на аспидном небе.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше чем в ста шагах.

«Как бы сад не подрыло!» — подумал Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут всё на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

— Подмывает! — крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, заливала глаза, и Николай Никитич плохо видел. Внезапно он вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку.

— Анфис! — крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ныла острая боль. Иногда она затихала, а потом снова начинала ныть. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до крика, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад — посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада не было. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что была Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, строго посмотрела близорукими глазами на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда!» Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к Нине Порфирьевне, но не решился.

Вошла знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя:

— Как раз по нему.

— Коля! — позвала из-за двери Нина Порфирьевна.

Коля подошел к двери, отворил ее.

Нина Порфирьевна сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван: косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

— Коля, — спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису, — пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней... — Нина Порфирьевна помолчала. — Теперь Анфиса будет жить у нас.

— Не надо! — прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

— Ну, ничего... — Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. — Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал:

— Многое я испытал, но еще не видел такой грозы.

— Я хотя и привык, — добавил Абрам Борисович, — но, между прочим, каждый раз волнуюсь.

— Народ наш — мечтатель,— заметил Смышляев.— Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья — от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.

— Дело жизни! — вздохнул Абрам Борисович.

— Да, овраги... — задумчиво сказал Смышляев. — Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

— Недурно! — рассердился Абрам Борисович. — Когда же это кончится?

— Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размывов больше не будет.

— Сказка Андерсена! — пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: — Не могу выбить из себя скептицизм.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь слой равномерных облаков белым пятном светило солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

— Пусть побудет одна, — вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. — Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу — самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию, — и спросила Смышляева, почему он выбрал себе эту профессию.

— Это у меня от матушки, — ответил Смышляев. — Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом — мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню. И меня с собой брала. Там леса. Бывало приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес — прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы было видно черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как что-то неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить такое время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Коля, просыпаясь по ночам, напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи

РЕЧНЫЕ ФОНАРИ

Писатель Леонтьев только что возратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих, болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лéсов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению — будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда он меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо — и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго

смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что он может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ему ничтожной, недосказанной и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но нет упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев не мог сидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло наружу, на воздух, к Неве. Счастье его, что он жил в таком городе, как Ленинград, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самым воздухом и перспективой ленинградских улиц.

Сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей.

Сначала он, конечно, изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос. Всегда они у него идут по «затухающей кривой». Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорей от них избавиться.

Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился.

Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь, — прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над грудами темной зелени.

В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полоску. Она не таяла. Полоска эта как будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство.

Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то особое — очень светлое и плодотворное — состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно.

Потом он с полной непоследовательностью подумал, что есть особая прелесть и в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них рождается поэзия.

Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть, они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна:

Ты счастие! Ты радость прежних лет!
Весна моей мечты далекой...

Прозаик по самой своей сути, человек медлительный, немногословный и простой, Леонтьев считал поэзию волшебством. Поэтам он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому — неожиданно и резко — передавать давно знакомые ощущения.

Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражение «навстречу заре» — вовсе не затасканная, старая метафора. Если вглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье заключено и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко, на четвертом этаже, слышен из открытого окна детский смех.

«Черт возьми! — подумал Леонтьев. — Как бы это собрать свои мысли и привести в полную ясность?!»

Единственное, что он ощущал, — это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих

мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.

Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.

Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.

Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками — известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми, будто тени. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.

«Какую она книгу читает?» — подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить ее об этом, но девушка обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами — такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок, — и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось — на обложке Леонтьев прочел: «Алексей Толстой. Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо — тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.

Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной пристани. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман начал осторожно выползать серыми струйками из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было

И тут, наконец, Леонтьев понял, что все эти его разрозненные мысли по существу являются мыслями о своей стране и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице этой страны. Ленинград был одним из лучших ее обликов, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.

Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать: о России. Она сейчас ему представлялась обширным миром поэзии, еще не до конца показанным поэтами, писателями и художниками. Да полно, можно ли эту поэзию показать до конца? Конечно, нет. Она неисчерпаема. Но он должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи — небывалой и удивительной.

Как, каким путем он это сделает? Это в конце концов было уже не так важно. Он твердо знал, что сделает.

Он лег на боны, зачерпнул невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом.

Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты.

ДОРОЖНАЯ КНИГА

Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад, из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось.

Ока волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению.

Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустынна.

На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир «Ко-

чегар» с четырьмя баржами-нефтянками и ни разу не коснулся дна.

— Шалит река! — виновато говорил бакенщик капитану. — Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекат меряю, переставляю бакены. Да за этой рекой разве угонишься! Чуть оглянулся, а она — пожалуйста! — завалила уже песком весь фарватер.

— Нарочно в Залесье задержались, — с отчаянием сказал капитан, — чтобы проскочить этот проклятый перекат засветло. И вот — нà тебе! Проскочили!

Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался.

— Твоя собака? — спросил капитан бакенщика.

— Моя. Дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прямо сипнет от злости, как их увидит. И чего ей дались те моторки, не пойму!

— Что-нибудь да есть, — сказал капитан. — Не без причины.

— Известно, не без причины! — радостно согласился бакенщик.

Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы не было неприятного разговора о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины.

Пожалуй, верно: вины нет. Не может же он каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место!

Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет, чего в ней теперь больше, воды или песка! Вот, месяц назад, села на мель беляна у Ближних Полян, а сейчас уже намыло вокруг нее целый остров, и с того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу.

— А вокруг беляны-то, — спросил капитан, и бакенщик даже поежился: опять начинался старый разговор, — той, что у Ближних Полян, небось лоза уже выросла?

— Это верно, выросла! — с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет.

Он помолчал и, наконец, спросил капитана о том, что его давно беспокоило:

— Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова.

— Почему пустые?

— Я так полагаю, что не в распределении дело, а бесперечь сохнет земля. Вода куда-то девается, шут ее знает!

— Что ты путаешь! — рассердился капитан. — Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось — и дожди те же и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят.

— Правильно!

— А почему такое явление? Не соображаешь? Потому что голо кругом, — капитан кивнул на песчаные берега. — Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут было раньше, забыл?

— Лес, конечно, был, — ответил неуверенно бакенщик. — Ха-а-роший лес! Семь верст до небес — и все лесом.

— Вот то-то! Лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса — не надо нам никаких плотин. Понятно?

— Понятно, — пробормотал бакенщик.

Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом, в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода.

Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в театральной студии. Поселилась Анфиса в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва: ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень широко, жаркие, до слез, споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели, — от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать.

«Чтобы быть хорошим актером, надо почти все знать, понимать и прочувствовать» — таков был закон студии. Анфиса много читала, бегала по музеям.

Стипендии Анфисе не хватало, и она немного подрабатывала: помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала.

Но все искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет — то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски, — все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и наконец начнется спектакль, — то удивительное зрелище, к которому Анфиса долго не могла привыкнуть.

С Колей Анфиса переписывалась редко.

Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала: решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани, и обратно.

«Вернусь и, если останется свободное время, поеду в Ленинград», — решила она, хотя хорошо знала, что свободное время останется.

На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с седеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами, — ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко — больше усмехался.

— Сидим? — спросил Леонтьев Анфису.

— Сидим!

— Люблю речное плавание, — хитро сказал Леонтьев. — От торопливости, говорят, жизнь сокращается.

Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую книгу. Называлась она: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область».

Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь.

Он читал и работал на палубе так же спокойно, как, должно быть, у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало — ни разговоры поссажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы.

Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов, что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом.

Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту.

На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца мальчишки, махали пла-

точками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал:

— «Рылеева» не видали?

— Следом идет! — отвечали с мостика.

— Там у меня зять механиком!

— Чего?

— Зять, говорю, механиком!

— С чем вас и поздравляем, папаша! — кричали с парохода.

Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него; девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились, прядая ушами; дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного.

Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. С лугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался — за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты — антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет.

Книга «Россия», которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения.

В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тян-Шанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий.

Обширный этот труд был интересен тем, что, помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, «заштатных», но даже все села и деревни.

Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые со-

ставители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям.

Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов «России». Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов это была первая географическая энциклопедия России. Она давала представление о стране в те времена, когда в России развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в Донецких степях.

Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными.

«На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах (Козловском, Липецком и Раненбургском), находится село Старая Казинка, бывшая в начале XIX века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788—1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал «Утренние часы» и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795 году по доносу козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден.

Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете.

В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора оперы «Алеко» и ряда других произведений».

Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать:

«В семи верстах выше устья реки Красивая Меча расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце XVII века, по свидетельству синодика, хранящегося

в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назначен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был «вершать» разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал «караул» и сказал за собой «государево слово». Допрошенный Троекуровым, он сказал, что если ему помогут сделать крылья как он укажет, то он будет «летать, как журавль». Крылья были сделаны «по указу великих государей». Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему дозволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь «раскручинился», приказал бить мужика-журавля батогами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество».

Выписав это место, Леонтьев улыбнулся: до чего чудесный народ — неспокойный, талантливый, золотые руки! Как знать: если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, вышел бы толк.

Чтение «Географического описания» навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе — ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера — каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.

В предисловии к то́му «Среднерусской области» с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский, капитан Головнин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие.

«А мы? — думал Леонтьев. — Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников — уроженцев этой же области».

Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов, Циолковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков-Прибой, Гайдар, Пришвин, Вересаев, поэты Асеев, Есенин, художник Архипов...

Для этой работы нужно было создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.

Это была работа на много лет — захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок, пожить в нем и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть «в натуре».

Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.

Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем больше эта поездка казалась ему и необходимой и заманчивой.

Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.

Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.

Никогда он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:

«Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с ве-

ликим трудом дал мне среднее образование. А затем — с семнадцати лет — я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда».

Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского «В лесах», он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.

— Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? — спросил он Анфису. — О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова — Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.

— А отец? — спросила Анфиса.

— Ни отца, ни матери я не помню. Я с трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый. Но с воображением. Уважал науку. Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено.

— Как же он дал вам образование? — удивилась Тата.

— По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне «Кержак». Детство, в общем, было невеселое.

Засухи, голод, «черные бури». Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.

— Он умер? — спросила Анфиса.

— Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку: очень гордился. Надо бы съездить к нему на могилу, да вот все некогда... Да, — сказал, помолчав, Леонтьев, — невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховеи. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце — красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда от туч налетал ветер, и, помню, шумели хлеба,— сухо, мертво, как жестяные.

Да... Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза у него были такие, что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди! — говорили. — И так дыхать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши господь постановил испепелить эту землю на пять аршин в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба и все погибнет. Спасутся, кричал, только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, мочит землю!»

Сначала мужички наши уперлись. «Чего нам каяться! — говорят. — Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамоново от нас в шести верстах), не грешили». А монах все кричит, что, мол, надо отслужить молебствие о ниспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село.

— Средние века! — сказала Тата.

— Да, — согласился Леонтьев. — Мужички наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опахали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят.

— И вы опахивали? — спросила Анфиса.

— И меня отчим заставил. Мы волочим соху, монах идет рядом и покрикивает: «Помолимся, православные! Во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернуло ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и мы видим: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.

Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями на бугор среди полей, — с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и начал: «Миром господу помолимся...» Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.

Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу, хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: «Вот, православные! Услышал господь мо-

ления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия». Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: «Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола! Спасибо!»

— А что же это было? — испуганно спросила Тата.

— Погодите. Я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей — и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно — и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: «Где монах? Народ замутил, накликал беду, косматый!» Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник бубенцом.

Тата засмеялась.

— Да!.. — вздохнул Леонтьев. — Все поля занесло песком, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочку. Мужики подумали — да и снялись. И ушла наша деревня на правый берег Волги — искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть...

Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.

«НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ»

Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису и Тату и еще одного пассажира — молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.

Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.

Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. Он работал в числе многих других инженеров над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга — действительность.

«Работа исполинов!» — думал Леонтьев.

Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик суетливая старушка. Она везла в Горький к своей дочери внука — толстощекого мальчика с сонным лицом.

— Можете себе представить, — трещала старушка, — сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она бы сошла с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то, можете себе представить, что будет с Соней.

— Чего вы волнуетесь? — заметил инженер. — Добро бы ехали по делу!

— Ну, знаете! — воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку. — Каждый думает, что он делает самое важное дело. Ваша Волга не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.

Инженер пожал плечами:

— Я не собираюсь останавливать Волгу.

На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий.

— Буксир! — крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.

За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом сосал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.

Когда пароход сняли с мели, то оказалось, что у него поломаны плицы на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на «Рылеева», который идет следом.

Почти все пассажиры перешли на «Рылеева». Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины — инженеры с текстильной фабрики.

Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиным двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.

Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое.

Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.

— Этот лесничий, — сказал, наконец, Леонтьев, заканчивая третью порцию, — совершенно замечательный человек! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.

— Ну как? — спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.

— Что «как»? — ответила Тата. — Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.

— Подбросят, — пообещал Леонтьев. — Там лес, говорят, заповедный.

— Я толком и не видела настоящего леса... — грустно призналась Анфиса. — Наша область безлесная.

— А вы откуда?

— Я из-под Курска.

Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.

— Да у Марии Трофимовны! — подсказал пожилой шофер. — Она в отпуск уехала. Комната пустая.

Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным уличкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.

Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину с наигранной яростью.

Анфисе все здесь нравилось: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.

Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.

— Где же ваш лес? — спросила Анфиса Баулина.

— А вон синеет!

Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.

Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.

Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.

В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна старуха или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.

Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро.

— Что ж так? — спросил шофер. — Вода у вас будто по карточкам.

— Ох, деточка, — вздохнула старуха, — покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное наше село.

— А где все? На работе?

— Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.

— Что ж вы пески такие развели! — шутливо попрекнул старуху Баулин.

— Ох, деточка, — запела старуха и заправила под платок седые волосы, — пески у нас великие! Как солнешный день, так продыху нет. Калятся от солнца и все сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот — не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет и ползет — хоть переноси деревню на новое место.

— Сами виноваты, — сказал Баулин. — Сосняк рос на песках — вырубили. Начали скот на порубке пасти. Скот всю землю истолок — вот тебе и пошли пески. А теперь жди, покуда их остановят.

— Ты меня не вини, — испуганно сказала старуха, — это мужиковское дело. Кабы наши мужики знали, что стрясется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче все разъясняют. А ране кто нам мог разъяснить? До советской власти? Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал — не разбери господи, чего и кричит. Такой уж нам попался.

От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке де-

вочка лет пяти и, затаив дыхание, смотрела во все глаза на Анфису и Тату.

Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажала кулаками глаза.

Конфета была спасена, и девочка успокоилась.

Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла.

— Наша работа, — сказал Баулин. — Закрепляем пески. Они здесь летучие.

Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.

«Да! — думал Леонтьев. — Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи... Скитаться и утром и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины и глаза их кажутся золочеными от заката... И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычанье коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета».

«Об этом всем буду писать, — думал Леонтьев. — О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа».

— Головы! — крикнул Баулин.

Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы.

Тотчас в лицо подуло лекарственным холодком.

— Вот и лес! — сказал Баулин.

— Анфиса! — крикнула Тата. — Смотри, что делается!

Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки.

Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они несутся — летят в неизвестную страну.

— Как здорово! Ах, как здорово! — вскрикивала Тата.

Анфиса наклонилась к окну кабинки и спросила:

— Хорошо, Сергей Иванович?

Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.

На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.

— Перекурка! — сказал шофер. — Мотор греется.

Баулин предложил подняться на вышку, чтобы посмотреть оттуда леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на верхнюю ступеньку перед собой. Вышка была высокая — не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.

Баулин полез первым, за ним — Леонтьев, а позади — девушки.

Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее на машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.

Вершины сосен покачивались рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.

На верхней площадке вышки их встретил объездчик — веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль.

К дощатому столу была приколота кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной и на платке лежали коржи из ржаной муки.

— Угощайтесь, — предложил объездчик. — Малина наша, лесная.

— Спасибо, потом, — торопливо ответила Тата. — Сначала посмотрим.

Она подошла к перилам вышки, села на нестроганый пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес.

Анфиса села рядом с Татой. Океан хвои колыхался вокруг. Парили ястребы.

— «И нет конца лесам сосновым...» — неожиданно сказал Леонтьев. — Не то я выбрал себе занятие. Мне бы быть объездчиком, лесовиком!

Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал:

— Ну что ж, пожалуйста! У нас есть временно свободное место.

— На девятом кордоне, — подсказал объездчик. — Заместо Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болота...

— А что ж! — ответил Леонтьев. — Пожалуй, сговоримся?

— Сговоримся, — согласился Баулин.

Анфиса думала о Коле. Через год он окончит Лесной институт и будет работать в таких вот местах. И, может быть, она... Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей только было грустно, что Коля не сидит рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она и попадет с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но не этот, а другой.

А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить с начала.

Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные.

Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет.

Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. Оказалось, что это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что простругали рубанком. Внутри пахло стружками.

Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила:

— У вас мыло земляничное? Или детское?

— Детское, — ответила Тата.

— Дадите умыться?

— Бери, мойся.

Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском.

— Вот это девочка! — засмеялась Тата.

А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась.

— Эй, Манька! — раздался издали сердитый женский голос. — Безобразница, сейчас же утрись! Чего выдумала!

— Сейчас, маменька! — пискливо крикнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода. — Вот спасибо! — сказала Манька, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла.

— Слушай, Анфиса, — сказала Тата, все еще смеясь, — что кругом за прелесть! Умирать не надо.

В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним — фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха — очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком.

Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста.

За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна и что означают эти два портрета — Чайковского и деревенской красивой старухи, висящие рядом в ее комнате.

— Мария Трофимовна — лаборантка в нашем лесничестве, — ответил Баулин. — А вы, оказывается, проницательная девушка! Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой и нет. Эта старуха — мать Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова. Тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее: и глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская. Сейчас Аграфена — бригадирша у себя в колхозе, в Калининской области. А ей уже шестьдесят лет, не меньше. Она дочь лесника, да и ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери. Уехала в отпуск.

— А Чайковский при чем? — спросил Леонтьев.

— Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке — по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя... знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же

сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание.

— Романтическая история! — заметил Леонтьев.

Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это было как раз в тех местах, где случилась эта история с Феней и сережками?

После обеда пошли в лес, в сторону девятого кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился:

— Не боги горшки обжигают! Как-нибудь справлюсь.

Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженой дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву.

Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот — копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать: они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник.

— Я все-таки не совсем понимаю, — сказала Тата, — в чем смысл заповедника.

Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни.

— В чем смысл? — удивился Баулин. — Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами. Для изучения. А затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду: на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы.

Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного. Но будет много. И называются они странно.

— Как? — спросил Леонтьев.

— Вы удивитесь, конечно. Называются они «лесами эстетического значения». Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье. Их государство тоже охраняет.

— Леса эстетического значения, — повторил Леонтьев. — Интересно!

Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула золотым боком какая-то рыба.

— Тут карасей развелось видимо-невидимо, — заметил Баулин.

— Вы знаете, — сказал Леонтьев, — я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые. Как солдаты в строю.

— Старый спор! — усмехнулся Баулин. — Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека и его вмешательство приносит только вред.

— Я этого не говорю.

— Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности

древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу! Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить.

— Вот энтузиаст! — сказала Тата. — Разве человек может исправить географию?

— Не только может, а просто обязан.

Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград — Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи.

Поезд проносится через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом синий лес встает впереди. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чащу листвы, цветов, трав и солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере — там он неотделим от хмурых пространств, — влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого южного моря.

— Это уже совсем не та Россия, что в толстых томах девриеновского географического описания.

— Да... — сказал Леонтьев. — Мне бы только дожить!

— До чего? — спросила Анфиса.

— До окончания одной книги. Понимаете?

— Не очень, — ответила Анфиса.

Но Леонтьев ничего ей не объяснил.

В лесу засиделись до сумерек. Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край, в туманы.

В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе, как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь земле через сотни световых лет, как безмолвный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой.

На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качелях. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища.

— Темнеет, — сказал Баулин. — Пора домой.

Анфиса подумала, что пора не домой, а пора остаться здесь, лицом к лицу с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката.

Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество.

МАТЬ И ДОЧЬ

Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди, и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилось, и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были далеко видны с бугра, где стояла деревня Бартенево — родина Марии Трофимовны.

Мария Трофимовна ходила в луга вместе с матерью Аграфеной Тихоновной убирать сено. Сенокос запоздал из-за дождей. Надо было пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны.

Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя, изводит тяжелой работой.

Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые подолы и платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками — колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу.

По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с Аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на самом юру. С него, по словам Аграфены, было

видно «половину России». Действительно, вид был широкий: за лугами блестела извилистая речка, за ней желтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес.

Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался, и начинался неторопливый, спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолкшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза.

В усадьбе, где жил когда-то Чайковский, невдалеке от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Раз в месяц старые музыканты устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него Аграфену — единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе, и Мария Трофимовна была на нем вместе с Аграфеной.

Аграфена начала волноваться за несколько дней до концерта, дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как Аграфена ворочалась на постели.

Ночь тускло светила в окна. От печки пахло теплой глиной. Сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала. О чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем: любимую работу, дружную семью, искусство и многое другое; но ей казалось, что это мало. Что же нужно еще? Она хорошо знала, что для полноты счастья нужно еще что-то, но это «что-то» все время ускользало из ее сознания. И, только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это «что-то».

Это всегда оказывалось нечто самое простое, привычное, но все же удивительное. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и очень отдаленный, пока Мария Трофимовна не дога-

дывалась, что у оконного переплета спокойно горит звезда.

«Звезда полей,— думала она.— Путеводная звезда». И ей уже виделось сквозь сон, что она идет ночью под этой звездой по луговой дороге в маленький глухой городок и знает, хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что она идет к самому любимому человеку, она несет ему свое сердце, и если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния.

Глухой городок. Там сторож отбивает на колокольне часы и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница и этот городок сейчас для нее самые родные места на свете, потому что она знает: здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды.

Ведь это же ей, ей он сказал: «Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет».

Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце оттого, что он не знает и никогда не узнает всей силы ее любви. Потому что он давно умер, ровно сто лет назад убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив... Если бы он был жив...

Аграфена вполголоса спросила: «Ты что не спишь?» Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте.

Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное от них осталось и наполнило все ее существо тем «что-то», что и было, должно быть, счастьем.

Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала нарояднее. Потом Аграфена достала

с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским.

Мария Трофимовна осторожно перемыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня.

Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела, — сережки ей очень шли.

— Вот помру, — сказала Аграфена, — останутся эти сережки тебе. И ты их носи, не снимай. Они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их и сейчас тебе отдала, да нельзя: дареное при жизни дарить — обидно это тому, кто дарил!

На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахрому нарядной шали, черной с алыми розанами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые строгие глаза.

«Глаза строгие, — думала она, — а сам-то был такой уж добряк, что другого такого не сыщешь».

Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки поблескивали в ее загорелых темных ушах.

Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь.

Постепенно одна мысль завладела Марией Трофимовной — мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее.

«Этого ты хотел? — спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского. — Да? Этого? Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет, не тускнея. Потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано, — стремление к совершенству».

С концерта возвращались поздно. Была вся в звездной игре холодная ночь. И этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным — не то что загадочным, а новым.

Чуть белели песчаные косогоры в лесу, и с озера, со стороны Рудого Яра, долетел протяжный и непонятный звук, как будто там трубил лось.

— Никогда еще я так не отдыхала! — сказала Мария Трофимовна. — Тебе не холодно, мама?

— Неужто я не привыкла? — ответила Аграфена.— Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься, Маша, хоть на вид ты и строгая. А это, говорят, худо: от этого люди меньше положенного срока живут.

— А иначе и жить не стоит, мама, — ответила Мария Трофимовна.

— Да оно, пожалуй, и так, — засмеялась Аграфена. — Без интереса, без любви — куда уж хуже!

ГЛУХОМАНЬ

Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз.

«Так-так, так-так!» — торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием протрещал сверчок и замолк.

Эти звуки существовали рядом. А за стеной избы — дальним планом — проходил непрерывный гул: медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес.

Голова была свежая, спать не хотелось.

«Ну вот, — подумал Леонтьев, — сбылось, наконец, то, о чем я мечтал!» А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы.

Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с девятого кордона, Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне —

никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагало к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий, и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле.

Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников: соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова от выветривания, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора.

Да, сбылось!

Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования — без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте.

В первый же день Леонтьев чисто вымыл сторожку. Вода была рядом, в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал из озера воду и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сделает на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн, — Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде.

Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной.

Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать.

Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников.

Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставец в углу, книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось.

Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что

удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить, а потом выпарить, и получится пушистая и белая столовая соль.

Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетенные из лозы вентеря, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. «Какая почти невесомая и красивая вещь!» — подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилища. Все было исправно, сделано «на совесть». Хороший, должно быть, мужик этот Прохор Стерлигов!

Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки.

Он накидал в самовар сосновых шишек. Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела.

Леонтьев вытащил ухватом из печи чугунок с готовым кулешом и пошел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения.

Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот.

«Робинзон и Пятница!» — подумал Леонтьев и усмехнулся.

Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами.

Густой туман курился над болотцами. Он был так резко ограничен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане.

Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину, все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безыменные озера, пущи, отрезанные

от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверно, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные дороги — весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывала, все прятала тихая темнота.

Странно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере — желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета. Но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому что эту яркость придаст им роса.

В этот вечер впервые после многих лет Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как ни мучился, передать множеством слов.

Он подумал и написал:

«Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и единственно жалеешь о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать!»

Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать не задевая кота. А прогнать кота он не решался.

Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им надо было уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань.

Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем по существу не любимый, а это очень плохо. И он, печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка написал.

На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой.

С первого же дня он начал работать: прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста.

Леонтьев начал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал.

Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз — и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара.

Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока.

Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской и, говорят, писатель, а обходительный человек и, глядя по рукам и комплекции, мужик сноровистый и здоровый.

Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на «светлый кордон», а на «самый глушняк». Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку, — больно он был духовитый.

Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал:

— Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, заскучаете.

— Ну вот, — огорчился Леонтьев, — уж и заскучаю!

Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать.

С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок.

Как-то, возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерлигов? Почему же его не предупредили?

Леонтьев подошел.

На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья.

Старика Леонтьев узнал: это был лесник с соседнего кордона, Евтей. А женщина была незнакомая. Но все же у Леонтьева отлегло на душе: Стерлигова с ними не было.

— Здорово, хозяин! — бодро сказал низенький старичок. — Все ходишь, а гости тебя дожидаются.

Женщина крепко пожала Леонтьеву руку.

— Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты... и новые правила пожарной охраны.

— Спасибо, очень рад, — сказал Леонтьев и смутился.

— Кстати хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница. И почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно.

— Я тоже так думаю.

— Скучаете?

— Нисколько.

— Что ж, это хорошо, — промолвила Мария Трофимовна и замолчала.

Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие и светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся.

Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар.

— А мы, милок, — сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца, — несколько заплутались. Даже удивительно! Весь этот лес я насквозь знаю, а тут — такая комиссия! Не иначе как леший запутал. Леший любит с нашим братом побаловаться.

— Будет тебе врать, Евтей! — сказала Мария Трофимовна.

— Зачем врать! — обиделся Евтей. — Ежели бы ты лешего встрела...

— А ты встречал?

— Милая, — огорченно воскликнул Евтей, — да я их всех в лицо знаю!

Мария Трофимовна засмеялась.

— Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь! — сердито сказал Евтей. — А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок. Вроде меня. Только у меня черный волос еще кой-где остался, а он весь сивенький.

Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась.

— Они, лешие, любители ночью к кострам подходить, — спокойно объяснил Евтей. — Подойдет, обопрется на посошок, посмотрит, скажет: «Ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее. А то долго ли до беды!» Заботливый старичок! Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется. Больше на ревматизм они жалуются.

— Правда, прелесть старик? — тихо спросила Мария Трофимовна Леонтьева.

— Кости, говорит, ноют, в плечо отдаёт, и надоело мне, милый человек, ваших баб по гущам пугать. Сказать тебе не могу, как надоело. Тут, конечно, спросишь его — вежливо, понятно, спросишь: «А зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон?» А он, понятно, отвечает: «Эх ты, а еще объездчик государственного лесхоза! Неужто не знаешь? Лес я от бабьей потравы стерегу. Бабам только дай волю — они все ягоды оберут, до последней, семечка не оставят». Ты, конечно, слухай его, но не прекословь. Я один раз посмеялся так-то над лешим, сказал ему: «У меня, говорю, как я есть человек, на руке пять пальцев. А вы, лешие, шестипалые. Что это означает?» А он говорит: «Это означает наше различие». А я говорю: «Спорить я с вами, гражданин, не буду. Может, это и для различия сделано, но только шестой палец вам ни к чему. Я со своими пятью управляюсь ловчее, чем вы с шестью». Он, конечно, рассерчал. Ка-а-ак ударит посошком по костру! Ка-ак загукает! Я вскочил — и давай лататы. С тех пор он на меня злобится. То с пути собьет, то лаптей старых на ветках понавешает невесть сколько, чтобы меня, значит, пугать. То шишкой запустит в загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, понятно. А я виду не показываю, что серчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладает. Я тоже старик тертый.

— Да тебя, Евтей, записывать надо! — воскликнул Леонтьев.

— Меня записывать — бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмешу людей — и самому весело. Когда человек смеется, он зла не сделает.

— Это правильно, — сказал Леонтьев.

Евтей обернулся к Марии Трофимовне:

— Слышь, что человек говорит! А ты меня коришь: «будет врать-то» да «будет врать»! Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет — гляди, и работа у тебя пошла веселее, и засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему.

После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла: «И свежий лес шумит при звуке ветерка...» Захлопнула книгу и сказала:

— Когда-нибудь дадите мне почитать? У меня с собой нет Лермонтова.

— Берите сейчас.

— Нет, потом.

— Вы любите Лермонтова?

— Больше всего на свете.

Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери и о Чайковском, но не решился, отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.

ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ

День был знойный. В небе как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле.

Ночь не принесла прохлады. Почему-то не выпала роса. Наутро, выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. «Заболел я, что ли?» — подумал он.

Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес. Где-то высоко прогремел гром. Подходила гроза.

Гроза была сухая. Короткий гром гремел все чаще. Молнии не хлестали в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом.

Лесные чащи напряженно гудели. С сухим треском обламывались сучья. Протяжно скрипели сосны. Потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора.

Самолет шел низко. Он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло. Потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький мешок с песком. К нему была привязана красная лента. Ветер подхватил ее, и она трепетала, как пламя.

Леонтьев подбежал к мешку. Сбоку, в кармане мешка, он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел:

«Немедленно сообщите в лесничество! На двенадцатом квартале пожар. Загорелось от молнии. Огонь верховой. Идет по ветру на северо-восток. Лечу на аэродром. Мешает гроза».

Леонтьев в первую минуту растерялся: бежать в лесничество или к месту огня? Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной. Только в случае, если ветер изменится, огонь может перебросить и к нему, на девятый квартал.

Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову: с лесных болот большими стаями летели дикие утки. «Спасаются», — подумал Леонтьев.

Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге.

Ветер усиливался. По временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился, и сердце у него заколотилось: в конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым.

Леонтьев побежал. Он пробегал сто — двести шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и бежал снова. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть, со скоростью десяти километров в час.

Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним — второй, третий...

Леонтьев закричал. Первый грузовик замедлил ход. Баулин открыл дверцу кабины и крикнул:

— Скорее! В кузов!

Леонтьев схватился за борт. Несколько рук протянулось к нему, его втащили в машину.

В машине тесно сидели рабочие, лесники, были навалены лопаты, пилы, топоры и метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву.

Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву:

— Пожар не верховой! Дым желтый. При верховом бывает черный.

«Тем лучше», — подумал Леонтьев. Он знал, что самый страшный лесной пожар — это верховой, когда деревья горят целиком, от вершин до подножия. При таком ветре, как сейчас, верховой пожар так стремителен, что на языке лесников называется «ураганным огнем».

При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты и молодые деревья. У старых деревьев огонь только опаляет нижнюю часть стволов. И в такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют «беглым». Он идет быстро и оставляет нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь.

— Что ж так мало людей? — спросил Леонтьев знакомого лесника.

— Уже все колхозы поднялись, все население, — ответил лесник. — Они тут будут часа через два.

Машины остановились в перелеске, затянутом дымом. С последней машины соскочила Мария Трофимовна. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву.

Уже вечерело, и сумрачное небо подернулось багровым отсветом пожара. Ветер все не стихал.

Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездчик, потный, весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не остановит.

— Остается одно, — сказал, помолчав, Баулин, — встречный огонь.

Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда услышали эти слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое «встречный огонь», но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей.

Баулин отдавал распоряжения коротко и спокойно.

Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий, во всю длину просеки вал.

В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее. Баулин торопил. Вал быстро рос.

Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал. Сверху набрасывали сухую хвою.

Потом сразу, одним ударом, из леса выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал.

— Береги-ись! — протяжно закричали издали.

Баулин приказал надеть противогазы.

Женщин отослали в глубину леса, под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала шагах в сорока друг от друга. Среди них стоял и Леонтьев. Все ждали.

Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал:

— Уходите в лес, к озеру. Туда, где все. Вам здесь нечего делать.

Леонтьев отрицательно покачал головой.

— Нельзя рисковать. Если бы вы были обыкновенным человеком...

— Я и есть обыкновенный, — глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза. — Оставьте меня в покое.

Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеки.

Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и вместе с каким-то непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо. Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе.

Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкару.

Он подумал об этом, но не двинулся с места. На лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья и листья, а еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц.

Когда он опустил глаза, что-то изменилось. Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом.

Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. С верхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подожгли вал.

Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара и, ревя и треща, ударило в небо.

Люди начали отбегать в лес. Мария Трофимовна пробегала мимо Леонтьева. Она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла.

Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь. расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше и от него уже никому не спастись.

Леонтьев вскрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебегал, затихая, вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено.

Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас?

Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно, Лесники ходили с фонарями.

Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет.

— Сергей Иванович, — оживленно сказал Баулин Леонтьеву, — а огонь-то подходил и к вашему участку! Если бы не просека, та, что вы расчистили, — сгорел бы и девятый квартал. В общем здорово справились!

— Не могу понять, — сказал Леонтьев, — почему встречный огонь погасил пожар. Раздули такой костер, что, кажется, пылал весь мир.

— Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу сгорает почти весь кислород, просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет... А теперь идите домой, отдыхайте.

— Сейчас. Вот покурю и пойду.

Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились. Кожа на лице. саднила. Руки были в смоле и ожогах.

Около машин сидели на земле лесники, рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И, говорят, огонь загнал в Линёвое озеро трех медведей; они еще сидят в воде и ревут от страха.

Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежее. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все же мутен, зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара.

Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна сказала всего несколько слов: похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объездчиках и почему кашляет — не повредил ли на пожаре легкие. У межевого столба они расстались. Мария Трофимовна пожала Леонтьеву руку:

— Не прячьтесь, приходите. Я буду вам очень рада.

Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас

лег и, засыпая, слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и запел.

«Так-так, так-так, так-так!» — стучали ходики, отмеряя время.

Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелколесья, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленький, черный, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке. Она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями.

— Куда идешь, дружище? — спросил офицер.

— В Пронск. А что?

— Да ничего, — ответил офицер. — Там у меня старики доживают свой век. Увидишь их — скажи, что я писать ленив... что полк в поход послали и чтоб меня не ждали.

Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул:

— Вы кто?

Офицер отступил, споткнулся, упал, брусника рассыпалась по траве, и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову. Из груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь.

— Скорее! — закричала Мария Трофимовна. — Подымите его!

Они вдвоем подняли офицера — он был легкий, как мальчик, — и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти.

— Вы что ж, любите его? — спросил Леонтьев.

— Больше всего на свете!

Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел, сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос: «Куда идешь, дружище?»

Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна,

пока, наконец, не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым.

Он достал с дощатой полки томик его стихов, открыл наугад и прочел:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень...

— Великан! — сказал Леонтьев и положил книгу на место.

К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна.

— Проведать вас приехали, — сказал, смущенно улыбаясь, Баулин. — Как вы тут после пожара? Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете.

— Пустяки. Немного горло першило. От дыма.

Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему в лицо строгими глазами и сказала:

— Я приехала за книгой... за Лермонтовым.

РОВНЫЕ СТРУЖКИ

К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке, в пяти километрах от девятого кордона. Леонтьев часто ходил на стройку.

Он несколько раз бывал на строительствах, привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебня и глины, навалу бревен. Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли окрестный лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывали для этого десятки дорог, как вздумается шоферам, и не обдирали без нужды деревья.

Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотников. Здесь он часто встречал Евтея.

Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно, с натугой, чертыхаясь, — то рвалась газетная бумага, то самокрутка расклеивалась и махорка высыпалась на землю.

Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтей обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил:

— Стучат наши дятлы!

— Стучат, — соглашался Леонтьев.

Чтобы стесать бревно, Федор сначала делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева, и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль.

— Здорово тешешь! — говорил Леонтьев.

— По-касимовски! — отвечал Федор. — Главное хороший струмент надо иметь. А обтесать — дело десятое.

— Глазомер еще нужен, — замечал Леонтьев.

— Как и во всяком деле, — соглашался Федор. — В твоем занятии тоже без глазомера ни черта не получится.

— В каком занятии?

— В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать, как книга притесана. Иная просто впритык, а иная заподлицо. Сколько ни гляди, а не отыщешь, где швы.

— Тоже труд великий! — вздыхал плотник Илларион — худой, болезненный, никогда не снимавший бараньей шапки. — Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни.

— А в чем оно заключается, — хитро спросил Евтей, — предназначение жизни?

Плотники перестали на минуту тесать, вопросительно посмотрели на Евтея.

— То-то! — сказал Евтей. — Предназначение жизни! Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Илларион, видать, мелешь — сам не понимаешь что. Какое, например, мое предназначение? Щи хлебать да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?

— Тебе виднее, — пробормотал Илларион.

— Вот и видно мне, — сказал Евтей, — что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что же полагаешь, что я за свою одну зарплату лес стерегу? Хватай выше! Я хоть и неученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтобы лес стеречь. Правильно! А кто этот закон выдумал? Человек. Вот я тебя и спрашиваю: для чего?

— Каждому это известно, — сердито ответил Федор. — Любому дураку ясно. Что ты нас спозаранку учишь! — Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал: — Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил, старый черт! Нам работа, а ему, видишь, побаски, развлечения! Профессор какой! Иди лес свой стереги. А мы и без тебя управимся, без твоей науки. Небось, полено расколоть не может, а суется указывать!

— Это ты еще не подрос — так со мной разговаривать, — спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал. — Я те покажу, как дрова умею колоть.

Он обернулся к Иллариону:

— Давай топор!

— Чего ты?

— Топор давай, говорю! Надо спесь с Федора малость сшибить.

— Это как? — спросил озадаченно Федор.

— А вот так! По часам. Часы есть? — спросил Евтей у Леонтьева. — Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешет. А потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа.

— Это ты брось, друг, — строго сказал Федор. — За каждое бревно я в ответе — не ты. Ты мне здесь игру не устраивай! Здесь не ярмарка.

— Значит, смущаешься? Не осилишь?

Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея:

— Ох, и распетушился ты, дед! Прямо наскакиваешь.

— Я не таких плотников, как ты, переплевывал, — сказал Евтей и снял старый пиджачок. — Знаменитости из себя не строй.

— Проучить тебя надо, вот что! — гневно ответил Федор. — Только потому и берусь. Ну, давай! Становись!

— Вот-вот! — закричал Евтей, засучивая рукава рубахи. — Давай!

Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор.

Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щепки летели все чаще. Одна из них больно ударила Леонтьева по руке. Он отступил. Илларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея.

Федор бил стремительно, нахмурившись, дышал трудно, со свистом. Евтей ухал и покрикивал:

— Так-то, касимовские! Так-то!

Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, слился в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие и подошли Баулин и Мария Трофимовна.

— Крой! — кричали рабочие. — Крой, Федя! Не отступай!

— Нас не перекроешь! — хрипел Евтей.

— Ну и чешет старик! Вроде мотор!

Рабочие хохотали.

Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замотал головой, — он не отрываясь смотрел на часы.

— Стой! — закричал Леонтьев и поднял руку. — Стой! Время!

Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб и сплюнул. Федор отбросил топор

и начал дрожащими пальцами свертывать самокрутку.

— Вот, товарищ начальник, — сказал, отдышавшись, Евтей и обернулся к Баулину, — глядите, кто больше да лучше стесал. Ваше слово решительное.

Все притихли.

— Чего там смотреть! — хрипло сказал Федор, ни на кого не глядя. — И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный.

— Давай руку! — воскликнул Евтей. — Я хоть и стар, а кое-чем располагаю.

Евтей и Федор протянули друг другу руки.

— Вот и хорошо! — засмеялся Евтей. — Я тебе отныне мешать не стану. Ни-ни! Ни капельки! Ты, Федор, своего дела, конечно, артист, только больно горяч.

— Ладно уж! — согласился Федор. — Приходи-ка к завтрему. Еще раз померяемся.

— Прийти можно. Мне вот охота и с Илларионом схватиться.

— Куда уж там! — смущенно пробормотал Илларион. — Мне бы свою норму обтесать — и то спасибо.

— Неужто меня не осилишь? — спросил Евтей.

Илларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал.

— Это как сказать... Может, и осилю.

— Куда тебе, Илларион! — снисходительно заметил Федор. — Против меня ты куда слабже. Не срамись.

— Это как сказать! — повторил Илларион. — Может, я и против тебя срамиться не соглашусь. Ты не суди, что я с наружности квелый. Я такой с малых лет.

— Растравил старик плотников, — сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как копер заколачивал в дно реки сваи. — Такой задиристый, черт, никому не дает покоя!

Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей вчера доложил в лесничестве, что километрах в четырех ниже плотины, на девятом кордоне, есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить.

Леонтьев пошел вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов

и журчанием воды около коряг. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса. Река уходила в лес крутыми поворотами. На рудых песчаных ее берегах над омутами густо цвел меж сосен розовый вереск.

Долго шли молча — Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна молча оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз про себя усмехался: вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может сделать ему замечание.

Так и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала:

— Что ж это вы? Не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил. Вроде как Федора.

Леонтьев пожал плечами и промолчал.

— Посидим здесь на берегу, — неожиданно сказала Мария Трофимовна. — Какая тут теплота! И тишина...

— Сказочная река, — сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной.

— Да... сказочная.

Мария Трофимовна помолчала.

— Вы скоро уедете?

— Недели через две. Стерлигов выздоровел, на днях возвращается.

— А почему бы вам не остаться? Поживите у нас в лесничестве.

— В Ленинграде дела.

— Странно, — промолвила Мария Трофимовна. — Совсем вы не похожи на делового человека.

— Да я и не деловой, — засмеялся Леонтьев. — Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа. Времени у меня впереди мало, а я не сделал еще и половины того, что хочу... и могу, — добавил он неуверенно. — В конце концов писатели не принадлежат себе. Они принадлежат всем.

— Значит, и мне? — спросила Мария Трофимовна и улыбнулась.

— Отчасти и вам.

— А я думаю — наоборот, — ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами.

— Я не совсем понимаю, — сказал Леонтьев. — Что «наоборот»?

— Как же вы не понимаете? — вполголоса, почти шепотом, ответила Мария Трофимовна, все так же глядя на Леонтьева. — Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей. Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни?

Мария Трофимовна подождала, но Леонтьев ничего не ответил.

— Конечно, любили, — сказала Мария Трофимовна. — Да и как вас не любить! — добавила она и покраснела.

— За что? — спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился.

— Ни за что. Вот за то, что вы есть на свете.

Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь, вдоль берега.

Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон.

Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел — ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Марии Трофимовне.

«Вот и все! — сказал про себя Леонтьев. — Эх ты, чуткий, хороший писатель! Неласковый ты человек, вот что!»

Он подошел к столу, где лежала рукопись его нового, неоконченного рассказа, медленно изорвал ее на клочки и без всякого сожаления выбросил в печку. И ему стало легче на душе, будто, наказав самого себя, он снял со своей души великий грех непонимания чужого сердца.

Квартира профессора ботаники Петра Максимовича Багалея на Аптекарском острове, в Ленинграде, отличалась многими хорошими качествами. Она выходила окнами в Ботанический сад, в ту его часть, которая была закрыта для посетителей. Поэтому в квартире всегда было тихо и в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листвы.

Комнаты были заставлены таким множеством вазонов с цветами, ящиков с рассадой, плошек, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпаками, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько и в саду, за ее стенами.

Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича, с низким потолком и множеством одинаково переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он вводил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру.

Яркий свет превращал кабинет в уголок цветущего растительного мира. Вазоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовые ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов и листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие и самых причудливых форм.

Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким подлинным вкусом наделила растения, были собраны здесь, как в волшебной шкатулке.

Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижной, бритый, в выпуклых очках, с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике соединилась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости.

Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола восьмисотлетнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в

мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано: «Год открытия Америки», «Смерть Ньютона», «Правление Петра Первого», «Пожар Москвы в 1812 году» — и так далее, вплоть до таблички «Октябрьская революция». Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году.

Петр Максимович был вдовец. Детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка.

Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов, заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков.

Работе этой придавалось особенное значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в здоровые города-сады.

Новая планировка городов обязательно заключала в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды и пригородные заповедные леса.

Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану.

Прежде всего надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах в городах, и восстанавливают целительный кислород. Мало было сказать, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тон жизни. Все это надо было доказать.

Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу неумения людей «жить по-человечески».

Коля никогда не встречал такого неумолимого про-

тивника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал, принимая в расчет лишь города капиталистической цивилизации. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем старые города — скучные и нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расстилается рядом.

— Биологический возраст человека составляет в среднем полтораста лет, — говорил Петр Максимович, — а люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует капиталистический город.

Петр Максимович всегда ссылался на Лондон, как на самый «отвратительный» город в мире.

Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет. А кроме того, туманы! Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменноугольным дымом. Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы. О чудовищном количестве дыма, заволакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества сажи, сыпавшейся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год четыреста тонн сажи.

Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь и называется «английской».

Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке Запада, тоскующем по воздуху лесов, по солнцу, что вчуже становилось за этого человека страшно.

У нас этого не будет и не может быть. Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и планировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы.

Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда

деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы разнообразная по оттенкам листва радовала глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавала законченное обрамление.

Это было забытое дело, опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича.

Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парки Пушкина, Гатчины, Павловска.

Он показывал своим ученикам «в натуре» великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманных насаждений. Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и водных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовало с гармонической силой и вызывало душевный подъем — наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим, — иначе говоря, вызывало то вдохновенное состояние, которому мы обязаны появлением великих творений искусства.

Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы.

О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках — созданиях человека? Чем они хуже девственных, нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто бывают в природе.

Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего Коля занялся изучением лесов как заграждений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны.

Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт, и Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились гербарии. Коля с радостью согласился.

Целые дни Коля проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город, в окрестные леса. Нужно было выяснить густоту хвои и листвы на деревьях, чтобы определить, как выражался Петр Максимович, «пылезащитные свойства разных древесных пород».

Работа была сложная, кропотливая, требовала новых методов и была связана с вычислениями.

Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница в вычислениях. Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было.

Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде. Где она будет жить? В гостинице дорого, а родственников ни у Анфисы, ни у Коли в Ленинграде не было. И, как назло, погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух, и ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло.

Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающей в воздухе над гектаром земли, равна тридцати гектарам.

Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на двести километров. Эти цифры сами по себе говорили, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны, не говоря уже о листве деревьев и кустарников. Они, конечно, задерживали гораздо больше пыли, чем сосна.

Потом Коля занялся вычислением количества пыли в разных районах города — в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в пятьдесят раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах — в тридцать раз меньше, чем на Елагином острове.

Наконец Коле подали на почтамте телеграмму. Коля вскрыл ее и в первую минуту ничего не понял:

«Приехала десятого остановилась квартире писателя Леонтьева Фонтанка 28 жду *Анфиса*».

Откуда взялся этот писатель?

Коля зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало: худой, загорелый и почему-то все время улыбается.

Он пошел на Фонтанку. Ему не верилось, что сейчас, в этом знакомом городе, он увидит Анфису. Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни, сердце его было пусто.

Коля разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк, поднялся по мраморной лестнице и, немного помедлив, позвонил.

За дверью залаяла собака, послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом, седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев.

— А! — радостно сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз. — Наконец-то! Коля Евсеев? Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте.

Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах.

Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели в глаза, потом застенчиво поцеловались.

— Ну вот, видишь... — сказала Анфиса, и рдеющий румянец появился у нее на щеках. — Вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим.

Они сели на тахту, покрытую ковром. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь.

— Ну как ты? — спросил Коля.

Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью заскреблась и заскулила собака — она требовала, чтобы ее впустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, кляцая когтями по паркету, кривоногая такса с недовольной мордой.

— Я очень рада, — сказала Анфиса.

— Чему? — спросил Коля.

Такса чихнула, стукнулась мордой об пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить — проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, выпустила таксу и закрыла за ней дверь.

— Всему, — ответила, возвращаясь, Анфиса. — Ты знаешь, я все не решалась ехать в Ленинград.

Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и подвывая.

— О господи! — сказала с досадой Анфиса и впустила таксу.

Такса подошла к тахте, начала подпрыгивать, чтобы взобраться на тахту, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на тахту. Такса заворчала.

— Почему же ты не решалась? — спросил Коля. — Я так тебя ждал!

— Правда? — радостно спросила Анфиса.

Такса тяжело спрыгнула с тахты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась на Анфису и заскулила.

— Ну и характер! — сказала с отчаянием Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу.

Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял таксу за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть.

— Ну, погоди! — пробормотал в коридоре Леонтьев. — Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка!

— Знаешь что, — предложила Анфиса, — пойдем лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит!

В передней смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных.

Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернутся к обеду.

А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно трясла дверь в ванной и визжала.

На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Нет, — сказал Коля, — здесь невозможно жить.

— Это только в первый день, — ответила Анфиса. — Потом она привыкнет.

Они прошли в Летний сад. Он был полон до вершин старых лип солнечным светом. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю

не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как подобает северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке золоченой иглой мерцало легендарное Адмиралтейство.

Трудно передать, о чем они говорили. О театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который стал таким далеким, как во сне, о Нине Порфирьевне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе Аграфене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда не должны надолго расставаться, а Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить.

Потом Анфиса искоса взглянула на Колю и спросила:

— Ты понимаешь?

— Да.

Есть минуты, когда сразу меняется значение слов. Так и теперь. Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое, как «ветер», «улица», «да», «нет», говорило о любви. О том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радость и грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы.

Только к вечеру Анфиса и Коля спохватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на Фонтанку, к Леонтьеву.

Леонтьев их уже ждал. Всего пять дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик.

В лесничестве его провожали как своего, звали обязательно приехать на будущий год, а Мария Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на пароход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки.

Солнце садилось в лугах. Пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров.

Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой.

Сейчас, в Ленинграде, Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков в сторожке, рассветный туман над болотцами, пожар, сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки — и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока, наконец, не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и никогда не уйдет.

Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы и первое время все никак не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес.

Распоряжалась в доме Леонтьева чистенькая старушка родом с реки Свири. Он звал ее «нянюшкой» и подсмеивался над ней. А старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев «не хочет входить в свои лета».

— Так весь свой век, — говорила горестно старушка, — чемодан то укладывает, то раскладывает. Ездит и ездит, бог с ним совсем! А теперь вот рассказывает, что служил в лесу объездчиком. Уж и не знаю — верить ай нет?

— Ну, конечно, служил, — подтвердила Анфиса. — Я там была, знаю.

— И к чему это мученье! Мало ему книги писать, так нет, во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток.

На следующий день Коля пошел с Анфисой и Леонтьевым к Багалею.

Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях поверхности хвои. Анфиса не поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась.

Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости и был очень доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что Леонтьев служил объездчиком, он очень это

одобрил и тут же завел разговор о том, что писатели делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни.

— Психология, по существу, мало меняется, — говорил он сердясь. — Любовь и все прочее повторяется из века в век. Получается рутина.

Леонтьев усмехнулся.

— Вы не согласны? — испуганно спросил Петр Максимович.

— Конечно, нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало бы писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы.

— Тысячи тем! Для всего. Для рассказов, повестей, романов. Даже для сказок.

— Вот не думал! — нарочно сказал Леонтьев, чтобы подзадорить Петра Максимовича.

— Именно для сказок. Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки, лучшие семена? Белки! Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьков. Но зато есть полная уверенность, что лучших семян вы нигде не найдете.

Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что досидел до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой «надо снимать шапку».

Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала с Колей в Пушкин.

Коля хотел показать Анфисе тамошние парки.

День был прохладный, уже осенний — «в полсвета». Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые.

Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка, и увядающие сады, и побледневшее небо вызывали ощущение легкой печали.

Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день, до самого вечера, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернюю монотонность.

До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину.

Анфиса облокотилась и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить.

К вечеру на фигуру Пушкина лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости.

Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет с ними рядом и заговорит о садах, лицее, поэзии.

Весь этот день Анфиса чувствовала скрытое волнение.

Она спрашивала себя: что же это такое, почему она так волнуется, почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами?

Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно: что этот бронзовый Пушкин, и полукруглый фасад лицея, и Камеронова галерея, меркнущая в багрянце листвы, и могучие стволы лип, к которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родного человека, и блеск воды, и сумерки, и первое простодушное мерцание звезд — все это связано чем-то общим, единым, и если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все.

Так, не понимая этого, не находя своему ощущению имени, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего.

Пришла ночь, но они не хотели уходить. Они долго еще прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами.

Сады стояли как бы в беспамятстве. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего с вершины дерева на траву, всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение строк, которое слышишь ты один и больше не слы-

шит никто, знакомых строк: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой...»

Где-то очень высоко еще угадывался последний — густой и лиловый — блеск небосклона. Но тьма уже завладевала садами полновластно, спокойно, бестрепетно.

И в этой темноте остался, наконец, один только звук — звон воды, льющейся из разбитого кувшина бронзовой девушки.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ

Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество, к Баулину.

Не было, пожалуй, такой области в стране — от Уссурийского края до Одессы и от Баренцова моря до Самарканда, — где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес и свой девятый кордон, он не встречал. Там все было ему мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью.

У Леонтьева была обыкновенная человеческая слабость — затягивать приближение того, что доставляло ему счастье. Ожидание хорошего всегда волновало его и само по себе давало ему радость. Он скрывал от самого себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной.

Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге — через Москву, а на пароходе — через Свирь, Мариинскую систему и Череповец.

В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать и перечитывать бесконечно: письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений.

За Вытегрой пошли по берегам леса и переменились пассажиры. Последние горожане исчезли. Пароходом завладели лесные люди: заготовители живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидаре, выволочке леса — трелевке, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкослойности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен, и о прочих не менее интересных вещах.

В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко.

В Белозерске стояли долго. Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался кочкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вышел мальчик лет четырнадцати, белобрысый, без шапки, застенчиво одернул ситцевую рубаху, поздоровался с Леонтьевым и, искоса на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирать лезвием топора прогнившие доски.

— Учишься? — спросил Леонтьев.

— В шестом классе, — ответил мальчик, не оглядываясь.

— Много читаешь?

— Да как придется. Я летом больше читаю. Зимой некогда.

— А кого же ты из писателей любишь?

— Я всяких люблю. — Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева. — Пржевальского люблю. И Льва Толстого. И еще люблю французского писателя Гюго.

— А из теперешних?

— Горького, — ответил мальчик. — И Леонтьева.

— Кого?

— Леонтьева. Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на

пароход, да и поехать подальше. А вы не ленинградец?

— Да, — ответил Леонтьев, — ленинградец. Но что-то не слыхал я про такого писателя Леонтьева.

— А я вам сейчас покажу, — сказал мальчик и убежал в дом.

«Вот так случай! — сказал Леонтьев про себя и засмеялся. — Встреча с читателем!»

Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала.

Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную, пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде.

— Прочтите непременно, — сказал он. — У нас все его читают. Даже бабушка, а ей семьдесят лет. Она у нас бывшая учительница. Ходить ей уже трудно. Она весь день сидит в саду и читает... Вы в Белозерске живете?

— Нет. Я проездом. С парохода.

— Жалко, — сказал мальчик. — А то бы я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растения. Мы ее в школе вслух читали с Петром Игнатьевичем и решили насадить школьный сад.

— И что же, насадили? — тихо спросил Леонтьев.

— А как же! И всю улицу засадили. Вон, смотрите! Березками. Карнауховские мальчишки две березы сломали. Футбольным мячом. Ну мы их и поколотили! Всем классом. Теперь они только на выгоне и играют.

Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры.

Что-то сжалось у него в груди, он вздохнул, встал, протянул мальчику руку:

— Ну, спасибо! Мне надо идти. Живи хорошо.

Он пошел на пристань и так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. «Вот и награда,— думал он.— Лучше мне, пожалуй, и не нужно».

Он был счастлив этой встречей и потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чи-

стого дома с неизменной геранью на окнах выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запахивая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего, такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез, — они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли темные пятна.

— Что случилось? — спросил Леонтьев.

Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала:

— Да вы что ж, не знаете? Война началась!

— То есть как? — спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка — признак растерянности.

— «Как, как»! — с сердцем крикнула женщина. — Только что Молотов говорил. По радио. Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу границу.

— Та-ак! — сказал Леонтьев, глядя на женщину.— Значит, из-за угла?

Он как-то сразу стал холоднее, спокойнее. Ему хотелось успокоить и эту женщину, но вместо всяких успокоительных слов он неожиданно сказал:

— Пойдите умойтесь, причешитесь. Нельзя в такое время так...

— Господи! —сказала женщина и густо покраснела. — Я как услыхала, вовсе обеспамятела. Бросилась к тете Даше. У нее Миша в армии. Уж вы меня извините...

Леонтьев повернулся и пошел к пристани. Все как-то сразу переменилось — даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее, внешнее воспринималось мимоходом, не задерживалось в сознании: и тихие улички, заросшие под забором крапивой, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим уличкам, и блеск утренней листвы, и мычание коров.

В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград.

А через два дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной, Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев

встретил их как родных, хотя Нину Порфирьевну и видел впервые. Он тотчас захлопотал со своей старушкой нянюшкой, чтобы дать им умыться, накормить и устроить им комнату.

Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас же ехать в Ленинград к Коле. Его, должно быть, в ближайшие дни призовут в армию.

Потом Анфиса покраснела и извинилась за то, что она ворвалась к Леонтьеву. Но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера.

Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился.

— Вот не ожидал, — сказал он, — что вы с предрассудками! И вы и Коля для меня свои люди, хотя и знакомы мы — всего ничего. Этот дом — ваш дом. И чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться!

Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила.

Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулко отдавались в пустынности улиц шаги патруля.

— Надо выстоять, — сказал Леонтьев. — И сберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно.

— Да, — ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами. — Да, Сергей Иванович, — повторила она и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над Невой и островами.

АГРАФЕНА

С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда и не с кем.

«Дурная я, старая! — бранила себя Аграфена. — Он, может, через год, когда от нас уехал, позабыл

даже, как меня звать. Вот уж верно: чем старее, тем дурее».

Пришла война. Престарелых музыкантов увезли куда-то на восток, дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфене. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу и не была.

Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная пушечная канонада.

Аграфена захворала: ноги ослабели, стали, как ватные. А когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги. Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками.

Фашисты пришли на серых машинах, с черным оружием, будто они его вымазали болотной грязью. И говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечьи: с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были, как ведра, — широкие, низкие, гремели на ходу.

В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены, лесника Онуфрия, за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сваи. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось завалить и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес. А дальше — больше, уже валили его целыми кварталами, и так безобразно, что пни оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытия. А потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть в Германию.

Был еще в деревне девятилетний мальчик Пашка. Он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, клянчил у них невесть что — коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка так вошел к ним в доверие, что солдаты только похохатывали над ним, дергали за вздернутый нос и даже подарили ему зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его внакидку на одном плече, как пиджак. Пашка целыми днями

шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал Аграфене.

Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживало. Сухая земля потрескивала под ногами. Вот-вот начнет сыпать первый снежок.

Были сумерки. Аграфена сидела у окна, не вздувая огня. Очень было смутно жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки Аграфена отдыхала: темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака.

Аграфена решила: если услышит топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикроет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не клянчили и не приставали с расспросами.

На этот раз Аграфена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сени. Их было двое. Обоих Аграфена давно уже приметила. Один был худой, горбоносый — не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно́, коротко, и, разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на Аграфену посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах желтой кожи.

Солдаты пришли к Аграфене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник: генерал получил от фюрера награду — железный крест — и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара.

— Да где же он, этот ваш генерал? — спросила Аграфена. — В нашем селе никаких генералов нету.

— В лесу, — сказал горбоносый немец. — В старой вилле, что есть в лесу. Там квартирует теперь генерал.

— Ой, — сказала Аграфена, — чегой-то вы все врете, путаете! Тот дом давно стоит заколоченный.

Солдаты ничего не объяснили, но снова потребовали самовар.

— Да вы его мне распаяете! — рассердилась Аграфена. — Небось сроду самовара не ставили.

Солдаты молчали.

— Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому генералу самовар. И обратно самовар заберу. Вам поверишь — наплачешься. Улетит самовар — ищи потом ветра в поле.

Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили, а потом горбоносый сказал:

— Пожалуйста. Прошу. Генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина ему подает самовар. Как в кино.

Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты осторожно несли самовар, держа за ручки.

— Пашка, — тихо спросила Аграфена, — неужто в том доме фашисты? Что ж ты мне ничего не сказал?

— В каком доме? В музыкантском?

— Ну да.

— Третьего дня только въехали. Я сам сегодня узнал. Там, должно, штаб. Генерал живет, весь седой, морда, как у мерина. И офицеры при нем.

— Ладно, — сказала Аграфена. — Теперь помолчи.

Шли осиновым перелеском. Неизвестно откуда на землю падал серый свет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого уцелевшего на ветке осинового листка.

Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались.

— Зо! — сказал солдат в тесном мундире и покачал головой.

Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил.

— Смекаешь? — спросила Аграфена Пашку.

— Смекаю, — коротко ответил Пашка.

Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток.

Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь.

И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила.

Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат.

«Что за притча!» — подумала Аграфена. Все свое, знакомое: и низинка эта в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и стог сена, почернелый от дождей, — все свое! И вот идут по этим местам, топочут своими сапогами-ведрами фашисты. «Далеко залетели голубчики, да посмотрим, где сядут!»

Генерал Штумпф, высокий, с седыми, стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами — следами неизлечимой прыщавости, был доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании генералов и крест на его груди отразится в полированной поверхности длинного стола. На него нельзя было положить руку — тотчас на полировке появлялось потное пятно. Оно долго не проходило.

Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели вытянувшись и, так как боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе. Это было безопаснее.

Генерал был доволен еще и тем, что в расположение его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен. Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком матери всосал почтение к людям богатого круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он все-таки ефрейтор и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них.

Генерал отвел Бальцену лучшую комнату в лесном доме, ту, где, по преданию, жил когда-то известный русский пианист Чайковский.

Бальцен приехал, как он говорил, с тремя целями: отдать дань уважения армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и кстати ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии.

Генерал Штумпф знал, конечно, что это «кстати» было главной целью появления Бальцена.

Бальцен объехал всю Северо-Западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался, наконец, почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен — человек не только деловой, но и храбый.

В лесном деле Штумпф ничего не понимал и относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь — это да! Это были военные материалы. А дерево только и годилось для ложа винтовок.

За обедом генерал слушал Бальцена, вежливо, но равнодушно.

— Итак, мои господа, — говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицеров, — вы, оказывается, не подозревали — да, не подозревали! — какую пользу вам дает древесина. Да! На всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикалии изготовляются из древесины. Да, из древесины, мои господа! Наши враги сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса! Об этом они говорят и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют Лорелеи, расчесывая свои волосы.

Бальцен засмеялся, а Штумпф сдержанно улыбнулся, — человеку в его ранге смеяться было неудобно.

— Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить на колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится, до последнего дерева.

Генерал знал, что Бальцен может разглагольствовать о своем деле часами. Это было, конечно, утомительно, но с этим надо было считаться.

Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленника в серых гетрах. Они перешепты-

вались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ящик венгерского коньяка.

Но и за ужином Бальцен снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров, это было уже слишком. Лейтенант Кнюпфер, человек с пустыми опасными глазами, сказал:

— Я думаю, что вы прихвастнули, господин Бальцен, когда утверждали, что сведете все русские леса.

— Мы уже свели десять миллионов гектаров, молодой человек! — ответил с достоинством Бальцен.

— Не вы, а мы! — сказал с угрозой в голосе Кнюпфер. — Мы косим их снарядами и танками, как траву.

— Спокойно! — сказал Штумпф.

Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены и может произойти неприятность.

— Мы навалим сосновые бревна до самого неба, — закричал Кнюпфер, — подожжем их и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцен, чудовищную котлету!

— Из чего? — спросил майор с бегающими глазами. У него был такой вид, будто он все время ищет самое вкусное кушанье на столе.

— Из штатских мозгов!

— Вы плохо шутите, — сказал Бальцен и обернулся к генералу: — Не правда ли, мой генерал?

— Шутки не входят в обязанности моих офицеров, — ответил скрипучим голосом Штумпф. — Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит как может. Не обижайтесь, господин Бальцен. Фронт есть фронт: люди имеют право несколько отдохнуть от приличий.

Штумпф понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у него уже шумело и пятна на лице сделались совершенно лиловыми. К черту все!

Начался шум. В разгар этого шума Аграфена с солдатами, тащившими самовар, подошла к дому.

Шум все время менялся. Сначала он походил на шум скандала. Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями, кто-то кого-то удерживал, кто-

то требовал: «Прочь руки! Пустите меня!» Бальцен несколько раз крикнул: «Обратите внимание, мой генерал!» Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали «хайль», и шум сразу перешел в беспорядочный гомон, свойственный офицерской пирушке.

Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел доложить о самоваре и вернулся с ухмыляющимся лицом.

— О, генерал рад! — сказал он.

Солдаты притащили воды, долго и осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной. Особенно после того, как денщик принес из-за стола начатую бутылку коньяку и они выпили по стаканчику.

Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовара ей, конечно, вовсе не было жаль — бог с ним, с самоваром! — а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме.

С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. А она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги, заколоченный, тихий, и его не заметят, не тронут!.. Что тут поделаешь! Как бы еще не спалили дом спьяну. Ишь, сколько понаставили керосиновых ламп. И как они пылают!

В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешаны. От этого казалось, что совсем уже нечем дышать. Слоистый керосиновый чад висел под потолком. И полы все замараны, затоптаны.

А бывало, при Петре Ильиче, Феня входила в этот дом боязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бочке с дождевой водой загорелые ноги, исцарапанные шиповником и колючей малиной. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплому дереву.

День и ночь окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах.

Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные

луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые: то одну ромашку, то кипрей, то подмаренник.

А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра Ильича сирень.

До чего она была холодная, пахучая, росистая! Прижмешь к лицу пышные ветки — будто умоешься. Принесешь цветы, Петр Ильич возьмет за подбородок, поднимет зардевшееся лицо, скажет: «Эх ты, сероглазая!» — и обязательно чем-нибудь отдарит.

А потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся задрожит, и роса с нее польется прямо на рояль...

Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо.

— Генерал сам хочет сказать вам спасибо, — сообщил горбонюсый немец. — Он сильно доволен.

Аграфена запахнула шаль на груди, встала побледнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть!

Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза.

Офицеры захлопали в ладоши, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньяку. Кто-то заиграл на рояле туш.

Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась... Что ж это, господи!

Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их, сколько мог, и играл между ног — колотил, изловчившись, длинными пальцами по клавишам.

— Ах ты, охальник! — тихо сказала Аграфена и медленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая.

Платок упал с головы Аграфены на плечи. Все увидели ее седые чистые волосы, светлые от гнева глаза, пылающее лицо, будто кто-то ударил ее по щекам.

Был у нее холод на сердце, будто она шла на смерть и сердце уже знало, что́ надо делать.

— Ах ты, охальник! — громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот расстегнутого мундира. — Пащенок! Скотина фашистская!

Она рванула офицера за ворот. Офицер упал. Круглый табурет покатился по полу.

Фашисты вскочили, а Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами.

Офицер привстал и быстро шарил в кармане рейтуз, ругаясь сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет.

— Ах ты, скотина фашистская! — так же громко повторила Аграфена.

— Не здесь! — крикнул кто-то из гитлеровцев, но пистолет щелкнул резко и судорожно три раза подряд.

Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол.

— Пашка! — крикнула она и захлебнулась. — Пашка, беги!

Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сережки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силой начала валиться на нее горячая тьма, послышался запах гари, и пришла, должно быть, скорая смерть. «А я вам, Петр Ильич, сирени нарвала», — не то подумала, не то сказала Аграфена и затихла.

Когда Пашка услышал крик Аграфены: «Пашка, беги!» — он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад в лес, в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков.

Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму, и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени.

Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, тот, что нес самовар, стоял, засунув руки в карманы, смотрел на горящий дом и насвистывал. Потом в доме начало что-то взрываться — должно быть, гранаты.

Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. «Баушка, — шептал он и захлебывался. — А баушка!»

Пашка лежал, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодная, и что-то в ней шуршало — должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы.

Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и гас смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться: фашисты его видели вместе с Аграфеной, и если поймают, то обязательно убьют.

Лесной дом, должно быть, сгорел дотла — уж очень он был сухой и маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер.

Пашка выбрался в темноте на опушку, на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв с лугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот. Потом опять все стихало.

Пашка залез в яму от вывернутой ветром сосны. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. «Досижу тут до утра, а там посмотрю», — решил Пашка, сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему упала снежинка, потом вторая, — уже шел реденький, мелкий снег. Пашка съежился сильнее, совсем втянул голову в воротник.

Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились в сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем.

Разрывы приблизились. Снаряды ложились на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило, наконец, угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки.

«Чего это горит? — подумал Пашка. — Горит во всю ширь. Нет у нас таких длинных сел».

Он вглядывался в пожар, соображая, что это горит, и радуясь. Громыхание боя приближалось, становилось

явственней. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь?

Странно было лишь то, что бой как бы шел сам по себе. Никакого признака людей не было вокруг. Один лес да освещенные огнем корявые корни поваленной ветром сосны.

Зарево разгоралось, огонь уже летел высоко в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление.

Земля тряслась, песок сыпался Пашке за шиворот.

Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было; очевидно, это прилетел шальной снаряд.

Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо к их селу наши танки, а за ними бегом продвигалась пехота.

Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село.

Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев — озябших, как будто высохших и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали.

На третий день после того, как выбили из Бартенева фашистов, Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около Аграфениной избы привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позванивая стременами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом, по прозвищу «Покуль». Дед любил повторять это слово, и потому его так и прозвали.

Дед завидел Пашку и сказал офицеру:

— Вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе, у Аграфены, покуль тут хозяевали фашисты. Его спросите.

Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами.

— Здорово, Пашка!

— Здравствуйте, — ответил неуверенно Пашка.

— Где Аграфена Тихоновна?

— А вам зачем?

— Хочу ее повидать.

— Нету ее, — ответил Пашка и засопел. — Убили ее фашисты...

Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо, а дед Покуль вдруг весь затрясся, снял шапку, и редкие его седые волосы зашевелились от ветра.

Офицер ввел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул:

— Рассказывай, как было. Не бойся.

— А вы кто? — спросил Пашка и потянул носом.— Сродственник ей, что ли?

— Нет. Я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградский.

— Машу знаете? — спросил Покуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке. — Быстроногая была девчонка. Сноровистая. Вся в мать. Да, покуль мы здесь землю ковыряли, покуль то да се, она высоко поднялась. Ученая, говорят, стала. Лесовод!

Пашка сбивчиво рассказал офицеру все, что случилось с бабкой Аграфеной: как забрали солдаты самовар; пошли они в лесной домик, и там бабку Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели.

Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча.

— Да, — сказал он наконец, — простая русская женщина Аграфена Тихоновна...

И опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера.

Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас: будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть.

«Есть женщины в русских селеньях...» — вспомнил он почему-то давно уже не читанные стихи.

— «Есть женщины в русских селеньях...» — повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день.

С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в армию, и до этого дня он вспоминал лесничество. И решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда.

С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов. Он знал, что гитлеровцы начисто вырубили великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на исполинские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишенные ветвей.

В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Потом фашисты свели его весь, до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес: необыкновенной мощи, чистоты и прелести.

Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин «классический лес» точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила — все это было особенно ясно выражено в этом лесу.

Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там подружился. Вспомнил Баулина, Евтея, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери — красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережки.

Это воспоминание преследовало его как удивительная по чистоте, почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор он считал себя только писателем-краеведом и втайне огорчался, считая это свойство ограниченностью.

Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор.

В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны: село Бартенево.

Сейчас, когда он въехал в село, оно оказалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе. По обочинам села прозрачной стеной стояли облетелые ветлы. Внизу, за рекой, тянулись луга, и по взгорью подымался лес.

Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровные струи дыма.

Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные бинты, жестянки от консервов, патроны, рваные автомобильные шины. Вокруг было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины с оранжевыми ягодами щелкали снегири.

Леонтьев постоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках Аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне.

— Они в сундучке у нее, — охотно сообщил Пашка. — Я видел. А ключик за божницей.

В избе у Аграфены Леонтьев нашел за иконой ключ, открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль, под ней — чистые сорочки, потом ленты, фотография Аграфены с Машей — вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами, потом игральные карты, паспорт, а под ними в коробочке — серьги.

Леонтьев достал их и подошел к окну. В каждой серьге поблескивал маленький кристалл.

Леонтьев засунул коробочку с серьгами в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за иззубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал три письма.

Первое письмо он написал председателю местного районного исполнительного комитета. Он сообщал о смерти Аграфены и писал, что необходимо разыскать ее останки и похоронить. А после войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой.

Второе письмо он написал Марии Трофимовне. Он не знал, где она, но решил отправить в лесничество.

Он сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ей свой фронтовой адрес. Он очень хотел написать, что ждет ее писем, но почему-то не решился, не написал.

Третье письмо он написал Анфисе.

Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне.

Сейчас он был уверен, что они застряли в Ленинграде, не успели выехать, и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от этих мыслей.

В письме к Анфисе Леонтьев подробно описал смерть Аграфены, ничего не написал о своей боевой жизни и закончил письмо словами:

«Берегите себя. Я к вам всем привязался, как старый дворовый пес. Если останемся живы, то, так и быть, я буду вашим посаженым отцом. Вам с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь — не знаю. Где Коля? Вот дерусь, забросил свои писания, и все мне думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь — чтобы ничто не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверчивости и способности радоваться каждой малости, если она наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю».

ЖЕЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого.

«Вернутся ли они? — думала Анфиса. — Конечно, вернутся. Но останется ли все таким, как было?»

От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось.

И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем сморщилась, лицо ее сделалось с кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне.

А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно. И нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую, небритую щеку.

Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, работавших в Балтийском флоте.

Бригаду на самолете перебросили на Эзель. Это был большой песчаный остров, покрытый сосновыми лесами. Защитники острова окопались на длинной косе и отбивали яростные и частые атаки.

Анфиса с подругами перевязывали раненых, стирали матросам белье, штопали, латали; обветрились, ходили в ватниках и сапогах.

Ночи были прохладные. Беспокойно шумело море, шумел лес на дюнах, а к утру, то разгораясь, то затихая, начинали трещать на переднем крае винтовочные выстрелы. Потом в дело ввязывались пулеметы, с визгом летели мины, ухала артиллерия, и матросы говорили, что опять начался «концерт со старой программой».

От орудийных ударов вздрагивала у берега вода. Желтый песок осыпался в блиндаж, где Анфиса вместе с певицей Зиной стирала матросские рубахи. Зина была полная молчаливая девушка. Стирая, она не переставала напевать любимую на Эзеле песенку «Раскинулось море широко». Однажды снаряд разорвался рядом. Затрещали доски над головой. Из щелей посыпался мох. Анфиса с отчаянием сказала:

— Опять! Полный таз мусору насыпало! Так мы никогда не отстираемся, Зина.

— Ничего... — Зина посмотрела на маленькие часики на руке. — Через десять минут немцы начнут обедать. Тогда пойдем на берег, выполощем.

Над головой загудело. Тотчас поблизости начали стрелять зенитки. Снаряды полетели в небо с таким звуком, будто кто-то удивленно и весело вскрикивал: «Ти-и-иу! Ти-и-иу!»

— Сейчас бросит, — сказала Зина и начала вытирать руки о передник, чтобы зажать уши.

Но самолет бомбы не бросил, а взмыл, ушел в небо.

Огонь затихал обыкновенно к ночи. Ночью на поляне, в густом сосняке, происходили вещи, о которых немцы не подозревали. На сколоченной из досок эстраде в полном мраке шел настоящий концерт.

Каждый раз, когда Анфиса выходила ощупью на эстраду, из толпы матросов протягивался к ее лицу тоненький луч света от электрического фонарика. Сначала Анфиса жмурилась, а потом привыкла. Луч освещал ее лицо. Оно казалось зрителям настолько нежным, что матросы только вздыхали и говорили про себя: «Вот это да!» В этом возгласе были и восхищение, и благодарность, и любовь.

Анфиса читала рассказы, стихи. Больше всего матросы любили пушкинское «19 октября...» Как только Анфиса произносила первые слова: «Роняет лес багряный свой убор...» — наступала мертвая тишина.

Иногда к эстраде начинал протискиваться смущенный матрос. Он протягивал Анфисе охапку вереска и говорил, спотыкаясь:

— Ребята с пятого поста нарвали...

Анфиса думала об этих людях, которые знали, что они должны биться здесь до последнего вздоха, о Коле, о далекой России и о Пушкине.

Если бы он знал, кто и где в такие страшные ночи будет слушать его стихи, какой бы благодарностью загорелись его глаза! Благодарностью к своему народу, который в тяжкие годы испытаний, войны, бездомности и печали, так же как и в годы радости и победы, никогда не забывал его, давно погибшего, но до сих пор оплакиваемого и милого своего поэта.

Когда стало ясно, что держаться на Эзеле больше нельзя, актеров отправили на быстроходном катере на соседний остров Даго.

Анфиса ночь просидела на палубе катера, прислонившись к стене рубки. Кто-то из матросов укутал ей ноги черной шинелью.

Стоял туман. Он садился водяной пылью на лица, на медные поручни. Рассвет едва пробивался сквозь этот туман, и в его мутных, грязноватых проблесках бежали, догоняя катер, серые волны. Чудилось, что они бегут уже тысячи лет.

С Даго их тотчас отправили на самолетах в Ленинград. На Даго, в дощатом бараке, где актеры обогревались и пили чай, Анфиса услышала от летчиков, что Ленинград сильно обстреливают.

Летела она в открытой машине. Она закутала голову и лицо теплым платком. Ветер оглушительно трещал разбитым целлулоидовым козырьком перед сиденьем.

Один раз она посмотрела вниз. На серой земле горели тысячи маленьких желтых свечей. Анфиса догадалась, что это осенние березовые леса под утренним солнцем, светившим очень низко, из-за слоистой тучи.

Летели усыпительно долго. Только один раз летчик оглянулся и сделал глазами знак Анфисе, чтобы она посмотрела вниз. Она взглянула. Невдалеке от самолета бесшумно вспухали маленькие белые облачка — разрывы зенитных снарядов. Анфиса поняла, что они пролетают над фронтом.

А потом в тумане возник Ленинград, все такой же величавый и строгий. Кое-где над улицами подымались дымы пожаров.

Нина Порфирьевна, увидев Анфису, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверно, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна оттого, что ей нечем накормить иззябшую и проголодавшуюся Анфису.

— Смотреть на тебя не могу, — говорила Нина Порфирьевна, — какая ты стала худенькая! А у меня только и есть что хлеб и чай. И сахару есть немного.

Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник. Он тотчас тихонько засипел, запел, потом начал булькать, бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса смотрела на чайник. Во время войны она начала замечать, что некоторые вещи ведут себя по отношению к людям по-дружески.

Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь на первый взгляд только теплилась в людях. Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему.

Старушка работница как-то уснула с утра и не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице.

Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич.

Анфису приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек. Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу, без декораций.

Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей.

Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно не подходившие к обстоятельствам.

Музыка помогала думать. Анфиса думала, что ей всего двадцать четыре года, а какая большая жизнь уже позади: родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная студия, вечер в лесу, когда Юпитер сиял над ней в пепельно-синем небе, война, песчаный остров Эзель среди холодной Балтики, мужество матросов — милых и простодушных людей, Леонтьев с его дымя-

щейся трубкой и неожиданными поступками, осада, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы...

Она вспоминала прошлое и думала: удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью? Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание...

Однажды она рассказала об этих своих мыслях Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли!

Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям.

Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторое затишье и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку: просил узнать о судьбе Петра Максимовича Багалея. Где он, куда эвакуировался?

Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь, к Нине Порфирьевне. Госпиталь был на Аптекарском острове.

Стояло хмурое утро, падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В прорубях на Неве закутанные изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискось в небо из разных углов Марсова Поля.

Вмерзшие в лед свинцовые корабли казались покинутыми: ни одного человека не было видно на палубах. Заиндевелые рваные провода звенели, когда прохожие их задевали.

Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В Летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца.

Если тревога заставала Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке — под колоннадой, под карнизом вот такого садового павильона или в подъезде, где стояли по сторонам

входа шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами.

Ей почему-то казалось, что самая прелесть, самая красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады непроницаемой для взрывов средой. Это было глупо, конечно, но Анфису всегда тянуло во время опасности в такие места.

Нина Порфирьевна прочла Колино письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к двум часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался и удастся узнать, что случилось со старым профессором.

В квартире Петра Максимовича кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба. Из нее валил дым.

Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал.

— Откройте, — сказала Анфиса. — Я к Петру Максимовичу.

— Тяните дверь к себе, — ответил глухой голос.

Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полутьме прихожей вгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках.

— Петр Максимович! — вскрикнула Анфиса. — Да разве вы в Ленинграде?

— Не вижу кто, — сказал Петр Максимович. — Кто вы такая?

— Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните? Я была у вас с Колей.

— Пойдемте, — сказал Петр Максимович. — Только, будьте добры, возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться — безбожно задыхаюсь... Я рад. Очень рад!

Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым.

— Тут у нас тепло, — сказал Петр Максимович. — Топим сколько возможно. Иначе пропадут растения.

Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики.

— А я не уехал, — сказал Петр Максимович. — Заболел гриппозным воспалением легких и так и остался, представьте себе!.. Я вас совсем не вижу.

Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну.

— Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте... Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, ничего почти нет, один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма.

Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе.

— Так, — сказал он. — Значит, вы живете у Леонтьева. Жаль.

— Почему?

— Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью, люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать.

Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках.

— Золото! — засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков. — Пожалуй, нечто даже дороже золота: это семена.

— Какие семена?

— Быстрорастущих деревьев. Здесь, — Петр Максимович показал на ящики, — весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня

они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив.

Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар.

— Все по Васильевскому! — заметил Петр Максимович. — С утра палят и палят.

Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал.

— Представьте себе, — сознался он, — я начал понемножку курить. Во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю.

Он закурил, весь окутался дымом и спросил:

— Вы терпеливая?

— Очень.

— Так вот, слушайте. Потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, некому слова сказать

Он помолчал.

— Война скоро окончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы... И так далее и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает.

— То есть как? — удивленно спросила Анфиса.

— Устраивает, конечно! Но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле, самое наше существование.

— Леса? — спросила Анфиса.

— Безусловно. Иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и суховеи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь показаться парадоксальным, но, возможно, изменится и самый состав воздуха. И мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать это.

— Ну что вы! — сказала Анфиса.

— Да. Очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом.

В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловалась с ней, сказала:

— А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава богу!

— Вам очень, должно быть, трудно, — заметила Анфиса.

— Нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю. Сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская: по ночам спим мало, больше все ходим, чего-то делаем или лежим, разговариваем в темноте. Прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите... — она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле, — слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо. Сберечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках! Хоть и топим, а холодно... Они все такие! — неожиданно заключила Полина Максимовна. — Про семена Петр Максимович вам рассказывал?

— Рассказывал.

— Тут семена есть наши, древесные, — почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна, — а вон те, в той комнате, — это семена пшеницы. Лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это, знаете, какая ценность! Сколько выращивали, работали, берегли... А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь. Зернышка не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик! Остался бы жив. Но, говорит, рука не подымается. Это, говорит, было бы величайшим пре-

ступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил!

— Не удержалась? — спросил, не открывая глаз, Петр Максимович. — Выболтала? Доживем мы с тобой до беды!

Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату.

— Я никому не скажу, Петр Максимович, — сказала Анфиса. — Поверьте мне.

— Я знаю, — ответил Петр Максимович и открыл глаза. — Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвести надо. Вот и дорвалась... Полина, — сказал он погромче, — не волнуйся, милая! Вскипяти нам лучше водицы... Так вот, — Петр Максимович обернулся к Анфисе так, будто не было перерыва в их разговоре и он совсем не засыпал, — минует война, надо будет восстанавливать леса, а это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы. А ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстрорастущие деревья, — он показал на цинковые ящики, — пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутова сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое «гонкое» дерево, растет со сказочной быстротой — по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никак не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева.

— Петя, — сказала из соседней комнаты Полина Максимовна, — да не мучь ты ее, ради бога, своими

лекциями! Какой там Галилей, когда, наверно, сосет под ложечкой. Идите, чай готов.

— Ничего, она будущая жена лесовода. Ей это нужно знать.

Анфиса напилась кипятку с сахаром, разрумянилась и повеселела.

Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверно потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить.

Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича — блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий.

Она вышла к Бирже. Обстрела не было. Стояла такая тишина, что было слышно шуршанье снега, задевавшего на лету за рваные листы кровельного железа.

Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город, подумала, что вот так же на него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протяжении двух столетий. Может быть, тут стояли Пушкин, и Герцен, и Чехов. А может быть, остановился на мгновение и стремительный Ленин, взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город — провозвестник социалистических времен.

Сейчас в немых его далях все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер и она одна бредет по нему со своими не додуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление. Потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом, в осажденном, обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть!

Как бы подтверждая ее мысли, вмерзшие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками

пламени. В снеговую муть помчались с медным звоном снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций.

Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загремели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зарницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов. И вскоре весь город и все пригороды уже гремели непрерывным орудийным огнем.

В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил частую и упорную канонаду — должно быть, по ту сторону вражеского кольца. Раньше ее Анфиса никогда не слыхала.

«Неужели наши прорвали блокаду?» — подумала Анфиса и побежала, спотыкаясь, по Дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза.

Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет.

ОЖИДАНИЕ

В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее были всегда холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар.

Сестру звали Марией Трофимовной.

Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она клала руку и свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь.

Боль быстро утихала. Коля засыпал, и снова один и тот же сон наплывал издалека, пока не заполнял все вокруг.

Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу.

Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной в прелом обогревающемся

саду, где из-под лиловых, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев ползут стрелки молодой травы.

За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавише. Постепенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист, в глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался.

Да... в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под Стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшаником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины.

На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и начал стонать.

В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же книгу — томик стихов Лермонтова. Она закладывала книгу запиской и подходила к Коле.

— Ну как? — спрашивала она. — Легче?

Коля кивал в ответ.

За окном орали галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвальни с сеном. Начиналась весна.

Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она второпях оставила томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул руку, взял книгу.

На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля невольно прочел подпись: «Ваш С. Леонтьев».

«Уж не Сергей ли Иванович Леонтьев?» — подумал Коля. Да нет, мало ли Леонтьевых на свете. Но все-таки, когда сестра возвратилась, он сказал ей:

— Вы извините, я уронил письмо.

— Ничего, — ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата.

— Сергей Иванович Леонтьев, — сказал Коля. — Хороший человек, писатель. Это он?

— Вы его знаете? — Сестра быстро села на кровать, в ногах у Коли. — Откуда?

— Хорошо знаю. По Ленинграду. Я же студент Лесного института.

— Удивительно! — сказала сестра. — Я тоже лесовод.

— Почему же вы работаете сестрой?

— Это всего на один месяц. У нас в лесничестве сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач — знакомый. Взял меня, я его упросила. Скоро опять поеду в лесничество. Это здесь недалеко, всего тридцать километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объездчиком? Два месяца.

— Слышал. Он лесной человек... Это при вас приезжали в лесничество две девушки?

— Нет. Я была в отпуску. Но мне рассказывали. Вы их тоже знаете?

— Одну знаю. Мы из одного города.

— А вот этого Лермонтова, — сказала без всякой связи сестра, — Сергей Иванович мне подарил перед отъездом.

— Извините, — сказал Коля, — но откуда вы получили письмо? Где он сейчас?

Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и со страшным гомоном полетели на другой берег реки.

— В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет — там у меня мать погибла.

— Да... — сказал Коля. — Тяжело.

— Знаете что, — сказала сестра, — не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу... Как удивительно, что вы его знаете!

— Так вы не уходите, — попросил Коля.

— Нет, я не уйду, — ответила сестра, отвернулась к окну, задумалась и положила свою руку на локоть Коле, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался.

Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее как бы светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась, должно быть чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза.

Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли.

«Что это? — подумал Коля. — Кажется, я засыпаю.

Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет... Как кричат галки! Ведь это весна. Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался. И уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня благовещенье и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещенье. Благая весть...» Он ждал ее. От Анфисы.

Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо.

— Что с вами? — спросила она. — Вам нехорошо?

— А что?

— Вы кричите во сне.

— Не знаю. Приснилось что-нибудь.

— Ну, спите, — сказала Мария Трофимовна. — Набирайтесь сил.

Она вышла из палаты. А Коля тут же крепко уснул.

Городок был в шестидесяти километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал, но зимой было трудно, особенно сейчас, в военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах.

На следующий день после того, как Коле стало лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, пронизывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяла.

Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу машину встряхнуло на корнях, в одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдувать ледяным сквозняком. Под руками ничего не оказалось, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло и раненые перестали беспокоиться.

В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переоделась у себя в комнате и вышла на улицу.

Ложились сумерки, но огней нигде не было. Горо-

док был еще в полосе затемнения. В узком разрыве между тучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров.

Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было, но повторится ли когда-нибудь? Увидит ли она его?

Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень озябла. Ох, уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что пока не прошла река, нельзя снимать шубы. А она сняла свою старую, надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась.

Для кого надела — неизвестно. Кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной и тихой улице увидит его, идущего навстречу? А как бы было хорошо!

Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове. И все это для одного человека.

Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. А тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда проснулась, часы пробили всего одиннадцать. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания.

Тяжелее всего была не боль и не слабость, а утомительное состояние не то сна, не то бодрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит в жизни, а что — во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние, прошлым летом, в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза — желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, и почему он сюда попал — неизвестно. Должно быть, это Коля. Молчит, опустив голову, и, кажется, дремлет.

Закроешь глаза на минуту, снова откроешь — видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают, куда-то торопясь, облака, и нянюшки

гремят посудой. А через минуту снова ночь, и мать, Аграфена, стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик. От него холодно голым горячим плечам.

Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой, и в ее мелодию входит знакомая песня: «Во поле березонька стояла...» Аграфена закрывает концом платка рот. «Мама, — говорит Мария Трофимовна, — ну, мама же! Как это можно всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки!» — «Дурочка ты, — шепчет Аграфена, — разве я сердце свое могу замкнуть на замок?»

А музыка усиливается, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи: то поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. «Великий лес!» — говорит Аграфена.

А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева. Но он чужой. Он не слышит, как она зовет его. Он даже не оглядывается.

«Михаил Юрьевич, — тихо просит Мария Трофимовна, — помогите мне, милый! Подайте руку».

Кто-то подает ей маленькую загорелую, крепкую руку, но поздно: вокруг уже тьма и жар, и только с тоненьким скрипом, как вода в незаметную щель, медленно сочится, уходит сознание.

Мария Трофимовна умерла ночью. Утром, когда Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с каким-то розовым цветком и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывала спокойная бледность. Живыми казались только ее темные ресницы.

Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве, среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся, ездил на эти похороны, и его поразил старый лесник Евтей. Он только крякал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал:

— Беспорядку много в этом деле... в смерти. Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я

скриплю, старый пень. Нет на меня управы! Я бы с ней обменялся в охотку, да меня, видишь, никто об этом и не спрашивает.

Коля познакомился с лесничим Баулиным, молчаливым, усталым человеком. Баулин был подавлен смертью Марии Трофимовны и ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал.

В ТУМАНЕ СПРЯТАННОГО СОЛНЦА

Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая весна после блокады.

Под Любанью Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на частокол из огромных жердей. От косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки с тухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг, этот лес казался совершенно неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редину леса сизым угаром.

Сосед по вагону, бородатый солдат, долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал:

— Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю. На сотни лет.

— Ничего! — ответил Коля. — Вырастим леса и раньше.

— Это точно, — согласился солдат. — При теперешнем развитии нашей мысли.

В Любани было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце. То тут, то там его багряные отблески пробивались через туман, ложились на воду, на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива и за ним откроется чистое небо и город в блеске росистых поутру садов.

Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу Московского вокзала. Он ничего не написал ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне о своем приезде. Они только знали, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо и что как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск.

Город на глазах оживал. Жизнь брала свое. С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы.

Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город.

Коля шел на Фонтанку. Он был в старой шинели с мятыми, выгоревшими погонами, с почти пустым вещевым мешком, висевшим через плечо.

В тумане жужжали пилы на стройках. Воздух был наполнен запахом моря; с залива чуть тянуло утренним ветерком.

Коля вошел во двор на Фонтанке. Там было пусто. Пробивалась трава. Кучей лежали маленькие пустые патроны от зенитных снарядов.

В углу двора, около кирпичной стены, какая-то женщина колола дрова. Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся.

Женщина выпрямилась, откинула со лба прядь русых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками.

— Ты, Анфиса? — крикнул Коля и побежал к ней.

Она не могла встать. Она только охватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске.

— Я сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек! Что же ты ничего не писал?

И она крепко обняла, как маленькая девочка, Колины колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом.

КОРОТКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройтись. Он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним.

Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался, — профессор был, по мнению шофера, чудак. По дороге в Кремль он возмущался духотой в машине. На него не произвели никакого впечатления даже две махровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы. Как только профессор сел в машину, он тотчас опустил окна и устроил сквозняк. Не произвела на него впечатления и электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал и выкурил по пути в Кремль две папиросы.

Шофер был обижен. Машиной восхищались все, а этот старик только фыркал, будто его везут на трясучей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал:

— Эта машина легкая, послушная, не то что какой-нибудь муровый «бьюик».

— А что такое этот ваш «бьюик»? — сердито спросил Петр Максимович.

Шофер усмехнулся:

— Такая марка.

— Все марки одинаковы,— проворчал профессор.— Отравляют воздух. И портят людям нервы.

Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором.

— Против этого я не возражаю,— сказал шофер.— Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине, в Калужской области, места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно.

— Это почему же?

— А потому, что если вы пожелаете, то я вас через два часа в эти места доставлю на этой машине. Съедем с шоссе, поставим машину под березу, вы дверцу откроете и — пожалуйста! — собирайте землянику под самыми колесами. Удобство! А поездом будете ехать семь часов. Да еще с пересадкой.

Профессор издал звук, похожий на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он домчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав новыми шинами.

Пока профессор был в Кремле, шофер успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел, так же как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру на город, на вереницы белых огней, на речные трамваи, подгонявшие к гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень Ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, проносившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип.

— Хорошо! — вздохнул шофер.

Ему захотелось, чтобы профессор постоял на набережной подольше. Но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию.

В студию так в студию! Шоферу это было безразлично. Но все-таки странно: какое отношение мог иметь этот ученый старик к театру.

Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающемся от ветра платье. Волосы ее отливали медным цветом. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались.

Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все отдал бы за эти взоры, за эти милые глаза...» Только после этого он неохотно выехал со двора.

— Ну, как в Кремле? — взволнованно спросила Анфиса.

— Превосходно! В общем вашему Коле хватит работы на всю жизнь.

Анфиса засмеялась.

— Вы рады?

— Какое там рад! — ответил Петр Максимович. — Я не рад — я счастлив.

В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер — высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый столик, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай.

— Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю, — сказал режиссер. — От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить.

— Какое же беспокойство! — возразил Петр Максимович. — Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу.

— Да? — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза. — Это замечательно! Я побаивался, что вас удивит наша просьба. Слыханное ли дело: известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране... — Петр Максимович заерзал на кресле, — простите, но я говорю совершенно откровенно... ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью по лесным делам. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским «Дядей Ваней»?

Петр Максимович кивнул.

— Образ доктора Астрова, с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека, требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актера.

В это время Тата Базилевич внесла на подносе два стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился: что за глаза у этой девушки! Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета.

— У меня прекрасная молодежь, — сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью.

— Вижу, вижу, — пробормотал Петр Максимович. — Радуюсь.

Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю.

Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь в общем хороша! Это бесспорно.

Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить.

— Прежде всего, — сказал он, — я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова.

Во втором ряду встал смущенный молодой человек.

— Вы были в лесах? — спросил его Петр Максимович.

— Да, — ответил юноша; звали его Женей Горбачовым. — Но, конечно, мало.

— Так вот, — сказал Петр Максимович, — я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя два месяца в настоящем заповедном лесу.

Юноша вспыхнул, заулыбался.

— А как же мы? — испуганным шепотом, но так, что было слышно во всем зале, спросила Тата.

— Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом. Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего...

Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это

сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское: «лесов таинственная сень»? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как «Подруга дней моих суровых» или «Роняет лес багряный свой убор». Извините, что цитирую только Пушкина: стихи позднейших поэтов не с такой ясностью удержались у меня в памяти.

Леса являются величайшими источниками вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха.

Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре их всего двести — триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчетной радости и силы, охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов.

Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам — лазутчикам пустыни. Он является конденсатором

влаги: росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях.

Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой плодородной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развевается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные, или черные, бури.

Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы.

В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека — теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем.

Блестящие слова о роли лесов сказал Энгельс:

«Людям, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги».

...Сегодня я был в Кремле, — сказал, помолчав, Петр Максимович. — Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в двадцать миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубили и обратили в пустыри пятьсот тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожили превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине и

дубравы Украины. В Орловской области они вырубили все рощи, воспетые нашим Тургеневым.

Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее пяти тысяч способов ее применения.

Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстрорастущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев: сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема «преодоления времени», иначе говоря — ускорения роста деревьев, в самом недалеком времени будет решена нашими учеными.

Мы — великая лесная держава. Наша лесная наука — наиболее передовая. По признанию ученых Запада, она является освежительным противоядием против той сухой и эмпирической лесной литературы, которая наводняла мир из скучных кабинетов немецких ученых.

Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих — таких, как покойный Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям и ветровалу, обследуя северные лесные массивы.

Это все подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами.

Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает!

Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, входит, наконец, в глубину тор-

жественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прохладой листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои и коры исчезает усталость.

Великая сила жизни видна во всем: в колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у костра, и рядом с ним садится тишина. Звезды, во сто крат более яркие, чем над пыльным пологом городов, загораются в небе.

При взгляде на них человек начинает понимать все величие мироздания, начинает понимать, что значит заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром, полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей, и рассветов, и дней, и вечеров, когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов. Не знаю.

Позвольте мне закончить это короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он — мертвец и сухое полено...

Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не выпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему не скоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и увела в кабинет.

Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула:

— Как я за Колю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали! Какое удивительное дело он выбрал!

Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся и ждал его.

Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачева, сел сам и приказал шоферу везти всех на речной вокзал, в Химки.

Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское

шоссе. Там он «показал марку». Машина понеслась, как торпеда, лишь изредка приседая на рессорах.

На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь. Блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туей, от воды — нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари.

Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре. Издалека долетали звуки оркестра: должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход.

— Что играют? — спросила Тата.

Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание, и можно было только догадаться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари.

Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными.

Когда Женя Горбачов разлил в бокалы вино, кто-то осторожно взял Анфису сзади за плечо. Она быстро откинула голову.

Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевший, спокойный, и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису.

Анфиса вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею; коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой к колючей щеке Леонтьева и сказала:

— Родной мой, как вы меня напугали!

Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел, узнал Леонтьева и сказал:

— Вас нам как раз и не хватало.

Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал себе вина и сказал:

— Прямо из Берлина. Только демобилизовался. Всю войну мечтал о встрече с вами со всеми. И вот — можно поверить, что наша старушка Земля не без чудес, — все случилось так, как я думал.

Почему-то все замолчали. Слышнее стал оркестр, и как будто ярче загорелась заря.

— Кончено испытание, — промолвил Леонтьев. — Ну что ж! Выпьем, что ли, за хороших людей! И за леса, конечно!

ГОНКОЕ ДЕРЕВО

Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказал о главном, что произошло в Москве: о том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых Брянских лесов.

Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато, лучше о нем не болтать.

Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. «Терпеть не могу краснобаев! — говаривал он. — Ох, уж эти мне златоусты! Наговорят с три короба, а как дойдет до дела, так туда-сюда, пыр-мыр — и ничего не получается».

Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что, даже оставаясь без собеседника, он все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики. Она служила постоянной пищей для добродушных шуток над Петром Максимовичем.

План восстановления Брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не встретил возражений.

Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, «по-настоящему» — большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полос.

С давних времен Брянские сосновые леса были лучшими в стране. Это были корабельные боры превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов, бонитета.

Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов.

Такая почва дает сосне могучий рост и крупную и красивую древесину.

До революции брянская сосна ценилась и на внутреннем и на европейском рынке дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет Брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося освежающий, удивительный запах вековых сосен по всему миру.

Еще до революции на обширных порубках в Брянских лесах начали селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб. Овчинка не стоила выделки.

Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские боры на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобится, те лиственные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия.

План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в Брянских лесах.

Там же Петр Максимович заложил питомники скорорастущих деревьев.

Место для скорорастущих было удобное: средняя и теплая полоса России, отсутствие сильных ветров, хорошая почва. Наиболее пострадавшие от войны лесные области, где предстояло вести посадки, находились поблизости.

Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех, вместе с Колей.

Приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту.

Вблизи лесничества протекала река. Ее заливные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке была до войны водяная мельница, но фашисты ее сожгли, и осталась только плотина — любимое

место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой.

Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени: студия готовилась к выпускному экзамену.

Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе открытки, звала осенью хоть на две недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева и Петра Максимовича. Последнего она соблазняла разросшимися посадками по склонам знаменитых оврагов.

Леонтьев остался в Ленинграде и засел за свою «дорожную книгу». В письмах к Коле он жаловался, что получается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма.

Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план — нечто недостижимое. С первых же страниц план трещит, расползается, и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана начинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах справиться с внутренней логикой вещи.

Особенно возмущали Леонтьева его герои. Как только они появлялись, то сейчас же с непонятным упорством начинали сопротивляться Леонтьеву, делали что хотели (и, очевидно, как раз то, что им и нужно было делать) и производили на Леонтьева впечатление хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы. Но это не помогало.

— Вот профессия! — говорил в сердцах Леонтьев. — Чтоб ей пропасть!

Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. «Все равно, — говорил он, — буду есть мякину, а литературу не кину».

Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился через две недели.

Выяснилось, что он сначала побывал в том селе, где была похоронена Аграфена, а оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с томиком Лермонтова в кармане и фотографией Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом.

Больше Леонтьев ничего никому не рассказывал, и Коля, естественно, его ни о чем не расспрашивал.

После поездки Леонтьев три дня не выходил из своей квартиры. Но после этих трех дней он вышел спокойный, как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами, долго, положив на ладонь, рассматривал их, потом снова спрятал в ящик стола.

Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество, к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы вчерне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда.

В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скорорастущих деревьев. Лесники называли эти деревья «гонким деревом».

Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и «экзотов» — скорорастущих заморских деревьев: дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Муррея.

Коля хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами. Особенно сосна Муррея.

Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство было вызвано тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать — двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет.

Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны, вокруг нее образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковыряли из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена.

Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В Средней России этот тополь за шесть лет вытягивался в вышину на девять метров.

Но самым замечательным из «быстроходных» деревьев была, конечно, дугласова пихта. У себя на родине, в Канаде, она уходит в высоту на семьдесят пять метров. Средний возраст дугласовой пихты доходил до тысячи лет.

Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной.

Скорорастущие «экзоты» были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов.

Сейчас он работал над выращиванием быстрорастущих деревьев из наших отечественных пород — ивы, сосны, ели. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов. Он вывел породу исполинской осины. За сорок лет она достигала сорока метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины.

Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста.

Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе.

Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям! Почему же лесовод не может посвятить

любимому человеку прекрасное дерево, на которое потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, стольких же забот, как и работа над книгой.

Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые, слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы согреть их и не дать туману съесть побеги.

КИПРЕЙ

В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачовым.

Коля поехал встречать их в городок на большой реке — туда подходила ветка железной дороги.

Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням.

Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сенной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вощины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на деревьях галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглой деревянной тумбе у входа была наклеена афиша: в кино «Аврора» шла новая картина «Машенька». Коля усмехнулся: подходящее название для кино в таком городке — «Аврора»! Богиня утренней зари!

Поезд должен был прийти только на следующее утро, и Коля переночевал в Доме колхозника.

Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил, гогоча, заспанный, недовольный гусь.

Дом колхозника стоял на юру. Коля, вытираясь, видел, как в туманах, в свежести, еще оставшейся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в вышину, где еще висел месяц, усталый и побледневший от ночного скитания по огромному небу.

Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока товарный вагон.

Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал — Анфиса уже спрыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку.

Анфиса крепко поцеловала Колю и сказала:

— Как все-таки мы много путешествуем, Коля!

— Никогда я не был в таких глубинных местах, — заметил, оглядываясь, Женя. — Очень все интересно.

Женя удивился телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля.

— Доедем! — успокоил его Коля. — Садитесь. По дороге завернем в чайную на берегу, около плашкоута. Выпьем чаю, закусим.

В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску; он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар.

И Анфисе, и Коле, и даже Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действие которого происходит в безвестном городке, романа с чайными, с заглохшими садами, молодой любовью, дружбой — романа, занесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги.

Было слышно, как по сырым оврагам тихонько бормотали родники. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами. Ведра звякали в тишине.

Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем.

Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни. Лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой и хвостом.

Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару.

Коля распряг мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно фыркал и срывал листья серыми, замшевыми губами. Слепни исчезли.

Очень хотелось пить. Они напились воды из круглой ямки во мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодная и чистая. Если приглядеться, то была видна тихая струйка воды, бившая откуда-то снизу, из мха. Она покачивала утонувшую в этой криничке высохшую ветку брусники.

Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Кора кое-где отвалилась. Виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилища внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Зачем она им была нужна, непонятно. Сбоку на пне вырос древесный гриб — желтый, как сера. Потом прилетел бархатный шмель — черный, с золотой полоской на брюшке, — сел на цветы кипрея и деловито загудел.

— Как здорово! — промолвил Женя. — Такой пень можно рассматривать без конца.

— Этот старый, перегнивший пень, — сказал Коля, — при умении можно прочесть, как книгу. Он весь в иероглифах.

— Как это? Какую книгу?

— Книгу о круговороте жизни в природе. И еще о многом. Вот, смотрите, около пня растет кипрей. Но только около пня. На полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом, а такая почва всегда образуется около муравейников. Редкий цветок. Помните, на гарях целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на гарях сжигать

молодые побеги деревьев. Нигде, как на гарях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И, кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходам. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало: кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но и их слабые корни.

— Слушай, Коля, — сказала Анфиса, — это похоже на какую-то сказку. Цветок-нянька! На месте Леонтьева я только бы и писала, что об этих травах и деревьях. Хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать! Надо его растормошить.

— Каждый может это знать, — ответил Коля, — но передать по-настоящему может, конечно, только поэт.

Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и сразу же набрал высоту.

— Вот Петр Максимович, — сказал, помолчав, Коля, — говорит, что в будущих лесах должно быть много пасек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники. И, кстати, в лесах будут жить хорошие люди — пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей.

...Жара начала спадать. Небо медленно заволоклось тучами, по лесу прошел ветер.

Коля запряг мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он хлестал мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу.

В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох.

— Дождь! — сказала Анфиса и вытянула руку.

Тотчас ей на ладонь упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья.

Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром.

Потом вдруг дождь припустил и начал часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Чащи весело и торопливо зашумели, листва покрылась мокрым

блеском, а от спины мерина повалил пар. Стащили с сена на телеге грубое полосатое рядно и накрылись им, как палаткой.

Дождь усиливался. Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри.

Коля свернул лошадь с большака на боковую дорогу.

— Ты куда? — спросила Анфиса.

— Тут лесная сторожка рядом. Надо переждать.

Около лесной сторожки их облаял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги.

На крыльцо вышел худой лесник.

— Назад! — крикнул он на пса, но тот уже прыгал на Женю и в конце концов ухитрился лизнуть в лицо и его.

— Дождиком прихватило? — спросил лесник.— Похоже, обкладывает. Пожалуйте в избу.

Вошли в избу. В ней никого не было.

— Хозяйки у меня нету, — сказал лесник. — Померла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпейте.

— А кто же у вас корову доит? — спросила Анфиса.

— Самому приходится, — неохотно ответил лесник.

Лесник делал все медленно: достал чашки, деревянную солонку с коричневой солью, поставил самовар, потом полез в подпол.

Пока он возился в подполе, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее не мигая. Когда лесник вылез из подпола, Анфиса спросила:

— Кто это у вас там?

— Где? — встревоженно спросил лесник.

— На печке.

Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох и он этим недоволен. Все молчали.

Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать цигарку и, помолчав, сказал вполголоса:

— Дочка там у меня. Маша. Хворая.

— А что с ней? — так же тихо спросила Анфиса.

— Душевная у нее болезнь. Дикая она, пугливая. Людей боится.Ране я на людном кордоне служил, да вот перевелся сюда, в самый глушняк. Тут потише. Прохожие люди ее не беспокоят.

— С чего же это она? — спросил Коля.

— Да-а... — сказал, не расслышав вопроса, лесник, — была девочка звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы — никаких тебе малиновок не надо! Как пришли фашисты, мы с ними, понятно, бились здесь, в своем лесу. Партизанили. Маша, понятно, при мне — куда ей деваться. Побегла она как-то на Покров в соседнее село, а вернулась уже не в себе. Вся черная, заикается, ко мне жмется. А там, видишь, какое дело: фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может. Не все! Не выдержала. С тех пор так и пошло: от людей хоронится, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я неласково вас встретил. Все опасаюсь, как бы ей хуже от людей не было. Но, замечаю, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она не боится.

Лесник обернулся к печке, сказал:

— Маша! А Маша! Ты выйди. Это люди хорошие. Они с добром к нам приехали.

— Здравствуйте, — сказала шепотом из-за занавески девочка.

— Здравствуй, Маша, — ответила Анфиса. — Слезай, иди к нам. Будем чай пить вместе. У меня гостинцы для тебя есть.

— Я босая, — ответила девочка.

— Ну что ж, что босая? Я тоже разуться могу.

Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису.

— Вы ее больше не кличьте, — сказал лесник, — а то опять напугается. Она, может, сама придет.

Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу, долго смотрела на Анфису жадными глазами,

потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке у Анфисы и сказала:

— Там старичок сидит. Чего-то весь день пилит и пилит. Только ваш старичок махонький, а наш большой.

— Какой ваш?

— А вон тот! — Девочка показала на старые ходики. — Наш старичок кузнец. Он ножик кует. Как выкует — всех зарежет.

— Ты брось, дурочка, выдумывать! — строго сказал лесник. — Ни к чему это все!

Губы у девочки задрожали. Она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, погладила ее плечи, растрепанные косицы. Девочка уткнулась горячим, мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала, никак не могла остановиться.

— Ну чего ты? — сказала Анфиса. — Он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой. Зачем же его обижать!

Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней.

— Отошла, — сказал лесник. — А со мной бы — нипочем. Вот беда!

— Лаской ее можно вылечить, — заметил Коля.

— Оно, конечно, так. Да на ласку, милый человек, времени много нужно. А где его взять? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает бог знает что.

— Я за ней дня через три приеду, — сказала Анфиса. — Возьму ее на время в лесничество. Может быть, там у нее все и пройдет... Поедешь со мной, Маша?

— Поеду, — едва слышно ответила девочка и еще крепче прижалась к Анфисе, к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами.

— Да... — сказал лесник. — Незнамо как и благодарить. Женское сердце — оно все одолеет. Это уж истинно!

Дождь прошел только к ночи. Туча ушла куда-то за леса. Низко, касаясь верхушек деревьев, взошла луна. Свет ее блестел в лужах.

Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена.

Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же: лес и лес и блеск лунного света на дуге. Она слышала отрывистые разговоры Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца.

СТАРЫЕ СЕРЬГИ

Леонтьев сговорился в городке с веснушчатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в лесничество, к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком.

Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это, в свою очередь, удивило и почему-то даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве.

Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На наплавном мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталинград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил:

— Огонька нету? Я свой коробок подмочил.

Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивало.

В темной струящейся воде что-то поблескивало.

— Головли, — сказал человек с медалями. — Нету клева. Шут их разберет, какая им насадка нужна! Подойдут, понюхают и уйдут.

— Хорошо здесь у вас!

— Да, — согласился человек с медалями. — Это точно, хорошо... Далеко идете?

— В лесничество.

— Ну и развернулись там наши ученые! — с гордостью сказал человек с медалями. — Леса сажают по

всей округе. Да как! Через двадцать лет тут будет рай сущий. Это точно!

Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилище и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу.

— Шалишь! — сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее на настил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце.

Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала:

— Вот тебе, голубчик, и добыча. Хочешь меняться?

— На что?

— Сметанка у меня есть.

— Езжай! — сказал человек.— Привыкли меняться. Может, еще и кобылу выменяешь.

— Что ты! — ответила женщина. — Шутишь как несообразно. Кобыла колхозная. А мне ушицы охота попробовать. Я ее очень обожаю.

Женщина задергала вожжами и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше.

Кончался август. В лугах облепляла лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной: крапивницы и лимонницы.

Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то и праздничное и грустное, как в коротком возвращении детства.

Леонтьев прошел мимо поемного озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая сладковатая мякоть ему очень понравилась.

За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел: тысячи молодых сосенок зеленели в бороздах, поросших кипреем.

Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкий маслюк. К нему прилипла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться. На травинку села лимонница,

сложила молитвенно крылышки и уснула. От земли потягивало теплом. Леонтьев не заметил, как задремал.

Сквозь дремоту он думал о своей книге. Удалось ли ему передать в ней очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, трудно будет читать такую книгу. Человек стал тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что написано.

Он думал, что труд его, кажется, не пропал даром, что ему удалось передать читателям частицу своей любви к родной стране. Это его успокоило.

Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит.

На дороге стояла девочка лет десяти, русоволосая, немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками. В руке она держала кошелку с грибами.

— Тебя как звать? — спросил Леонтьев. — Феней?

— Нет. Я Настя. Я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите? Голову нажжете.

— Ты откуда?

— Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?

— Похожа ты на Феню. Потому и назвал.

— А откуда вы ее знаете, Феню?

— Знаю.

— Вот и неправда! — засмеялась девочка. — Она «сахар» сказать не может. Говорит «шахар». И вовсе на меня не похожа.

— Да ну! — удивился Леонтьев. — Значит, это не та Феня.

— Одна у нас Феня. У нее нос рыжий. От веснушек.

— Ну, пойдем, — сказал Леонтьев и поднялся. — Мне тоже в лесничество. Далеко еще идти?

— Часа два, — ответила Настя. — Я быстро хожу.

И она проворно пошла по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись набок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами.

— У нас в лесничестве теперь новая девочка живет, — сказала Настя. — Маша, лесниковская дочка. Она с отцом жила на кордоне. А ему трудно. Она боль-

ная, Маша. Будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество.

— Зачем?

— Чтобы, значит, вылечить ее.

— Ну и как?

— Ничего. Полегчало. Маша с нами теперь даже играет. А ране, бывало, как увидит кого из нас, так и бежит, бежит — не догонишь.

— А кто же эта молодая тетенька?

— Артистка! — ответила с гордостью Настя. — Я вырасту, тоже пойду в артистки. Буду плясать.

«Анфиса! — подумал Леонтьев. — Конечно, она».

Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко, на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая поросль.

Но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи, а пни спилены под корень. В этих местах порубка уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса.

— Это здесь фашисты лес валили, — сказала девочка. — Хотели наших остановить. Смотри, чего наломали. А нынче все это прибирают, и тут новый лес посадят из какого-то дерева — я забыла, как его зовут. Оно духовитое. И мы тоже лес сажаем.

— Кто это «мы»?

— Ребята. Мы старших иногда обгоняем.

Девочка шла все быстрее. Леонтьев за ней не поспевал. Да ему и не хотелось торопиться.

— Ты беги, — предложил он девочке. — Дорога прямая, я сам дойду.

— Ладно. А то мне поскорее надо.

Она кивнула Леонтьеву и уже через минуту была далеко, а потом и совсем исчезла за густой порослью.

Леонтьев остановился. Среди поваленных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне.

Леонтьев подошел к нему. Башня была открыта. Из нее пахнуло нагретым воздухом. Серая ящерица, заме-

тив Леонтьева, быстро побежала по броне и юркнула внутрь танка. Там было пусто. Виднелись острые зубцы развороченного взрывом металла.

Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втоптанной в землю кожаной рукавицы. Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу.

Он потрогал на танке выбоины от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят и что никакие танки и бомбы не остановят движения нашей жизни. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Он пошел дальше. День был на исходе. Мошкара толкалась в теплом воздухе. На землю спускалась предвечерняя дымка.

Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое: мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замахал рукой, крикнул:

— Эге-гей!

Ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся, и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки.

— Черт знает что! — сказал он, когда они подбежали к нему. — Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!

Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи.

Анфиса бранила его за то, что он ничего не написал, и если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили.

Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного, но на это не хватит не то что часов, но целых дней, и потому все разговоры придется отложить.

Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червонного золота, что все вокруг пылало.

— Пора идти, — сказал, вставая, Коля. — Тут кругом болота. Будет туман.

Они встали.

— Ну как, — спросил Леонтьев, — вы поженились?

Анфиса и Коля переглянулись, потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула.

Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр и раскрыл его. В нем лежали две простые сережки. Заходящее солнце бросило на них свой последний свет, и в каждой серьге загорелась яркая капля воды.

— Это что? — тихо спросила Анфиса.

— Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке Фене?

— Ну да, помню, — еще тише сказала Анфиса.

— Это они. Нагните голову.

Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вдел серьги в мочки ее маленьких, зардевшихся от волнения ушей.

— Это вам, — сказал Леонтьев. — Не от меня. От Аграфены, от Марии Трофимовны. Потому что вы — одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи.

Анфиса опустила голову. Румянец сошел с ее щек. Она была очень бледна.

Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой рукой притянула к себе Колю, крепко прижалась к их лицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро пошла по дороге.

Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал.

— Ничего, — сказал Леонтьев. — Успокоится.

Сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, а когда они подошли, взяла их под руки, и они пошли рядом.

Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто, на первый взгляд, ничего необыкновенного не произошло.

Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно все осмыслить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам.

«Может быть, золотой век уже рядом», — подумал Леонтьев.

Перед этим сознанием меркнет все — все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно продолжен на карте. Это главное.

И как за вечерней зарей неизбежно придет утренняя, во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, в бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившейся за середину, придет жизнь молодежи — и Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей.

Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный, привлекательный труд — все, что наполняет жизнь смыслом и радостью.

В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце. И наша самая высокая награда — в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что мы выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым поколениям и к новым, счастливым временам.

1948 г.

ЗОЛОТАЯ РОЗА

Повесть



Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти.

Салтыков-Щедрин

Всегда следует стремиться к прекрасному.

Оноре Бальзак

Многое в этой работе выражено отрывисто и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Огромные пласты идейных обоснований нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет больших разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

ДРАГОЦЕННАЯ ПЫЛЬ

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал ремесленные мастерские в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись

только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет как мог заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ламанша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка,

к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это ненужное время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

— Таких золотых роз мало на свете, — говорила мать Шамета. — Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик Шамет с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник, бородатый, веселый и чудной. Лачугу

с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Все может быть, — ответил Шамет. — Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за поношенной челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли, — престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Анναме. В Индо-Китае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатым желтым ртом — тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. — Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко — старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью

же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледном сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в эту пору в Сене очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня нет теперь дома, — быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом. — Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан Эрнест Шамет, тот рядовой Двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

— Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. — Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

— Э-э, глупости! — пробормотал Шамет. — Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, — погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его пиджака. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

— Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял — пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

— У меня, — торопливо сказал он, — есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто — хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, — проворчал ей напоследок Шамет, — то будь счастлива.

— Я ничего еще не знаю, — ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка, — недовольно протянул молодой актер и повторил: — Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна. — Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет. — Во всяком случае не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал об этом. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег, — любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность поношенного урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это хилое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старого пиджака. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Что не дает жизнь, то дает смерть», — подумал ювелир, склонный к дешевым мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка Жана Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, — все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» — повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Уди-

вительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

НАДПИСЬ НА ВАЛУНЕ

Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних.

Салтыков-Щедрин

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы — там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, заглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества с глазу на глаз с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы есть маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, заку-

танными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих же товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело — опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости — и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов — зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом «Мультатули». По-латыни это означает «Многострадальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины — Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я — сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гёзов» и Тиля Уленшпигеля. До сих пор «пепел Клааса стучит» в сердца многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву,

а недолгое время спустя — даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но... «пепел Клааса стучал в его сердце», и Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он попытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негоциантами.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмехался над вице-королем и его приближенными, — конечно, добрыми христианами, — ссылаясь в объяснение своих поступков на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули стал на сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом — о своих соотечественниках.

Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинуясь голосу сердца, иными словами, повинуясь жившему в нем, но до тех пор еще не ясному призванию, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или торговцы кофе». Но это была только

первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга «Письма любви» была написана с потрясающей силой. Эту силу Мультатули давала исступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги написаны то как горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то как едкие и остроумные притчи-памфлеты, то как нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то как последние попытки воскресить веру своего наивного детства.

«Бога нет, или он должен быть добр», — писал Мультатули. — «Когда же, наконец, перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме — у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег даже на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное голландское издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг — тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолел море». И, может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу.

Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник — художник Винсент Ван-Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван-Гога. Он мечтал создать во Франции «братство художников» — своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ваг-Гог много перестрадал. Он опустился на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем талантом.

Дело художника рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел сильнее всего, — красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле — в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, для того чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван-Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее,

чем обладал, — свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо знал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего — свои картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван-Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван-Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владетелями искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то, что она существует независимо от их воли.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом.

В правильном понимании писательского призвания совершенно нет тех качеств, какие ему стараются при-

писать дешевые скептики, — ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя — не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди».

ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о занятии литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспоминать, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве горячée солнце, гуще трава, обильнее дожди, темнее небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным — будь это плотник с набором фуганков, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов, разница между ними невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие — пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!
Тихо падает дождь на полях.
И в края, где горит дымно-алый осенний закат,
Пожелтелые листья летят...

Но это еще милость. Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красивости:

И опалами блещет печаль о любимом Саади
На страницах медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» — этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было определенное море — не Черное, не Балтийское и Средиземное, а праздничное «море вообще». Оно соединяло все разнообразие красок, все преувеличения, всю безудержную романтику, лишенную подлинных людей, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь это экзотика тропических стран или гражданской войны.

Экзотика придает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае я не проклинаю детское свое увлечение экзотикой.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Я часто живу в деревне и присматриваюсь к играм колхозных детей. В них всегда присутствует экзотика океанских плаваний на плотах (по мелкому озеру с неблагозвучным названием «Телячье»), полетов на звезды или открытия таинственных стран. Соседскими детьми была, например, открыта в лугах неведомая страна. Они назвали ее «Лукоморьем». Это было озеро со множеством заливов, до того заросшее кугой, что только на самой его середине блестело оконце воды.

Экзотика, конечно, не исчезла из моего сознания сразу. Она долго держалась, как держится стойкий запах сирени в садах. Она преображала в моих глазах знакомый, даже надоевший Киев.

Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая — грозовая и влажная — страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.
Ты — нежная. Ты счастье мне сулила
На суетной земле...

С этим временем у меня была связана первая влюбленность — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, — застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно, но и меня постигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла бо̀льшая часть моей бедной и по существу довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович» — еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шелопаев сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядном, и кучер Игнатий Лойола (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых

ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях. У всех старух были слезящиеся глаза.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидело двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел сгорбившись и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы, — он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

— Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый гривенник жжет ему руки. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов, — сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, — вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек. — За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося. — Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! —сказал с отчаянием Никифор. — Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и то не позволяют! — не слушая Иосю, сказал Никифор. — Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

— Хватит! — повторил Иося. — За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. От того, что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной, — спокойно, даже одобрительно сказал Никифор. — Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося. — Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной, — печально ответил Никифор. — Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор. — Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. — Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она. — Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчины не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся.
Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите
На мою могилку.
Колбасы мне принесите
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня. — И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер. — Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка, — сказала Маня. — На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу, — глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос пискливый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська, — светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалим-

ский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер. — Это была женщина!

— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня. — Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом, и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин, — сказала она. — Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, — говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она

плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в судный день, она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая — должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне — зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть, — сказал парикмахер. — Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня. — А как дойдет до дела, так будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце, — ответил парикмахер и пожал плечами, — какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а

комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной любящей женщине.

Думая об этом, я вспомнил слова: «Ужасный век, ужасные сердца», — и решил написать свой первый, как я говорил себе, «*настоящий* рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

— Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни

страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как он и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно, — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

МОЛНИЯ

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

— Представьте себе, — ответил Джинс, — исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее на душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно он зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание» замысла происходит совсем не так, как это представляют себе наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит,

стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».

Чтобы дать созреть замыслу, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:

— Мама, он мечту мечтает? Или что?

— Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту, — разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал»!

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие несомненно звучат сейчас в его душе, — совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же, как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Критики, — сказал он вдобавок, — смешивают вдохновение с восторгом». Так же, как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше, — совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин), «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов), «Приближается звук, и, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов.
Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что *вдруг открывается то, что можно сделать*. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесплодно, не одарив собою людей.

БУНТ ГЕРОЕВ

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным казалось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными изможденными людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние тайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались — нет ли поблизости пристава или городового? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

— Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и ихний характер знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми — не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков — Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

— Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и мощно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба

людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

...Пушкин молодой, сей *ветреник* блестящий,
Все под пером своим *шутя* животворящий...

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как написать его, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: «Я вишу у дверей, — звони веселей!» «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой». Их зовут «дарвалдаями». Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками, — страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на

рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то все приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик, — все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют так, как это соответствует их характеру, несмотря на то, что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать не по возникшей внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

— Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы, — говорил Алексей Николаевич Толстой, — не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула, и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Это ни в коей мере не опорочивает план, не сводит роль писателя лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, всем его внутренним строем.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОВЕСТИ

„ПЛАНЕТА МАРЦ"

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

— Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уноситесь с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. «Звездочет» слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

— Ну как? — спросил отец. — Ты видишь что-нибудь?

— Да, — ответил я. — Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди — марсияне — и что они выкопали неизвестно для чего на своей планете громадные каналы.

— Ну, положим! — сказал отец. — Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном — итальянец Скиапарелли — и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на «Звездочета» никакого впечатления.

— И еще я вижу какую-то планету налево от Марса, — сказал я неуверенно. — Но она почему-то бегает по небу во все стороны.

— Да яка ж це планета! — добродушно воскликнул «Звездочет». — То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс!

— Почему он красный, как кирпич? — спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша земля, — с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

— Значит, Марс — шар из песка? — спросил я.

— Да, пожалуй, — согласился отец. — То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя

я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» — верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

— Катится, кат, чертяка! Чтоб ему сгинуть на веки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

— Та то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье наближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

— Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я поплетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховей настиг меня на пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник.

— Господи, спаси и помилуй! — испуганно бормотала она. — Пречистая богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было — он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракитах завяли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мука, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью.

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать красную завязку у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил:

— Когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито. И садочки, и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

— Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил:

— Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

— А можно что-нибудь сделать? — спросил я.

— Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стену в две тысячи верст длиной.

— Почему? — спросил я. — Построили же китайцы свою Великую стену.

— Так то китайцы, — ответил отец. — Они были великие мастера.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но, конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших непонятное беспокойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

ДЕВОНСКИЙ ИЗВЕСТНЯК

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны, Орловской области. Я писал тогда мой первый роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина — продавца газет в станционном киоске — была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая — Анфиса и младшая — Полина.

Полина — слабенькая, прозрачная,— когда разговаривала со мной, то все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому, — только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много изъеденных мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал свой роман! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.

Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и случилось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

— Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Изверги! Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! — крикнула она и задохлась.

— Мать, уймись! — неуверенно прикрикнул хозяин на жену. — Пусть живет дура по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.

— Не нужны мне ваши проклятые деньги! — крикнула Анфиса. — Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

— Господи! — прошептала она. — Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но прислушивался и долго не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

— Беда у нас, — сказал он за дверью мертвым голосом. — Не взыщите, что обеспокоил.

— А что случилось?

— Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы

уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес старухе валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить, почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

— Пойдемте на берег, — тихо сказала Полина.

— Фонарь у вас есть?

— Есть.

— Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

— Анфиса-а-а! — вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! — подумал я. — Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь едва светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и маленькую ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

— Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! — говорил перевозчик и зевал, сон у него еще не прошел. — Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица!

Нашли Анфису на следующее утро около плотины.

В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.

Какая-то старушка сказала мне:

— Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и не очень верил в нее. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади — боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее — не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле человек сорок мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Из кино вышел седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за странный человек. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.

Когда сеанс окончился, я вышел вместе с мальчишками и спросил их, что это за седой человек и почему он купил им билеты в кино.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее выяснилось.

Оказалось, что седой человек — брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от советского пра-

вительства большую пенсию. А за что — неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно узнавали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач — Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

— Незачем вам здесь жить, — тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. — Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким — одним из будущих героев повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.

Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

Мария Дмитриевна показала мне тетради Шацкого. Они были густо исписаны отдельными словами. Фраз не было. Выглядело это примерно так: «Гунны, Германия, Гогенцоллерны, гибель цивилизации», «Ливны, лукавство, лицемерие, ложь».

Это был набор слов на одну какую-нибудь букву. Но изредка в нем можно было уловить намеки на смысл.

Когда я работал, Шацкий никогда не мешал мне и даже по соседней комнате ходил на цыпочках.

История его болезни описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к басмачам. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго, он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

— Никогда так не ставьте туфли, — сердито сказал Шацкий. — Это опасно.

— Почему?

— Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

— Прочтите! — сказал он. — Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет Народных Комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит — маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю — «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей, и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это бы означало гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь — и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом, и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы — всем ворам хоромы, Ливны — ворами дивны, а Елец — всем ворам отец».

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье

Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

— Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

— Иди к себе! — так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел в свою комнату.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

Он показывал мне множество фотографий. От них бросало в дрожь. Только геолог мог сделать такие фотографии гор, причудливо изрытых сетью глубоких борозд и удивительно похожих на обнаженный человеческий мозг, или фотографии могучего сброса — зловещего плоскогорья Усть-Урт. Оно вздымалось над пустыней отвесной черной стеной.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо, — страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

— Пустыня умеет только убивать, — говорил он. — Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

— Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без устали, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне — отголосок моих детских лет.

— Если бы люди, — говорил Шацкий, — потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыни давно бы не было. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.

— Вася! — громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна. — Успокойся. Войны больше не будет. Никогда.

— Никогда — это ерунда! — неожиданно ответил ей Шацкий. — Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете, где? Около Адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела его, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Старуха все еще лежала. Старика не было дома. Полина пошла проводить меня до города.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие ро-

зовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней — одинокой и застенчивой — заполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней.

Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

— Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку — по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, дул в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый

ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной — не то болотной, не то речной — воде.

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении — писать, писать и писать!

Но что писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни — так называемое «вынашивание» замысла, вернее — наполнение его реальным материалом.

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

— Если жизнь сложится удачно, — говорил отец, — и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором — серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Калиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно резко запоминались.

Мне кажется, что это утверждение одинаково относится и к местностям и к людям.

У каждого есть представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе и он оставался для нас совершенно обыденным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа, — блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент.

Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это так.

Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности.

На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный цвет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами.

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти все, что мог найти в Ленинской библиотеке.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары,

докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Пришла пора ехать на Каспий, в Кара-Бугаз, но у меня не было денег.

Я пошел в одно из издательств и предложил директору, седому и скучному человеку, заключить со мной договор на книгу о Кара-Бугазе. Директор вяло выслушал меня и сказал:

— Нужно потерять всякое представление о советской действительности или не иметь его вовсе, чтобы предлагать издательству такую книгу.

— Почему же?

— В этом вашем заливе добывают глауберову соль. Неужели вы всерьез хотите писать роман о слабительной соли? Или вы смеетесь надо мной? Вы что ж, рассчитываете, что дурачки издатели потратят хоть копейку на эту нелепую затею?

Деньги я с великим трудом достал в другом месте.

Я поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скудные мои средства окончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты.

Для того чтобы написать эти очерки, я ездил в Астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки мне помогли написать книгу о Кара-Бугазе.

На Эмбу я плыл по Каспийскому морю, вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый, колесный пароход назывался странно — «Гелиотроп». Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают — все это было медное. «Гелиотроп» напоминал начищенный кирпичом до ярого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря.

Тюлени лежали в теплой воде вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами.

На рыбачьих пловучих пристанях — рыбницах — свистели и хохотали вслед «Гелиотропу» белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей.

Белые облака и белые песчаные острова отражались в глянцевитой воде, и временами их было невозможно отличить друг от друга.

Городишко Гурьев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде.

В Доссоре на Эмбе сопели среди озер с ярко-розовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом. В окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки. На них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно.

На Эмбе я ушел с головой в нефтяные дела, в разговоры о «соляных куполах», разведке в пустыне, о нефти тяжелой и легкой, о знаменитой нефтеносной лагуне Маракаибо в Венецуэле, куда ездили на практику эмбинские инженеры.

При мне одного из инженеров укусила фаланга. Он через день умер.

Средняя Азия дышала зноем. Звезды по ночам светили сквозь пыль. Старые казахи ходили по улицам в широких коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком — по розовой ткани были разбросаны огромные черные пионы и зеленые листья.

Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников астраханской газеты. Он затащил меня к себе, и я у него прижился.

Домик стоял на берегу Варвациева канала, в маленьком саду, где горами цвела настурция.

Я писал свои очерки в беседке — такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал.

Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина, весь день тайком плакала на кухне,

перебирая распашонки, — у нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик.

Из Астрахани я уехал в Махач-Калу, Баку и Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в «Кара-Бугазе».

Я возвратился в Москву, но через несколько дней мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал — в Березники и Соликамск.

Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы.

Там я начал писать «Кара-Бугаз» — в гостинице в Соликамске. Она помещалась в бывшем монастырском здании. Комната была сводчатая, холодная, и, кроме меня, там жили, как на фронте, три инженера-химика — один мужчина и две женщины. Инженеры работали на Соликамских калийных шахтах.

В гостинице пахло XVII веком — ладаном, хлебом, кожами. По ночам ночные сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алебастровые соборы времен «царствования Строгановых».

Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать.

Вот очень короткая, рассказанная скороговоркой история «Кара-Бугаза». Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были на моем пути.

Вы, конечно, заметили, что только часть — и то, пожалуй, небольшая — собранного материала вошла в повесть. Большая часть его осталась за бортом книги.

Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги.

Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем.

Когда я работал над «Кара-Бугазом», я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни можно наполнить лирическим и героическим звучанием и выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах.

Все это может с огромной силой ударить по сердцам, но при непременном условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю.

На днях я читал стихи Павла Антокольского и нашел в них две строфы, хорошо передающие состояние влюбленного в жизнь человеческого сердца. Это сердце не может не слышать, должно слышать

И стоны скрипок отдаленных,
Предчувствующих ход весны,
И отклик скрипкам в миллионах
Звенящих капель тишины —

Всю эту музыку вселенной,
Которая, из века в век,
Пребудет чистой и нетленной,
Чтоб радовался человек...

ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Батюшков

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает.

Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни.

Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни», — не изучают.

Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала — живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни.

Тот, кто будет *заставлять себя* накапливать наблюдения и носиться со своими записями («как бы чего не забыть»), конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками.

Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно, их наблюдать. Наблюдать, так сказать, «по долгу службы», из чисто деловых побуждений.

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина

Ивановна. Единственная ее дочь Настя жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная, с глу-

хим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твердо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом, — люди, события, отдельные частности и подробности, — это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова и портрет Полины Виардо.

Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Все вещи — диваны, столы и стулья — были сделаны из светлого дерева, блестели от времени и пахли кипарисом, как иконы.

В доме было много смешных вещей: медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щеточка, чтобы сти-

рать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки.

Было три толстых календаря — за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую — жену Пушкина и Елизавету Ксаверьевну Воронцову — женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю — почему? Может быть, оттого, что в доме было мертвенно тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи:

Ненастный день потух. Ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой.
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла.

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Я ее стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, — воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны — не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает, забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Неровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад, — в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.

— Дорогой мой, — сказала Катерина Ивановна, — уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

— Не дай вам бог, родной мой, — сказала она мне, — дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повел ее домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мать!

Вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.

Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана.

Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как колхозный сторож стучит у околицы в колотушку.

Тогда я заинтересовался Торвальдсеном, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.

А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть ближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.

Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница была далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.

Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но

длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.

Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, — приказ о том, что на нее надеть после смерти, — и отдал записку женщинам, что пришли утром прибрать Катерину Ивановну в последний ее путь.

Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала прибранная на столе, и я остановился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к ее корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, то можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это и происходит постоянно.

Сплошь и рядом для небольшого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.

Мне пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и об его биографии, о той среде, из которой он вышел.

Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы.

То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.

Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.

Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской яйлы.

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд.

Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».

Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов:

Прощай, земля! Корабль уходит в море,
И чайки след остался за кормой...

По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании.

Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба.

Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.

Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.

Я читал книгу Франко о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз.

В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину, не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма.

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар писал тогда самый изумительный свой рассказ — «Голубую чашку». И прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в ином соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК

> Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.
>
> *Гоголь*

РОДНИК В МЕЛКОЛЕСЬЕ

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аква марин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Оче-

видно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе, — воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, — в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — язык самого народа, язык колхозников, паромщиков, пастухов, пасечников, охотников, рыбаков, старых рабочих, лесных объездчиков, бакенщиков, кустарей, сельских живописцев, ремесленников и всех тех бывалых людей, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и милы.

Кое-где во мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. — Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть, — согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова, — неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. — И вот, скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается.

Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек, простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, — родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековый опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

ЯЗЫК И ПРИРОДА

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кибает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя

еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают *крапать* первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь *расходится.* Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик *припустил»,* «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают

буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, *стеной.*

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и *заваливаются* за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а *свалилась.*

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома́!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал «смотреть гро́ма», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало резкую выразительность слову.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверие, что зарницы «зарят хлеб»,— освещают его по ночам — и от этого хлеб наливается быстрее.

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться — все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и

стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате своей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская мглу ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны

каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

Тот народ, который создал такой язык, — поистине великий и счастливый народ.

ГРУДЫ ЦВЕТОВ И ТРАВ

Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят.

Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску...

Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряный свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?

Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина.

Юрин был придирчиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России.

Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной, географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам.

Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке,

как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.

— Вы знаете, как это называется? — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.

— Нет, не знаю.

— Свей, — ответил Юрин. — Ветер свевает песок в эту рябь. Потому и такое слово.

Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову.

Вот почему Есенин написал «ветряный свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы.

Родина Есенина — село Константиново (теперь Есенино) было недалеко за Окой.

В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей.

В этих, как будто безлюдных лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими, крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день.

Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха, — должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу.

Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик.

Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно

быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о воздушной тревоге.

— Трявога, трявога! — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом. — Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братию, а чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги!» Вот скажу отцу, он тебя проучит.

— А мой Петька анадысь, — сказала другая девочка, — двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.

— Врешь ты все, Нюрка! — сказал басом маленький мальчик. — Петьку маменька утюжила. И то чуть.

— Ишь, сопливый! — прикрикнула Нюрка. — Разговаривай у меня!

— Слушайте, девочки! — радостно воскликнула хрипловатая. — Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно.

— А чего ж он горит, Клава? — испуганно спросила Нюрка.

— Клад показывает, — ответила Клава. — Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания — они тут же и сбудутся.

— Дай! — требовательно сказал мальчик.

— Чего тебе дать?

— Карандашик!

— Отвяжись ты от меня!

— Дай! — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом.— Дай карандашик, дурная!

— Ах, ты так?— крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок.— Несчастье мое! На что я тебя породила!

Мальчик непонятно почему, но сразу затих.

— А ты, милая, — сказала Клава притворным, сладеньким голосом, — не бей ребятишек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот как я действуй — учи их разуму. А то вырастут обалдуи — ни себе, ни людям никакой корысти.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка. — Попробуй поучи его! Он те дасть!

— Как не поучить!— возразила Клава.— Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает. Даже как зовется вот этот цвет — и то не знает.

— Курослеп, — сказал мальчик.

— Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.

— Мядуница, — поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мята. Повтори за мной: мята!

— Ну, мята, — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?

Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала:

— Вот, глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрёму, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чебрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав.

Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.

— Я обстрекалси-и-и! — вдруг густо заревел мальчик. — Куды вы меня завели, дурные?! В самые колючки! Теперь я домой не дойду!

— Эй, девчонки! — крикнул издали стариковский голос. — Вы чего малого обижаете?

— Да он, дед Пахом, сам обстрекалси! — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: — У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!

Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал:

— Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!

— Где лавит? — поспешно спросил мальчик. — Пусть мне дасть поудить!

— Куда полез! — крикнула Нюрка. — Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!

Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом:

— У вас, гражданин, покурить не найдется?

Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской.

Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал:

— Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку.

Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка — знает все цветы и травы.

— Это Клавка-то? — спросил он. — Да это колхозного конюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да, — сказал он, помолчав, и вздохнул. — У каждого цвета свое наименование... Паспортизация, значит.

Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я.

Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе.

Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Солнце уже садилось за Окой, за селом Есениным, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.

СЛОВАРИ

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина:

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа».

А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Баратынского:

И вот сентябрь! Замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбких вод
Неясным золотом трепещет.

Думая об этих словарях, особенно о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые», «луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о широких богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни.

Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь — для этого у меня не было познаний, — но хотя бы участвовать в работе над ним.

Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно.

Однажды почти все лето я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по

старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие.

Никогда до тех пор я не представлял себе целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени.

Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно.

Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом, старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружали такие заросли, что продраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно.

Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды (похожих на плоские двузубцы), репейника и других растений.

Дни стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь.

На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки.

Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались наконец до моей кожи и начали осторожно покалывать ее.

Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать.

Я опять отвлекся от «основной нити повествования» и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем. Тем более что оно имеет не-

которое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал — чисто сравнительное отношение к литературе, в частности к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания времени и умрут, как тот сентиментальный цветок, что «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней».

Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы — романтического дерева наших парков.

Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти не заметен. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха.

В этом есть целесообразность, но она нами еще целиком не разгадана.

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в стозвучной лире мой прах переживет и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых всех времен и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета!

Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки.

Я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых (почти фантастических) словарей.

У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие «личные» словари. Но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно.

То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, «свее» и именах разных трав и цветов, — тоже возобновленные в памяти «записи для словаря».

Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге, и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе я полюбил леса.

Первое «лесное» слово, какое меня совершенно заворожило, было *глухомань*. Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его (так же, как и слово *глушняк*) от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань!»

А затем уже шли настоящие лесные слова: корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары (сухие лесные болота), гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием.

Даже такой сухой технический термин, как «лесной межевой столб» или «пикет», полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим.

Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой.

Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала».

Почти всегда на этих столбах греются бабочки, сложив крылья, и озабоченно бегают муравьи.

Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека.

В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, в склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце.

Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб. И каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пережил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи и дни, и зиму и лето, будто дожидается тебя, как безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев да повилика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато, по-миндальному пахнет, разогревшись от лесной теплоты.

Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, подымаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода — зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой «суровой» водой.

С вышки можно охватить взглядом все дремучее полесье, весь торжественный лесной край — неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи.

Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане.

Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог,

под звездами, светившими сквозь кроны сосен одним только нам (потому что все вокруг спало непробудным сном), пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была закутана в туман.

Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря.

— Вот так бы сто лет! — сказал Гайдар.— Тебе бы хватило?

— Вряд ли.

— И мне бы не хватило. Давай котелок. Поставим чай.

Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком, и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он запел про себя незнакомую мне песню:

Лес дремучий, разбойничий
Темен с давних времен.
Нож булатный за пазухой
Горячо наточен.

От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, сердясь на неудобную корягу.

Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках по-

являются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не движение), когда лед начинает косо колоться и смещаться и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего по темным ночам, после того как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Невозможно перечислить все. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Вянет земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной («пряжей богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Осенняя пора — очей очарованье».

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом.

Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами.

Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы и, чтобы не сесть на мель, надо держать только по «главной струе».

Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку!

Паром — это шумный колхозный базар. Он заменяет собой народные сборища и колхозные чайные.

Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада!

Чтобы узнать все колхозные — и не только колхозные — новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти на заваленный сенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег.

Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром — высоким берегом — и толчется в воздухе и зудит мошкара.

Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, «легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца», но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор.

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях (их зовут дебаркадерами, или «конторками»), около наплавных мостов-плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.

Особенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без Медного всадника в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве.

Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одной из своих поэм великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо дана Ока.

Языков приносит в этой поэме поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки:

> ...поемистой, дубравной,
> В раздолье муромских песков
> Текущей царственно, блистательно и славно
> В виду почтенных берегов.

Ну что ж, запомним «почтенные берега» и будем благодарны за это Языкову.

Не менее чем «природными» словами, богата наша страна местными речениями и диалектами.

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбору, мало понятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое слово «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, если оно образно, благозвучно и понятно.

Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми

соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок.

Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, непонятна и малоинтересна. Но попадаются слова превосходные по своей выразительности — например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоем» — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что может охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоем».

Очень благозвучно и слово «Стожары», — так в этих областях (да и не только в них) народ называет Плеяды.

Это слово по созвучию вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно, как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно».

По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы:

— Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя.

Все эти слова — и окоем, и Стожары, и льзя, и глагол «сентябрит» (о первых осенних холодах) — я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым, — от одинокого крестьянина села Солотчи, Рязанской области, Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года.

Дед Семен был чистейшим образцом русского характера — гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни.

Обо всем он говорил по-своему и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где «мужики *кипели* до утра» в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят «по квитанции» (по чеку). Это ему казалось диким: «Нашто она мне, эта квитанция! Я заплатил — значит давай мне закуску и все!»

У деда Семена была своя золотая и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу.

Но пока что мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать «заподлицо» оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было немыслимо.

Как человек озаряет те места, где он живет! Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов.

•

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово.

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов.

В них были собраны все сведения о том или ином море: описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным.

Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равный промежуток лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина изменения языка больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно существует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так:

«Во время норд-оста берега покрываются густою мрачностью».

Для наших прадедов «мрачность» означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от «розы ветров» и кончая «гремящими сороковыми широтами» (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, пловучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовах — во всем том, что Алек-

сандр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же как и язык людей многих других профессий.

СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ АЛЬШВАНГА

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег ни разу не выпал, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил мор-

ковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мария Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи эти были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне. Мы истекаем кровью...»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось несколько тесемок — и все!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил

к нам в редакцию только Андрей Соболь — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболь принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболя почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я туго свернул жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заткнутую ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

Стоило, задумавшись, уставиться на нее, как она тотчас начинала жалобно потрескивать, моргать и тихо гасла. Поэтому я даже избегал смотреть на нее.

— К вам гражданин просится, — сказал Жора. — Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как думал Жора.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что, — сказал Благов. — Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного коня, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно — наверняка разденут. И при вас я пройдусь по рукописи.

— Что значит «пройдусь»? — спросил я. — «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду, — сказал Жора, — что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ, — ответил я. — Для очередного номера.

— Поимейте в виду, — снова сказал Жора, — что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень, — ответил я. — У вас есть сахарин?

— Есть, — ответил Жора. — В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я. — Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить

мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль, как извержение, взлетела над столом.

— Никто не трогал, — ответил я. — Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболь. — Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболь. — Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная вовремя.

КАК БУДТО ПУСТЯКИ

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из книги такого вдохновителя — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что чаще всего такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного писателя — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, причем я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Очевидно, и для него можно найти объяснение. Упомянул я об этом лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных на первый взгляд обстоятельств и навыков, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной плодовитости.

«Осень подходит, — писал Пушкин Плетневу. — Это — любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает».

Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженные ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Баратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гёте, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный творческий процесс поэта:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем.
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут.
И пальцы просятся к перу, перо — к бумаге.
Минута — и стихи свободно потекут...

Это поразительный анализ творчества. Его можно было создать только в порыве высокого душевного подъема.

У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропу-

щенным местам, но лишь тогда, когда у него бывал тот душевный подъем, который он называл вдохновением. Он никогда не старался вызвать его насильственно.

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в Мещерских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай, — сказал он, — не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Боборыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну, — сказал я, — выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «Пострадал, старик, пострадал!» — говорили пассажиры». Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я. — Смотря по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится»! — передразнил он меня. — К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, черт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

Но он долго не выдержал. Через двадцать минут он опять начал ходить у меня под окном.

— Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай, — сказал Гайдар, — раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты, знаешь, куда! — сказал я. — Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников! — сказал Гайдар, но все-таки ушел.

Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он. — Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг он добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье лэкривен рюс советик!

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать.

Гайдар возвращался еще несколько раз в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать ее.

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижеры, — наставительно ответил Гайдар, — кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.

— Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал, — сказал я с сомнением.

— На пари! — крикнул Гайдар. — Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его присмотрел. У той старухи — помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принес рукопись и второй раз прочел повесть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, — выиграл ли Гайдар пари или нет. Но это уже не имеет прямого отношения к рассказу.

В общем я купил, к великой радости Гайдара, барометр. Мы решили вести по этому медному и громоздкому сооружению свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать.

Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето».

Да простит меня Федин, что я решаюсь писать об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого

писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу.

Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу.

Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка.

Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали.

Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить.

Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей.

Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокали от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату.

Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись, посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге.

Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками.

Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем и очень немногие — ночью.

Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, мировая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то всемирной мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспредельному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал.

Все это — рассказ о непривычной для него обстановке, в какой ему пришлось работать. Мне думается, что эта простота и неустроенность жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила, — при любых условиях.

Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.

Федин, перед тем как писать, очень пристально всматривался в эту свою будущую вещь, всматривался под разными углами и писал только то, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым.

Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла и воплощения. Проза должна быть, по его мнению, отработана

до безошибочности и закалена до алмазной крепости.

Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он не мог остановиться, правка рукописей стала для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно сушил и мертвил свои вещи, или, как говорил Гоголь, «рисовал, рисовал, да и зарисовывался».

Федин знает, где остановиться во время выработки прозы. Критик никогда в нем не устает, но и не подавляет писателя.

У Флобера в высокой степени было выражено то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с героем (по воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно болезненно.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Жил он в Круассе, на берегу Сены, около Руана. Окна его кабинета выходили на реку.

Всю ночь в кабинете Флобера, заставленном экзотическими вещами, горела лампа с зеленым абажуром. Флобер работал по ночам. Лампа гасла только на рассвете.

Ее свет был постоянен, как огонь маяка. И действительно, в темные ночи флоберовское окно стало служить маяком для рыбаков на Сене и даже для капитанов морских пароходов, подымавшихся по реке из Гавра в Руан. Капитаны знали, что на этом участке реки надо было, чтобы не сбиться с фарватера, «держать на окно господина Флобера».

Изредка они видели плотного человека в пестром восточном халате. Он подходил к окну, прижимался

к нему лбом и смотрел на Сену. Это была поза уставшего вконец человека. Но вряд ли моряки знали, что за окном стоит великий писатель Франции, измученный борьбой за совершенство прозы, этой «проклятой жидкости, которая никак не хочет принять необходимую форму».

Для Бальзака все его герои были живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в существование своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастическая. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни.

В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня (имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной). Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей.

Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и лишил ее рассудка.

Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку.

Через месяц она пошла на панель.

В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей.

Книга Бальзака попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила:

— Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак?! Он опозорил вас! Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте!

Девушка прочла рассказ и разрыдалась.

— Немедленно! — сказала громовым голосом настоятельница. — Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь.

Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее.

Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги.

Бальзак хмурился. Ему было некогда — жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны.

Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость.

Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня.

— Какую позорную тень? — спросил он. — Все, что я пишу, всегда святая правда.

Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила:

— Сжальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать.

Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули.

— Как?! — закричал он. — Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что

случилось с вами! Совершенно ясно! Какие же могут быть сомнения?

— Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже? — спросила Жанна.

— Да! — закричал Бальзак. — Да, черт возьми!

— И вы хотите, чтобы я...

— Нет, черт возьми! — снова закричал Бальзак. — Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон. Чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь. Чтобы вы научились смеяться. Идите же! Идите! Но не на панель!

Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери.

— У меня ведь все там написано, — говорил он. — Идите! Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял три страницы текста. И какого текста!

Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался «Серебряный вьюк». Она была весела, счастлива и прелестна.

Сколько писателей — столько же и навыков работы.

В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину (об этих письмах я тоже упоминал).

В одном из писем Иордан пишет, что он потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след.

«Я уставал, — пишет Иордан. — Но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать стоя за конторкой! Вот уж истинно мученик своего дела».

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный кри-

тик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта.

Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это, в конце концов, не так уж сильно отражалось на качестве его работы.

Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех.

Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы (не по количеству написанных страниц, а по широте повествования). Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его», — говорил Достоевский.

Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание, — ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь.

Долги заставляли его делать это, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по его мнению, непоправимо испорчен!

«От бедности, — говорил о себе Достоевский, — я принужден торопиться и писать для дела, следовательно — непременно портить».

Чехов в молодости мог писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе и он потом только наспех записывал их без поправок.

Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем он будет писать. У него в голове была одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование.

Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему — накатом. «Если накатит, — говорил он, — то я пишу быстро. Ну, а если не накатит, тогда надо бросать».

Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку.

Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут так же бесследно исчезнуть.

В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и ни старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то «дивного», как сказал бы Гоголь.

Надо успеть записать. Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой.

Французский поэт Беранже мог писать свои песенки в дешевых кафе. И Эренбург, насколько я знаю,

тоже любил писать в кафе. Это понятно. Потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто непосредственно тебя не отрывает от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность.

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, почти микроскопическое зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и увидеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко можно составить сказку.

Вообще все в лесу — каждый замшелый пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками, — все это может обернуться сказкой.

Мне не хотелось бы говорить о своем литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов я считаю нужным сказать.

Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех работа писателя до выхода книги превращается после ее выхода в общечеловеческое дело.

Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную окололитературную возню и заседания.

Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и по возможности отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь, даже отдаленная неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова.

Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо.

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяже-

лые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор.

Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех.

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ.

И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома, осенью, в одиночестве, под потрескиванье свечи.

Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море, защищала от всяких помех.

Трудно сказать, почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый деревенский сад. Я думал о нем, как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчанье ведра и шаги человека.

Но во всяком случае ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тысячу лет назад, — это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив.

Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.

СТАРИК В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ

Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки.

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик. — Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова.

Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво.

Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво.

— Пети! — снова позвал старик. — А Пети! Ступай сюда!

Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить мне такой бутерброд».

— Эх, Пети, Пети! — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения.

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей.

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

— Просишь, стерва? — спросил он. — А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

— Что же это вы, гражданин! — сказал молодой человек. — Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

— Ну и отмочил, Валька! — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

— Пети, не смей! — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели.

Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.

— Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик.

Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и начал пересчи-

тывать ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.

— Еще обижается! — сказал скуластый молодой человек. — Какой независимый, скажи пожалуйста!

— А, брось ты его! На что он тебе сдался? — примирительно сказал один из молодых людей, наливая всем пиво.

Старик ничего не ответил. Он подошел к стойке и положил горсть мелких денег на мокрый прилавок.

— Один бутерброд! — сказал он хрипло.

Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост.

Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда.

— Один! — сказал старик.

— Берите! — тихо сказала продавщица. — Я на вас не разорюсь...

— Па́лдиес! — сказал старик. — Спасибо!

Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лиелупа.

Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман.

Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:

— Ах, Пети, Пети! Глупая собака!

Но собачка не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза — они у него слезились от ветра.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Начав писать ее, я думал совсем о другом. Как это ни покажется странным, я размышлял о значении подробностей в прозе, вспомнил эту историю и решил, что если ее описать без одной главной подробности — без того, что собака всем своим видом извинялась перед

хозяином, без этого *жеста* маленькой собаки, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности — неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана, да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее.

В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей.

Без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка.

Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, в глаза всем.

С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заваливают свои сочинения грудами подробностей — без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление.

Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном.

Или, чтобы дать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам»:

«Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв и легкие волосы у него на голове поднялись».

«— Покуда спала, к нему пришла смерть... — сказала Даша, плача, Телегину. — Пойми же — у него волосики встали дыбом... Один мучился... Я спала.

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью».

Эта подробность (легкие детские волосы, вставшие дыбом) стоит многих страниц самого точного описания смерти.

Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность — определяющей целое и, кроме того, обязательной.

В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог:

«— *Здорово, тетя Паша!* — сказал, входя, Алексей. (Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть *головой*.)

— *Здравствуй, Алеша,* — приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея. — Что долго не заходил?

— Да все некогда. Собрания всю неделю проводил.

— *Говоришь, всю неделю?*

— *Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки нету? — спросил Алексей, оглядывая пустую комнату.*

— *Нет. Он на производстве.*

— *Ну, тогда я пошел. До свиданьица, тетя Паша. Бывайте здоровы.*

— *До свиданья, Алеша, — ответила тетя Паша. — Будь здоров.*

Алексей *направился к двери, открыл ее* и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой:

— Бойковитый парень. Моторный».

Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно не обязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, не характерные, ничего не определяющие подробности.

В поисках и определении подробностей нужен строжайший выбор.

Подробность теснейшим образом связана с тем явлением, которое мы называем интуицией.

Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.

Интуиция помогает историческим писателям воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их воздух, самое состояние людей, их психику, что по сравнению с нашей была, конечно, несколько иной.

Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс — уроженцы этой туманной страны.

Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом — или о человеке и его состоянии, или о событии, или, наконец, об эпохе.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры. На берегу, должно быть, в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы — двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как назвать томительный свет белой ночи? Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы — столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей

непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.

Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах. Может быть, потому, что она уже осыпалась.

Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами, — тогда это слово впервые появилось в литературе.

Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.

От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнородных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенность материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя, со всеми качествами его восприятия действительности, стиля и языка.

Я считал, что так же, как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите. Всенепременно!

На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу я напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было сильно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера — белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.

Петрозаводск был в то время пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной — должно быть, от белого блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.

В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, нравы — все это давало хороший материал для книги.

Покончив с чтением, я поехал на несколько дней на водопад Кивач и в село Кижи, где была единственная в мире по красоте архитектуры деревянная церковь.

Кивач ревел и волочил в своей стеклянной, упругой воде стоявшие торчком сосновые бревна.

Церковь в Кижах я увидел на закате. Казалось, нужны были руки ювелиров и целые века, чтобы построить это сооружение. Строили же его простые наши плотники и в самые обыкновенные сроки.

Во время этой поездки я видел много озер, лесов, много нежаркого солнца и неярких далей, но мало людей.

В Петрозаводске я прежде всего написал план своей будущей книги. В нем было много истории и описаний, но мало людей.

Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны — совершенно опростившейся старушки,

ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.

Я начал писать книгу по плану, но сколько я ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.

Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не связанные с тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты, — с живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.

Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.

(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях, — чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю, как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за «Победу», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться, как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)

Ничего нет отвратительнее беспомощности перед материалом.

Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.

А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите».

Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто

умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом.

Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.

Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это заметила по каким-то, должно быть, старым учительским навыкам.

— Вы как бывало мои дуры-гимназистки перед экзаменом, — сказала она мне. — Так забьют себе головы, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетянете себе нервы. А это и вредно и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте. Отдохните. Поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой. Может, что и получится.

Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его почти не видел.

Я пошел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились. Потянулись огороды. Среди них то тут, то там виднелись кресты и могильные памятники.

Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты.

— Тут ране было кладбище, — ответил старик. — Вроде иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды, памятники поубирали. А что осталось, так это не надолго. До будущей весны постоят, не дольше.

Памятников, правда, было мало — всего пять-шесть. Один из них был обнесен чугунной оградой великолепного тяжелого литья.

Я подошел к нему. На гранитной сломанной колонне виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись.

Я сломал репейник и прочел: «Шарль Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии импера-

тора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце».

Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня.

Я вернулся домой, сказал Серафиме Ионовне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив.

Там работал совершенно пересохший, даже как будто прозрачный от худобы старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем.

Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг, а сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти все, что касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад.

И старичок и я — мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевиля, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь? Или мы ничего не найдем?

В общем старичок неожиданно заявил, что он не пойдет ночевать домой, а будет рыться всю ночь в архиве. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя. Тогда я пошел в город, купил хлеба, колбасы, чая и сахара, принес все это старичку, чтобы он мог ночью попить чаю, и ушел.

Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где, по его догадкам, могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевиле. Против наиболее интересных дел он ставил «птички», но называл их, как математик, «радикалами».

Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько

странных обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля Евгения Лонсевиля.

На девятый день были найдены указания на Лонсевиля в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратковременном пребывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевиля Марии Цецилии Тринитэ, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле».

Материалы были исчерпаны. Но того, что нашел сиявший от этой удачи старичок архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении.

Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Лег плотно и закономерно вокруг этого артиллериста, участника Французской революции, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки.

Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиля».

Материал был мертв, пока не появился человек.

Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся в щепки. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он, как магнит, притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере.

В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевиля. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть.

Я ехал на пароходе вверх по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется, в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный лоцман на Свири. Его друзья лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И, кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим

очень уважаемым в тех местах, своего рода знаменитым человеком.

Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут проходить свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало племя лоцманов, связанных круговой порукой.

Когда мы проходили стремнины — пороги, — наш пароход тащили два буксира, несмотря на то, что он сам работал полным ходом.

Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке — и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги.

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись. По-моему, каждый плач был импровизацией.

Вот один из плачей:

«Пошто отлетел от нас в смертную сторону, пошто покинул нас, сиротинушек? Нешто мы тебя не привечали, не встречали добрым да ласковым словом? Погляди на Свирь, батюшка, погляди в останний раз, — кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же это смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего ж это по всей Свири-реке горят погребальные свечечки?»

Так мы и плыли до Вознесенья под этот плач, не прекращавшийся даже ночью.

А в Вознесенье на пароход взошли суровые люди — лоцманы — и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом.

Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за

руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего.

На пароходе приспустили флаг, и когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков.

И еще одно впечатление не могло не войти в эту повесть. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры.

Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе.

Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. Почему-то в средних широтах и на юге я никогда не замечал ее. А здесь, казалось, она одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заволочьем, над Ладогой и Заонежьем.

ЖИВОТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО

Однажды Золя в обществе нескольких друзей говорил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении. Как у него, у Золя.

Бывший при этом Мопассан спросил:

— Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?

Золя промолчал.

Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление. Но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение.

Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы.

Оно было животворящим началсм искусства, его, как выражались восторженные поэты из Латинского квартала, «вечным солнцем и богом».

Но это ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет.

Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал:

— Опять ты меня решил подловить? Черта с два! Все равно не скажу.

Для того чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как идут разговоры с детьми.

Дети спрашивают: «А что это?», «А зачем это?», «А почему это?» Они не успокаиваются, пока не вынудят нас сделать нечеловеческое усилие, чтобы найти на все эти вопросы хотя бы сносные ответы.

Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», то разговор, очевидно, происходил бы так:

— А что это такое, воображение?

Если бы мы ответили что-нибудь вроде того, что это «солнце искусства» или его «святая святых», то этот ответ завел бы нас в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника.

Дети требуют ясности. Поэтому мы будем вынуждены ответить нашему собеседнику, что воображение — это свойство человеческой натуры.

— Какое?

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. (Конечно, это надо сказать значительно проще.)

— А почему? — спросит нас собеседник. — Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может

увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в 1814 году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам Акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конвенте и слышать речи Марата. Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дает ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни.

Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи для него непонятные.

Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы.

Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде; «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бэмби».

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как и воображение бесплодно без действительности.

Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может представить. Это — исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.

Воображение — великий дар природы. Оно заложено в натуре человека.

Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой сто-

роны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям.

Об этом хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он, не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его предпринимать ради этого будущего утомительные сооружения, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

Это — из Блока. А другой поэт сказал:

В каждой луже — запах океана,
В каждом камне — веянье пустынь...

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго.

Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилье. Поместье — клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат, — досталось ему в наследство от предков.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха нянька. Она с трудом готовила простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык.

Он был уже не молод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и пыльных путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей!

Что происходило в прошлой жизни у гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл.

Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин — сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывала, в собственные длинные волосы.

Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали. Они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам.

Все это окончилось неудачным бунтом. Трех вожаков повесили на рее.

Так они плыли и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В этой траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море травы, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где все горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этого человека.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго ее принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль.

Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно отчего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли.

Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет.

Он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась совсем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымного сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи лье.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Король был милостив и разрешил ему это. После ухода гидальго он сказал своим приближенным:

— Этот гидальго явный безумец! Чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но бог руководит даже путями безумных. Чего доброго, этот старик присоединит к нашей короне новые земли.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

Грубо вырезанная из дерева мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, качаясь, впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в морскую даль. На волосах со стертой позолотой и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги.

— Веди нас! — заклинал ее гидальго. — Не может быть, чтобы этой страны не было. Я так ясно вижу ее и наяву и во сне.

Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало, что приближалась земля.

Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе.

В эту ночь никто на корабле не спал.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми

красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты дало мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не увидел ее и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От этого у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса, и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена.

Гидальго упал лицом на теплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом.

Эта вера в воображаемое и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемого в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, литературой, с поэзией.

Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон — закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, «закон совоображения», который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или по близости во времени и пространстве — иначе говоря, обобщает — и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения.

Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами.

Есть крепкие минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства.

Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что ассоциации у каждого связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него такие же ассоциации.

Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей «Риторике». Ассоциация, по словам Ломоносова, «есть душевное дарование с одной вещью, уже представленною, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные, например: когда, представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурею — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее».

Это, так сказать, «хрестоматийная» ассоциация. Обычно ассоциации бывают гораздо сложнее.

Вот, к примеру, одна из них.

«Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт Иммерманис. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный: «Руководство для игры в волейбол», хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и «Цусима» Новикова-Прибоя.

— Режиссеру полагается знать все, — сказал Эйзенштейн. — И для всего находить зрительное выражение.

— Даже для алгебраических формул? — спросил я.

— Безусловно! — ответил Эйзенштейн.

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ! А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были по существу подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволявших себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи!» Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели. В особенности Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет, — сказал ему Марк Твен, — если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается? Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан».

Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Геккельбери Финну. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему не ставить памятников литературным героям? Например, Дон-Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимычу или Бэле.

Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации — красный

свитер и памятник Бэле, — то весь, вполне естественный, ход ассоциации покажется бредом.

Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве.

Из длинного этого разговора в воображении ясно только одно — без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии.

Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский:

«Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами».

Приходит ночь, и постепенно оживает сила души,— ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением? Душевным восторгом или спокойствием? Радостью или печалью? Кто знает!

Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак.

Видны черные вершины балтийских сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса... Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной ком-

наты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во вселенную.

Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной.

Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне не ясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие — весь мир.

Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега:

— А я вас давно здесь жду. Уже набрала целый сноп цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из «Евгения Онегина». И все вас ждут дома, потому что нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите, все как было, потому что и так в лугах такая прелесть и второй раз зацвел шиповник! И вообще хорошо!

А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит.

А может быть, для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше.

Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть это.

Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому, что слишком много хочу рассказать и пока еще не

выбрал из мыслей именно ту одну, что, как магнит, притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования.

Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты, — сказал Тургенев, — недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но «только песня зреет», прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать, — еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют «приближением бога». Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге,— тут-то и начинается мучение».

Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах?

Вчера в рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола.

Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый, тонкий лед.

Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке.

Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу.

Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве.

Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно рознится от нашего, мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин—это живые существа, гости из мира, который мы, взрослые и деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением.

Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей.

От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки, в свою скорлупу.

Да, но сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.

И наконец наступает тот час, когда сказка заносится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения.

Ска́зка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.

НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС

> Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влияния на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст даже более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы.

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана.

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия, разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям это был странный поэт. В нем не бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке-судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен.— Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал ею Андерсену, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница сказал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры не обратили на это внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз поиному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен. — Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?

— Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно, — спросил Андерсен, — ваше преподобие не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец! — сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес, — возразил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый, — ответила дама и лукаво засмеялась, — сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен. — В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится, — сказала дама. — Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она пылала над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса этих женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодический торг напоминал речитатив из старой оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно, совершенно ничтожного, городка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой говорили, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице. — Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы, — сказал возница женщинам, — садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки, — сказала дама. — Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать, — сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте, — кто вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель, — ответил, не задумываясь, Андерсен. — Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я не шарлатан. И, пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в эдакой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас, — ответил Андерсен. — Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение поэтической силы, своей власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли, — все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса, — спокойно сказал, помолчав, Андерсен. — Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вот вы, девушка с легкими светлыми волосами. Вы хохотушка и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце, — так же спокойно продолжал Андерсен. — Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли не задумываясь за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы... — смущенно пробормотала Николина. — Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна, — охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник. — Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры.

Они переживают наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама.

— Не далее, как сейчас, — ответил Андерсен. — Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь, — сказала дрогнувшим голосом дама. — Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне, — добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария. — Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это в конце концов все равно.

— Сударь, — застенчиво сказала Мария, — я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Ищите его! — воскликнул Андерсен. — Найдите его, и он вас полюбит.

— Мария! — радостно сказала Анна. — Так это же тот молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать, — сказала дама. — Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Ма-

рия, приедете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей, — уверенно ответил Андерсен. — Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна. — Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется потратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт, — ответил Андерсен. — Я молод. У меня густые, волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под

каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели ее глаза! Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник. — Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошенные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница. — Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею, и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отсвет от бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась, — сказала она просто и виновато улыбнулась. — Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь будет в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении, — уверял он себя, — любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канóва, — ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе.

— Я пришел откланяться, — пробормотал Андерсен глухим голосом. — Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы, — глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли. — Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест, — сознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт, — сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену, — бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, взяла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она. — И пусть бог поэзии простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

ДАВНО ЗАДУМАННАЯ КНИГА

Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу.

Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей.

Биографии должны были быть короткие и живописные.

Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей.

В эту книгу я решил вставить несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался, — людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и любимыми. Просто им не повезло и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессеребренники и подвижники, охваченные какой-нибудь единой страстью.

Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь — человек феерической жизни. Он вырос в музыкальной

семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.

Я познакомился с Олениным-Волгарем в 1924 году в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Оленина-Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой.

Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала вся в звоне труб и пороховом дыму «Марсельеза».

После скитаний по Европе Оленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород.

Он первый за свой страх и риск провел через узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно.

Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.

Оленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках.

В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте.

Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны,

потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле».

И еще был у меня один простой и милый знакомый — директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России.

Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу.

Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея — тихой уличке, заросшей муравой, — и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг.

Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор.

Каждая вещь в музее — от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота, — была изучена и тщательно описана.

Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре.

Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна, — белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого озера.

Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, ни к кому не приставал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю?

Недавно я нашел список замечательных людей, который я составлял для этой книги. Он очень велик.

Я не могу привести его полностью. Поэтому я выберу из него наугад только несколько писателей.

Рядом с именем каждого писателя я делал короткие и беспорядочные заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем.

Я приведу здесь для ясности некоторые из этих записей. Я привел их в порядок и увеличил.

ЧЕХОВ

Его записные книжки живут в литературе самостоятельно, как особый жанр. Он мало ими пользовался для своей работы.

Как интересный жанр существуют записные книжки Ильфа, Альфонса Додэ, дневники Толстого, братьев Гонкур, французского писателя Ренара и множество других записей писателей и поэтов.

Как самостоятельный жанр записные книжки имеют полное право на существование в литературе. Но я, вопреки мнению многих писателей, считаю их почти бесполезными для основной писательской работы.

Некоторое время я вел записные книжки. Но каждый раз, когда я брал интересную запись из книжки и вставлял ее в повесть или рассказ, то именно этот кусок прозы оказывался неживым. Он выпирал из текста, как нечто чужеродное.

Я могу это объяснить только тем, что лучший отбор материала производит память. То, что осталось в памяти и не забылось, — это и есть самое ценное. То же, что нужно обязательно записать, чтобы не позабыть, — менее ценно и редко может пригодиться писателю.

Память, как сказочное сито, пропускает сквозь себя мусор, но задерживает крупинки золота.

У Чехова была вторая профессия. Он был врачом. Очевидно, каждому писателю полезно было бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею.

То, что Чехов был врачом, не только дало ему знание людей, но сказалось и на его стиле. Если бы Чехов не был врачом, то, возможно, он бы не создал такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу.

Некоторые его рассказы (например, «Палата № 6», «Скучная история», «Попрыгунья», да и многие другие) написаны как образцовые психологические диагнозы.

Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. «Надо выбрасывать лишнее, — писал Чехов, — очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом «стала» и «перестала».

Он жестоко изгонял из прозы такие слова, как «аппетит», «флирт», «идеал», «диск», «экран». Они вызывали у него отвращение.

Жизнь Чехова поучительна. Он говорил о себе, что в течение многих лет выдавливал из себя по каплям раба. Стоит разложить фотографии Чехова по годам — от юношества до последних лет жизни, — чтобы воочию убедиться, как постепенно исчезает с его внешности легкий налет мещанства и как все строже, значительнее и прекраснее делается его лицо и все изящнее и свободнее его одежда.

Есть у нас в стране уголок, где каждый хранит часть своего сердца. Это чеховский дом на Аутке.

Для людей моего поколения этот дом — как освещенное изнутри окно. За ним можно видеть из темного сада свое полузабытое детство. И услышать ласковый голос Марии Павловны — той милой чеховской Маши, которую знает и по-родственному любит почти вся страна.

Последний раз я был в этом доме в 1949 году.

Мы сидели с Марией Павловной на нижней террасе. Заросли белых пахучих цветов закрывали море и Ялту.

Мария Павловна сказала, что этот пышно разросшийся куст посадил Антон Павлович и как-то его назвал, но она не может вспомнить это мудреное название.

Она сказала это так просто, будто Чехов был жив, был здесь совсем недавно и только куда-то на время уехал — в Москву или Ниццу.

Я сорвал в чеховском саду камелию и подарил ее девочке, бывшей с нами у Марии Павловны. Но эта беззаботная «дама с камелией» уронила цветок с моста в горную речку Учан-Су, и он уплыл в Черное море. На нее невозможно было сердиться, особенно в этот день, когда казалось, что за каждым поворотом улицы мы можем встретиться с Чеховым. И ему будет неприятно услышать, как бранят сероглазую смущенную девочку за такую ерунду, как потерянный цветок из его сада.

АЛЕКСАНДР БЛОК

У Блока есть ранние малоизвестные стихи: «Ночь теплая одела острова».

В этих стихах есть одна строчка — протяжная и нежная, вызывающая в памяти всю прелесть туманной юности: «Весна моей мечты далекой...»

Это — не обыкновенные слова. Это — озарение. Из таких озарений создан весь Блок.

Каждый раз, когда я бывал в Ленинграде, я хотел пойти (именно пойти пешком, а не поехать на автобусе или трамвае) на Пряжку, чтобы увидеть тот дом, где жил и умер Блок.

Однажды я пошел и заблудился среди пустынных кварталов и затянутых тиной каналов и так и не нашел дом Блока. Но случайно я увидел в переулке, заросшем травой, мемориальную доску на кирпичном выцветшем доме. В этом доме, оказывается, жил Достоевский.

Только недавно я нашел наконец дом Блока на набережной реки Пряжки.

Поздняя осень засыпа́ла черную реку ворохами сухих листьев. За Пряжкой начиналась рабочая портовая окраина города. Видны были заводы, верфи, мачты пароходов, дымы, бледное предвечернее небо. Но на Пряжке было пустынно и тихо, как в глубокой провинции.

Это был странный приют для такого поэта, как Блок. Может быть, Блок искал эту тишину и близость моря потому, что она возвращает смятенному человеческому сердцу спокойствие.

ГИ ДЕ МОПАССАН

Он таил от нас свою жизнь.

Ренар о Мопассане

У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде».

На «Милом друге» у Мопассана служило двое матросов. Старшего звали Бернар.

Матросы ни словом, ни жестом не выдали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с «хозяином» в последнее время творится что-то неладное и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей.

Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему ложному мнению о Мопассане, что у их хозяина было гордое и стыдливое сердце.

Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие, равнодушные руки.

И матросы старались. Они оттягивали ее продажу сколько могли. А они были бедные люди, и один только бог знает, как это было им трудно.

Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бартелеми.

Когда Бернар умирал, он сказал окружающим:

— Думаю, что я был неплохой моряк.

Нельзя с большой простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова.

Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан.

Он прошел поразительно быстрый писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор, — говорил он, — и выйду из нее, как молния».

Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь «клиникой для писателей», незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви-страдания и любви-радости.

Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни.

Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя?

Он понимал, что этого он не сделал и что если бы к его писаниям прибавилось сострадание, то он мог бы остаться в памяти человечества гением добра.

Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и сожаления.

И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Большего он не хотел.

Но что Башкирцева! Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик.

Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу развязно врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове! Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг.

Работница! Наивная, прелестная девушка! Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца — такого же чистого, как и ее сияющие глаза.

Наивная девушка! Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться.

Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном.

Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц.

Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала одевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и, наконец, прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем.

Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета.

Она вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды.

Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и

в тот же вечер, назло себе, назло Мопассану, отдалась этому жуиру.

Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся: история с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа.

Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце!

Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие он мог придумать.

Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолять о прощении, он, недоступный, великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.

Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для него! Они благословенны, эти чувства! Они — святая святых нашего несовершенного мира! И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то, что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми едкими большими горстями.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что если бы это не был неисчерпаемый человек, то можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки.

Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует

«чувство Горького», ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни.

Для меня в Горьком — вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так я не могу подумать, что в ней нет Горького.

Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех «разрезах» — и в пространстве и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране и что бы он не увидел по-своему, по горьковски.

Это был ловец талантов, человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летоисчисление.

При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешности, на жесте, манере говорить, на одежде — на всем облике человека.

Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно.

Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тессели.

Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный, упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами.

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. Поднебесный тополь, сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево.

Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вы-

тянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орган.

Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь.

За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда, около тополя. Горький не удивился и ответил:

— Ну, раз вы за мной подглядели, то так и быть, сознаюсь. Я сказал — какое могущество!

Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Был летний день, весь в кудрявых, легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой-рекой. По комнатам дуло теплым ветром.

Горький говорил со мной о моей последней повести — «Колхиде» — так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур.

Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет, — выпуклым, сочным языком.

Тогда я только что прочел очень редкую книгу нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи».

Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего пятьсот экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге.

В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива и даже на Шпицбергене росли магнолиевые и кипарисовые леса.

Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета — для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен и в природе наступил золотой век.

Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, это можно было бы, пожалуй, сделать.

Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью.

Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу.

Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел — он вскоре умер.

ВИКТОР ГЮГО

На острове Джерсее в Ламанше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник.

Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в двадцать или тридцать сантиметров. Он весь зарос травой. Поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле.

Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развевается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жиллиат из «Тружеников моря».

Вокруг, на сколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов,

вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры.

Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея.

В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове.

У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь состояла из гневных и радостных страстей, приподнято и торжественно выраженных.

Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавров, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир.

Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля. И содрогались слабые человеческие сердца.

Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью.

Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружью, граждане!»

Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураганный ветер, как вихрь, что несет потоки дождя,

листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды.

Этот ветер был назван Романтикой.

Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты.

Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал пять раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова.

Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие этого романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Козетту и Гавроша друзьями детства.

Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, никогда не видев. С годами это чувство становилось крепче.

К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Додэ, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюсса и Беранже.

Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки — и пышные и простые.

Вы увидите сказочный город,
О котором молились века,
И душа позабудет укоры,
И усталая дрогнет рука.
В Люксембургском саду у фонтана
Вы пройдете по дальней меже
Под широкой листвою платанов,
Как Мими из романа Мюрже...

Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится увидеть этот великий город.

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина.

Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома — в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба, — звали его просто «Михалычем». И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему об его «журавлиной родине».

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром, — всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд бы открыл миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. Просто на это у него не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой.

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что он превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, мало одной жизни, — для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев

упало, унося с собой невысказанные мысли писателя — те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий!

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший наполнять природу окраской человеческих дум и настроений.

Чем это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца, — очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее выступают качества земли, острее делается взгляд и собраннее мысль.

Простота говорит сердцу сильнее, чем блеск, множество красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

О Пришвине писать трудно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав, — погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами, — это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину очарование.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относятся обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек

земли, «матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание.

Все сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» — совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И «лег мороз», и «деревья обдались сильной росой» — все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны, в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями.

У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сple-

тение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд.

Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять.

Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию.

Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион.

Примеров того, как самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас я хочу рассказать об одном случае, когда одна строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью.

Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета «У-2», который прилетает в луга опылять от комарья мочежины и болотца.

Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. Да я, признаться, и не задумывался над этим.

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел это объяснение всего в одной строке, в крошечном отрывке над названием «Реки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел — Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди этих людей писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране.

Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны — со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и историей.

У нас были и есть ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мензбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений.

И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы, — Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие.

Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его

писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и уж, конечно, не выносит прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-«волчках» из Марьиной Рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой, подпаском о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

«— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал.

— Не все, — ответил я, — но есть немного.

— Вот я бы — так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот так! Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись...

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалейку и стал просверливать в ней дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я. — Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил, — ответил он, — все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, «коротко»! — удивился подпасок. — Всю-то ночь напролет: свись, свись, свись...

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо, — ответил он».

В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «...Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, — и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе».

Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.

АЛЕКСАНДР ГРИН

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книги в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Додэ или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать копеек — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон-Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда

я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, — то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Разноязычный этот город напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди нескольких намеков на улицы. Улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе, потому что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и узенькими тропинками.

Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом. Пение вдали и его эхо в оврагах. Рынки на сваях под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань — грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана. Ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс!»

Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а жестокое желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина.

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

> Южный Крест там сияет вдали.
> С первым ветром проснется компас.
> Бог, храня корабли,
> Да помилует нас!

Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей вводить нас в блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени писателей, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя, или, как говорят, «узнать, почем фунт лиха», потому что биографию Багрицкого установить трудно.

Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, «одну только правду и ничего, кроме правды».

К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них.

Без них нельзя себе представить этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом.

На побережье Эгейского моря живет живописное племя «левантийцев» — веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов — греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев.

У нас в Советском Союзе есть свои «левантийцы». Это «черноморцы» — тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и

влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в «Одессу-маму», в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни.

К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля.

Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в Одесском порту. Он только что написал «Поэму об арбузе» — удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной.

Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену.

Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев «Поэму об арбузе».

Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем — очевидно, с погибшей шхуны.

> И некому здесь надоумить ее,
> Что в руки взяла она сердце мое!..

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая, певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковская «Донна Анна»

или пушкинское «Для берегов отчизны дальной...» — что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения — предвестника слез.

Из порта мы пошли на Греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу. С раннего утра мы не ели.

В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!»

Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей.

Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, «сойти на нет» перед этим нищим.

— Где ваша совесть, люди. вы или не люди?! — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: — Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!

Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.

В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны.

В это время вошел нищий и с порога уже закричал проклятья.

— Ага! — зловеще сказал Багрицкий. — Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам.

Пусть он только попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти!

— Что же тогда будет? — спросил я.

— Худо ему будет, — ответил Багрицкий. — Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику.

Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле — может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал:

— Когда, наконец, у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее, — я не говорю — половину, — несчастному старику.

Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, — говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой!

Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора и погибнет Ваал» — повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.

— Вот видите, — сказал Багрицкий серьезно, — даже одесские нищие не выдерживают Надсона!

Вся чайная гремела от хохота.

Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц.

В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы.

Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян.

На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги.

Одесские газеты платили ему гроши: по пятьдесять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь.

Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил один в издательства и редакции, а брал с собой «для храбрости» кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался.

В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. Приехав, он предупредил: «Я буду стоять у вас постоем». И действительно, за целый месяц он вышел в город только два раза, а все остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.

На тахте он был обложен книгами, чужими рукописями стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.

Так он просидел весь месяц, восторгаясь «Улалаевщиной» Сельвинского, рассказывая невероятные истории и беседуя с «литературными мальчиками» — одесситами, налетевшими на него тучей, как только он появился в Москве.

Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб.

Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома — так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками сжимая морскую воду.

Мне кажется, что переезд в Москву был ошибкой. Багрицкому нельзя было отрываться от юга, моря и Одессы, даже от его любимой одесской еды — бакла-

жанов, помидоров, брынзы, свежей скумбрии. Он был весь прогрет югом, жаром желтого ноздреватого известняка, из которого построена Одесса, пропах полынью, солью, акацией и морем.

Он умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии.

За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась «Дума про Опанаса», конь Котовского, что «сверкает белым рафинадом», широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия — наследница «Слова о полку Игореве» и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чебреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер «левант» над родным Черноморьем.

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР

> Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети.
>
> *Александр Блок*

> Человек останавливается, пораженный, перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни: перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба.
>
> *Джон Рескин*

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех

соседних областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Она наполняется светом и красками живописи, свежестью слов, свойственной поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Это все добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его ви́дение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не дал им ни одной живой черты.

И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.

Причина этой тоскливости не только в эмоциональной скудости и неграмотности автора, но в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки

паровозов, блеск мокрых мостовых, — ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. Предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывает следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И они умеют помнить увиденное.

Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне:

— Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

— Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь. — Такой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охватило едкое сожаление о глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за

прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного необратимо ушло, и его уже не воскресишь!

Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был нагляднее.

Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала — через Калязин и Хвойную.

Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям.

Моим попутчиком оказался маленький человек с узенькими, но очень живыми глазами. Одет он был мешковато. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник.

Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где есть у него приятель лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень.

— А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин? — спросил я.

— Там у меня облюбовано одно место, — доверительно ответил художник. — Всем местам место! Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес! Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива, за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого инея не видел.

Я сказал, конечно шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать.

— А что же вы думаете! — серьезно ответил художник. — Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый

ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше.

— Почему?

— Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет. Но знаете,—добавил он с тревогой,—что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек!

Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня.

— Вы уж не сердитесь на меня, — говорил он смущенно, — но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина — гроза в сентябре. Поглядите!

Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая, в полнеба, туча. Ее передергивало вспышками молний.

— Мать честная! — воскликнул художник. — Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан.

— Какое освещение? — спросил я растерянно.

— Господи! — с отчаянием сказал художник. — Куда же вы смотрите? Вон видите — там лес совершенно темный, глухой; это на нем легла тень от тучи. А вон, подальше, на нем бледные желтые и зеленоватые пятна: это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Своего рода золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе, на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно — легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние, я бы сказал—такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать.

Художник посмотрел на меня и засмеялся.

— Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов! Все купе как в зареве. И, в частности,

ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно.

— В этом и дело художников, — сказал я, — чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи.

— Стараемся, — ответил художник. — Если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь, как лес пышет то светом, то темнотой!

Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях.

Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок.

— А небо, небо какое! — закричал художник. — Смотрите! Что оно только творит!

Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем.

Пронзительный блеск молний сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя.

— Каково! — кричал возбужденный художник. — Такую чертовщину не часто увидишь!

Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света.

Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко, у самого горизонта,

сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса.

— Вы что-нибудь запомнили? — спросил художник.

— Кое-что.

— И я только кое-что, — с огорчением сказал он. — Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя — другой, а после дождя — совершенно особый. Потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск. Серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой, — наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю.

Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело дышал паровоз.

Я позавидовал художнику и вдруг возмутился на всякие дела, из-за которых я должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе.

Совершенно непонятным было то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и каждый, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только как будто неотложными делами.

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал место в сердце.

Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем это видеть и удивляться, что не замечали этого раньше.

Французский художник Монэ приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Монэ в обыкновенный лондонский туманный день. На кар-

тине Монэ готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.

Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Монэ был окрашен в багровый цвет, тогда как даже из хрестоматий было известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Монэ вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый.

Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома.

Но как бы там ни было, Монэ победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Монэ даже прозвали «создателем лондонского тумана».

Если обращаться к примерам из своей жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского ненастья после картины Левитана «Над вечным покоем».

До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое передвижение туч. Наконец, за то, что во время ненастья начинаешь ценить простые земные блага — теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, застланную грубым рядном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту.

Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности.

Мне посчастливилось несколько раз быть в Дрезденской галерее.

Помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы.

В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах — совершенство духа и власть гения, заставляющего нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов.

При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им.

Импрессионисты как бы усилили солнечный свет. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в ликующем освещении.

Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости.

Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него — значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от «Сикстинской мадонны» Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Мы не так глупы, чтобы не понять, где проходит грань между живописным гением и религией. Не думаю, чтобы хотя бы один советский человек, восхищенный «Сикстинской мадонной», вдруг стал верующим. Нелепость этой мысли очевидна. Почему же мы всерьез считаемся с такими смехотворными мыслями, когда дело касается импрессионистов?

Чем опасен для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван-Гог илиГоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян?

Что в этом опасного или дурного? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей культуры плеяду блистательных художников?

После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий.

Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать их архитектурную тайну. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле они были не велики. Одна из самых замечательных построек — здание Главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы.

Разгадка была простая. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов.

Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры.

Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, отсутствия всего лишнего, небольшого числа украшений, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия, — все это имеет некоторое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих

прозу украшений — так называемого орнаментального стиля.

Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего нельзя было выбросить и ничего прибавить без того, чтобы не нарушился смысл повествования и закономерное течение событий.

Как всегда в Ленинграде, больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак Эрмитажных зал, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош.

Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и, чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура.

Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских ваятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами и социальный строй — тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения, — будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела.

Наша дорога — в золотой век. Он будет. Досадно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца.

Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал.

О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек и ему, Гейне,

отдавшему людям яд и блеск своего ума, уже, конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце.

В этом — сила скульптуры, та сила, без внутреннего огня которой немыслимо передовое искусство, особенно искусство нашей страны. А тем самым немыслима и полновесная проза.

Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы.

Тему этого короткого разговора о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы.

У подлинной прозы всегда есть свой ритм.

Прежде всего ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что «беллетристика должна укладываться (в сознании читателя) сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы.

Вообще писатель должен держать читателя в напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте темных или неритмичных мест, чтобы не давать читателю возможности споткнуться об эти места и выйти тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в захвате читателя, в том, чтобы заставить его одинаково думать и чувствовать с автором, и заключается задача писателя и действенность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.

Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!

Чем это объяснить, я не знаю. Я предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А это сделать в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне и в романсе слова сильнее действуют на нас, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главное не в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенства, является, по существу, подлинной поэзией.

Чехов считал, что лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом.

Пришвин однажды написал о себе (в частном письме), что он «поэт, распятый на кресте прозы».

«Где граница между прозой и поэзией, — писал Лев Толстой, — я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем «Дневнике молодости»:

«Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одной и потом пуститься на произвол другой? В мечте есть сторона,

которая выше действительности. В действительности есть сторона, которая выше мечты. Полное счастье было бы соединением того и другого».

В этих словах, хотя и сказанных наспех, высказана верная мысль: самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью.

В этом случае я не боюсь слова «пленительный» (иными словами — «берущий в плен»). Потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, «венцом творения».

Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда он сказал, что «поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым».

В КУЗОВЕ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы-на-Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем.

Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Все вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью.

Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге была горячая и пахла резиной. За Днестром гремела канонада.

В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали: «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги

и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие «мессеры».

Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. «Мессеры» исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и жажда.

После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня:

— Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?

— Вспоминаю, — ответил я.

— И я вспоминаю, — сказал помолчав водитель. — Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину — буду проситься в лесники. Возьму с собой жену — она у меня спокойная, красивая — и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои. А водителям это не положено.

— Я тоже, — ответил я. — Вспоминаю свои леса.

— А ваши хороши? — спросил водитель.

— Хороши.

Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали.

Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Требутино». И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов.

Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце.

В этих своих мечтах в кузове машины я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по

песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут «Ваня мокрый». Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха.

Около колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок, или, по-местному, в «прожог». В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепеке и пылает своим оперением, как груда рдеющих углей.

За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов.

За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы.

Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников-иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках. А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком.

За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога.

Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И, может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту.

Есть хорошее русское слово «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда.

Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова:

...Быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей
Идти своим путем свободным и широким,
Без будущих и прошлых дней.
Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Впивать лучи, как первую любовь,
Упасть и умереть и утонуть во мраке,
Без горькой радости воскреснуть вновь
и вновь...

В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо.

Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль.

Лес на холмах светлый. В нем далеко видно. Он залит солнцем.

Лес этот тянется неширокой полосой (километра на два, не больше), а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, на сколько хватает глаз, дремучий бор.

Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется потому, что широко видно все небо.

Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы.

Все, что я мысленно представил сейчас, — только преддверие лесов. В них входишь как в огромный, полный тени, громадный собор. Надо первое время идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ряской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье — это пасутся в подводной траве караси.

Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени.

За березовым перелеском есть одно место, о котором нельзя вспоминать без того, чтобы не сжалось сердце.

(Я думаю все это, лежа в кузове грузовой машины. Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы — там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад — они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь: когда же она взорвется? Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов, до того места, где всегда сжимается сердце! Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнущая не бензиновым чадом и пороховыми газами, — может быть, следует говорить «взрывными» газами, — а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника.)

Какое же это место, от которого сжимается сердце? Самое незаметное и простое. За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой и жаркий лес, йодистый воздух этих низин.

На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему ни прикоснешься, — сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые,

прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка шершавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые.

Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи.

Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета.

Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях. А на лиловатых и твердых зонтичных цветах сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли.

Я сверяюсь по самодельной карте — до Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы — сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной на коре буквой «О» — озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять.

Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь по ней рукой, по застывшему на ней янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет.

Ближе к озеру начинаются среди леса глухие, глубокие впадины, так крепко заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться в глубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера.

Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И, наконец, последняя примета — ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней — крутой обрыв.

Лес кончается. Внизу высохшие болота — мшары, поросшие мелким лесом: березником, осинами и ольхой.

Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка.

Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар скрывается Черное озеро — государство темных вод, коряг и огромных желтых кувшинок.

Идти по мшарам надо осторожно: в глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок — колки. О них можно жестоко поранить ноги.

В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр, — глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки.

Берег озера немного выше и потому суше мшар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте — след обязательно нальется водой.

К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг — слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев, — все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею.

Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой...

Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом — по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли.

Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И, очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке все эти черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки.

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с ней и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.

Пейзаж — не привеска к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

Проще говоря — природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы себя выразить с наибольшей силой.

НАПУТСТВИЕ САМОМУ СЕБЕ

На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, образе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь.

Работа над этой книгой напоминает путешествие по мало знакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться в переплетении этих дорог.

1955 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Повесть написана зимой 1935—36 гг. в Севастополе, впервые опубликована в 1936 году в альманахе «Год XIX» № 9. Отдельным изданием вышла в Детиздате, М.—Л., 1936 г.

Несколько раз в беседах со своими читателями Паустовский упоминал, что мысль написать книгу о Черном море — своего рода «художественную энциклопедию» побережий этого моря — появилась у него еще в юности.

Начав работу над повестью, Паустовский поселился в Севастополе, чтобы пользоваться богатейшими материалами Севастопольской морской библиотеки.

Прототипом Гарта является писатель Александр Степанович Грин (Гриневский).

Жизнь Грина была тесно связана с Черным морем и Севастополем. В 1905 году Грин, бывший тогда в боевой эсэровской организации, вел в Севастополе подпольную работу среди военных моряков, был арестован и отбывал заключение в Севастопольской тюрьме. В своей «Автобиографической повести» Грин писал, что многие черты Севастополя вошли в вымышленные им романтические приморские города Зурбаган, Лисс и Гель-Гью. Изображение этих городов у Грина является по существу довольно точным описанием Севастополя и его живописных окраин.

Во время работы Паустовского над «Черным морем» в Севастополь приезжала из Ленинграда сестра лейтенанта Шмидта Анна Петровна Избаш. Приезд ее был связан с открытием на Севастопольском кладбище памятника лейтенанту Шмидту.

Паустовский несколько раз встречался с А. П. Избаш и беседовал с ней о Шмидте. На основании этих бесед Паустовский написал для «Черного моря» небольшую главу (под названием «Дон-Кихот») о романе в письмах между Шмидтом и его так называемой «киевской корреспонденткой». После первого напечатания повести в альманахе «Год XIX» Паустовский изъял эту главу из книги, так как она относилась к лицам, в то время еще жившим, и, кроме того, касалась недостаточно выясненных обстоятельств из частной жизни Шмидта.

В Севастополе Паустовский часто встречался с участником «Очаковского» восстания, бывшим минером миноносца «Свирепый» Федором Григорьевичем Мартыненко. Мартыненко хорошо знал Шмидта и с благоговением относился к его памяти. Мартыненко был широко известен среди жителей Севастополя под именем «Дяди Феди». Он послужил Паустовскому прототипом для старого рыбака Кузьмы Дымченко.

В главе «Мужество» Паустовский рассказывает о своей встрече с бывшим лейтенантом царского флота Михаилом Ставраки, командовавшим расстрелом Шмидта на острове Березани.

Паустовскому удалось познакомиться с отрывками из дневника Ставраки. На основании этих отрывков он написал рассказ «Три страницы». Рассказ этот был напечатан в сборнике Паустовского «Встречные корабли» («Молодая гвардия», М., 1928 г.))

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ

Повесть писалась в 1937 году частично в Москве, частично в селе Солотча под Рязанью.

Впервые «Северная повесть» (под названием «Северные рассказы») была напечатана в 1938 году в журнале «Знамя», №№ 1, 3, 4.

По свидетельству автора, замысел повести возник у него во время поездки из Ленинграда в Москву по водному пути — через Ладожское озеро, по Свири, Онежскому каналу и Мариинской системе, Шексне и Волге до Щербакова (тогдашнего Рыбинска). Этот путь занимал в то время около двух недель.

Под именем «пожилого писателя» в повести изображен Алексей Максимович Горький.

. Упоминание о возможности вернуть в Европу теплый, почти тропический климат, существовавший в эпоху миоцена, связано с именем капитана Гернета, командовавшего во время граж-

данской войны нашей Азовской флотилией. Капитан Гернет — знаток метеорологии и климатологии — создал свою остроумную теорию возвращения этого климата и написал об этом книгу под названием «Ледяные лишаи». Написал он ее в Японии, где был советским морским представителем и издал за свой счет в Токио в небольшом количестве экземпляров. Отдельной книгой повесть вышла в Детиздате, М.—Л., 1939 г., переведена на многие языки народов СССР и вышла отдельными изданиями в Берлине и Варшаве.

ПОВЕСТЬ О ЛЕСАХ

Повесть впервые была напечатана под названием «Преодоление времени» в журнале «Огонек» за 1948 год №№ 27—36.

Появлению «Повести о лесах» предшествовало несколько рассказов и очерков Паустовского об огромной роли лесов в жизни нашей земли и благодетельном влиянии их на психику человека. В числе этих рассказов: «Акварельные краски», «Золотое время», «Старый челн», «Кордон 273», а также ряд очерков и статей. «Повесть о лесах» наиболее ясно выражает особенность творчества Паустовского. Писатель берет какой-либо подлинный случай или реального человека и, по его собственному признанию (в повести «Кара-Бугаз»), окружает их «слабым сиянием вымысла», добиваясь этим возможности полного раскрытия человеческого характера и характера происходящих событий.

В «Повести о лесах» Паустовский широко пользуется этим методом, в частности в той части книги, где речь идет о Чайковском. В ней есть подлинный биографический материал о великом композиторе. Но основной задачей писателя было — передать с полной силой отношение Чайковского к лесам как к творческой лаборатории, как к тем явлениям природы, которые, по словам Чехова, «учат человека понимать прекрасное».

В главах о городке, родине Анфисы, Паустовский пишет о городе Ливнах Орловской области, где он прожил лето и осень 1932 года.

Отдаленным прототипом писателя Леонтьева является писатель И. Н. Соколов-Микитов — лесной человек, охотник и замечательный знаток и певец нашей русской природы.

По свидетельству Паустовского, своим поэтическим ощущением лесных наших краев он обязан Мещерским лесам под Рязанью и Брянским лесам, где прошла часть юности писателя.

«Повесть о лесах» отдельным изданием вышла в Детгизе, М.—Л., 1949 г., в последующие годы выдержала ряд изданий в различных городах СССР, а также в Праге, Будапеште, Варшаве, Берлине и Бухаресте.

ЗОЛОТАЯ РОЗА

Повесть была написана зимой 1955 года в Дубултах на Рижском взморье, впервые напечатана в журнале «Октябрь», 1955, №№ 9, 10.

Задолго до появления «Золотой розы» Паустовский в своей статье «Поэзия прозы» («Знамя» № 9 за 1953 г.) упомянул о том, что мысль написать такого рода книгу появилась у него еще до Великой Отечественной войны. Книга была даже начата, но работу над ней пришлось надолго отложить из-за начавшейся войны, а также других более срочных литературных работ.

Свыше десяти лет Паустовский вел семинар прозы в Литературном институте им. Горького. На семинаре обсуждалось множество вопросов, касающихся писательского мастерства и психологии творчества. Но весь этот богатый материал не оставил никакого внешнего следа, — семинары не стенографировались и выступления руководителей не записывались. В связи с этим у Паустовского появилась мысль о том, чтобы в какой-либо форме закрепить интересный материал. С течением времени эта мысль становилась все настойчивее и привела к созданию книги «Золотая роза».

Отдельным изданием повесть вышла в издательстве «Советский писатель», М., 1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паустовский Константин Георгиевич
Собрание сочинений, т. 2.

Редактор *Н. Крючкова*
Художник *Н. Шишловский* Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко* Корректор *Н. Бондарчук*

Сдано в набор 20/III 1957 г. Подписано к печати 25/VI 1957 г. Бумага $84\times108^1/_{32}$ — 22 печ. л. = 36,1 усл. печ. л. 33,78 уч.-изд. л. Тираж 1-го завода: 150 000. Зак. 1970. Цена 12 р.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.